

Феликс
Светов

ЧИЖИК-ПЫЖИК



С О В Р Е М Е Н Н А Я П Р О З А

ЭКСМО

Феликс
Светов

ЧИЖИК-ПЫЖИК

РОМАН
РАССКАЗЫ

ЭКСМО-ПРЕСС

2 0 0 2

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
С 24

Оформление переплета художника *Марины Орловой*

В оформлении переплета использована
репродукция картины Николая Наседкина «Гост»

С 24 **Светов Ф.**
Чижик-Пыжик: Роман, рассказы. — М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2002. — 384 с.

ISBN 5-04-009251-2

Феликс Светов, писатель, которого А. Солженицын поместил в свою «Литературную коллекцию», начал печататься еще в середине 50-х. Прошло почти полвека, куда уложились литературная работа, диссидентство, арест, тюрьма и ссылка, рассказы и повести, самиздат и тамиздат, роман «Отверзи ми двери» (Париж, 1978), книга «Опыт биографии» (литературная премия имени Владимира Даля — Париж, 1985). После возвращения из ссылки в Москву Феликс Светов активно печатается в центральных журналах, его умную и точную, беспощадную и нежную прозу высоко оценивают взыскательные читатели и литературные критики.

В новую книгу Феликса Светова вошли трехчастный роман и цикл рассказов.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-009251-2

© Ф. Светов, 2002
© Оформление. М. Орлова, 2002
© ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2002

О ЛЮБВИ



Читая составленные по рецептам любовные романы, где незаурядную, но малозаметную поначалу героиню возблагодарит и полюбит навсегда прекрасный банкир, мы получаем укол маленькой эгоистической радости: и я могла бы... Но лишаем себя главного: энергии открытого чувства, внезапного, как солнечный удар (вспомним классику).

Читая новую прозу Феликса Светова, я удивлялась и радовалась тому, как прекрасен человек в открытом чувстве, ничем ни замутненным. И как радостен писатель, об этом нам повествующий.

«Ты мне безумно нравишься, сказал я. Как хорошо, ответила она. Но смотри не влюбись...»

Эти слова могли быть сказаны и сто лет назад, и тысячу. То, что они сказаны (и написаны в «Моем открытии музея», вошедшем частью в роман «Чижик-пыжик») сегодня - свидетельство непреходящих ценностей человеческой жизни.

Что такое искренняя и истинная любовь, как-то вытеснено из современной прозы. Все, касающееся эротики, переполнило и прозу, и стихи, и газетные статьи, и даже научные (скорее все же псевдонаучные, игровые) чтения и конференции.

Эстетика и эротика прекрасно уживаются вместе, а вот по отдельности — скучнеют, съеживаются, тускнеют.

А вот любовь и эстетика?

Тем более у писателя немолодого, совсем давно седого, с безупречным «диссидентским» прошлым, с несколькими романами об этом самом диссидентстве, опубликованными во времена оны на Западе (автор как раз торьму и ссылку отбывал здесь, вернее, немножко все-таки на Востоке, в Сибири),

По всем предположениям Феликс Светов должен был и дальше писать о социальных и политических проблемах. И моральных дилеммах. Опыт у него такой, что многим из нас для понимания прошлого нашего отечества свидетельские показания писатели Светова необходимы.

И этими показаниями и свидетельствами он с нами поделился раньше.

Теперь же пришла пора другая: и странная, неожиданная творческая эволюция Феликса Светова привела его к повествованию именно что о любви.

И через любовь он теперь видит все: и прошлое, свое и отечества, и друзей, и даже... историю идей, Почитайте полный молодого, без преувеличения, задора рассказ «Русские мальчики» – и вы поймете, о чем я.

Вполне реальные и известные публике герои.

Светов, Юрий Карякин и Анатолий Жигулин. Истинно «русские мальчики», хотя каждому – хорошо вокруг семидесяти. Но ни юмор, ни радость жизни их, жизнью немилосердно битых (вспомним хотя бы каторгу Жигулина, запечатленную в его стихах и прозе), не оставляют.

Свежесть ощущения и проживания этой единственной, волшебной, злой, несправедливой, прекрасной жизни отличает это удивительное братство русских мальчиков – во все времена.

Как у Достоевского: русские мальчики всегда будут обсуждать проклятые вопросы – да и карту неба при этом перекроют по-своему.

Между прочим, и Пастернак свой роман «Доктор Живаго» первоначально хотел назвать «Мальчики и девочки». И мальчики – Живаго, Гордон и Дудоров – в романе к проклятым вопросам очень близки.

Конечно, Светов и его друзья («мальчики») всю эту толщу русской словесности держат в уме. Поэтому героям его повествований сбиваться на нечто плоское, очевидно – понятное, вроде этой самой эротики, – совершенно неинтересно.

Если – *про это*, так у Светова обязательно выйдет по-своему, светло, смешно и трогательно-грустно.

«Тогда на Волхонке я и понял: мальчик никогда не сможет дружить с девочкой» («Мое открытие музея»),

В повествовании Светов – коллекционер. Рядом с музеем, где работает возлюбленная героя-повествователя, он выстраивает еще один музей: музей памяти. Память тщательно промывается – после археологических, естественно раскопок. Из нее изымается не только самое ценное (иначе это был бы не музей, а аукцион), но самое точное, способное вызвать сопереживание, толчок сердца у читателя. Дедушка. Еще один дедушка, – в отличие от первого, «беленького», скандалист и почти хулиган. «Отец был красным профессором, деканом истфака МГУ, коммунистом, само собой; человек был общительный, в доме постоянно гости». Но «черный» дедушка нарушает жизнь дома – яростными проклятиями всему этому мнимому благополучию.

Так вот; Феликс Светов (простите – повествователь) историю предков описал еще в советские времена, в книге, вышедшей на Западе – в Париже она получила престижную литературную премию. А потом узнал, что настоящая история выглядит совсем иначе. И вот – переписал заново, – нет, не «опыт биографии», – саму жизнь. Потому что история с дедушкой оказалась совсем другой: не мастеровой, а владелец публичного дома в Минске!

Вот так.

Проза Светова от клише и стереотипов вынужденно освободилась.

Должны были пройти почти все 90-е годы, чтобы это произошло.

Освободилась, стала вольной, ассоциативной, нарядной и печальной одновременно. Как будто после десятилетий писательской зрелости, на которые и выпал его тяжелый жизненный опыт, к нему вернулась молодость. Молодость письма, а не только жизни. Разве так бывает? Бывает, если человек не держится за свои достижения и не предьявляет свою биографию нам (не сидевшим) в укор. Не возделывает в нас чувство вины (а это характерно для иных диссидентов — вы не сидели, не страдали, вы нас никогда не поймете...)

Вы знаете, что такое вольная столовая!

А вот еще в музее и шуба.

«Мы сидели в отведенной нам комнатенке, ждали, когда наконец приведут маму. Стемнело, разогрели котелок с кашей, и тут заскрипел снег, на крыльце грохот, дверь распахнулась — мама, маленькая в тяжелой, до пят оленьей шубе, ее купили для отца, передали на Лубянку, через полгода шубу вернули, мама взяла со в ссылку, и я хорошо помнил, как еще через год она уходила в ней в архангельскую тюрьму».

И все-таки это книга — о любви.

«Мы провожали ее до ворот зоны, ворота открылись, она оборачивалась к нам, улыбалась, махала руками, ворота медленно, со скрипом закрылись...»

Потому что без любви в этом мире было не выжить и, честно говоря, не выжить и сейчас.

И к прозе Светова, где перепутаны времена, эпохи, возрасты, потому что автор знает правду, что человек — один, и тогда, когда он школьником впервые приходит в музей, и когда сейчас он впервые целует свою милую, в прозе Светова мерцает, меняется освещение. Появляются реальные люди. Появляются Анатолий Якобсон. Борис Шрагин. Юрий Домбровский. Но это совсем не мемуары.

Небольшое отступление — о жанре.

Признаюсь: с какого-то времени мемуары и дневники — а также переписка умных и талантливых людей — любимейшее мое чтение. Но еще есть жанр, который я ценю на меньше и в сторону которого дрейфует значительная часть современных русских писателей, — это жанр, говоря по научному, мениппеи. То есть там есть все: и вымысел, и смех, и горе, и живые, и мертвые (реальные). В эту сторону направлен жанровый интерес таких разных писателей, как Сергей Довлатов, Анатолий Найман, Александр Чудаков, Светлана Шенбрун, Ирина Поволоцкая, а еще назову хотя бы два имени, таких разных, как Михаил Шишкин и Нина Горланова. Прекрасно почувствовал и это и чуткие критики — отмечу дрейф в эту сторону Петра Вайля («Европейская часть») и Александра Гениса с его «Трикотажем». А уж критики чуют, где клад зарыт!

Жанровый этот дрейф очень плодотворен для Феликса Светова.

При том, что он не боится включать в текст абсолютно современные ситуации. И людей. И подробности! Крупным планом.

И не боится самоиронии, не боится предстать смешным или наивным — надо же, проехать в отдельном купе с любимой (наконец вместе — на несколько дней), оказаться с ней в гостинице — и остаться ни с чем... Да как же ни с чем! — С любовью.

Я хочу завершить это небольшое предисловие стихами. Так уж сложилось, что за одной из частей «Чижики-пъжика» в журнале «Знамя» следуют стихи, искренность и открытость которых близки вольной прозе Светова — и его авторской позиции. Вернее, так: теперь Светов пишет прозу так, как поэт слагает стихи, не делясь на «автора» и «лирическую героя».

Сколько дал мне Господь — я запутался в этих дарах,
Я подобен овце, что затеряна Богом в горах.
Тёмной ночью я глачу, а утром синицу ловлю,
потому что синица родная сестра журавлю,
Я — грядущего пленник, я узник вчерашнего дня,
здесь незримую сетью ловило пространство меня...

Наталья Иванова

ЧИЖИК-ПЫЖИК



РОМАН
В ТРЕХ ЧАСТЯХ

МОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

С чего ж это все началось...

Выставка, вернисаж, необязательные разговоры, ненужные встречи, что-то еще и еще... Она сидела напротив — через стол. Окно было за ее спиной, а потому я ее не видел, а тут свет, что ли, зажгли, или она повернулась, или я как-то иначе сел, повернулся — *они* и блеснули...

Что же блеснуло и что я увидел? Она смотрела на меня, и я внезапно понял, что смотрит она именно на меня, а потому и глаза *такие*...

Или она всегда *так* смотрит?.. Нет, это потом закралась мысль и очень меня мучила. Ты просто умеешь, научилась, знаешь, что можешь, на что-то в себе нажмешь, что-то в тебе щелкнет, а ты способна управлять... — спрашивал и спрашивал я, потому что на самом деле не мог понять, как и почему, зачем столько было сказано, а еще больше обещано и — жизнь перевернулась. Но это потом, задним числом, возвращаясь к тому, что случилось, я спрашивал ее, себя, снова и снова возвращаясь...

Ну может ли так быть, разве так бывает, чтобы сразу открылась, раскрылась, так счастливо и до конца, чтоб столько сказать — обо всем сразу, в одно мгновение?

Но это потом, потом, а тогда я и понимать ничего не стал, не подумал, ни о чем я не думал — просто увидел и захлебнулся...

...Желтоватый рассеянный свет, тишина, хрупкие звуки — случайные, случайные, только эту тишину подчеркивающие, запах пыли, дерева, старой бумаги, а вокруг... Черепа! Длинные, круглые, клыкастые, рогатые и безрогие, явно птичьи и звериные — в ящиках, на столах: архары с узорчатыми зубами, тигриные — с узкими и косыми глазницами, свирепые собачьи и волчьи, медвежьи — лобастые, скуластые...

Жарко, душно... А камни! Амфоры, камеи, вазы, монеты, монеты, кремневые топоры, стрелы, наконечники копий, черепки, черепки, черепки...

Что это? Где я все это увидел, может — вычитал, откуда знаю?.. Да помню, знаю откуда, у кого прочитал, навсегда запомнил, с этим целая история, но разве я сейчас об этом?

И я вспоминаю, лезут и лезут мне в голову совсем уже пустяки.

Пыльная улица, непременно лужа посреди — и во времена Гоголя стояла и все так же подванивала, идешь вдоль забора — хорошо, крепкий, собака заливается, выскочит — так в лужу и прыгнешь, а за забором проулочек, крапивой зарос — и вот оно, то самое помещение, а зачем туда, забыл уже зачем, но надо было зайти, а зачем, почему, уже и не вспомнить.

И вот сидит такая — вяжет, непременно вяжет, очки на носу пуговкой, они и держатся на пуговке, или на веревочке, не помню, а глаза поверх очочков внимательные, очень она тобой интересуется — зачем тут объявился, а мне и не вспомнить, да и тогда, верно, сам не знал, зачем я там. А вы, мол, проходите, только чтоб ничего руками, ни-ни, а зачем мне еще и руками...

Что же я там увидел, запомнил? А все то же, всюду одно и то же: карта местности, области, полезные ископаемые, много везде ископаемых, и все очень полезные, реки, озера, леса, знакомый портрет... А он тут зачем? Как же: бывал, или привезли, или мимо, чайку попить, или, напротив, от чаев освободиться, или ссылка у него тут была, тяжела ссылка, да она всегда невесела, а мы и не такую видали...

Но про ссылку особый разговор, где еще можно такое увидеть: горы, горные реки, оглушающая тишина, воздух, как пузырьки в стакане с нарзаном, хоть целый день, всю ночь просиди на берегу реки, на горе — да где ты такое мог увидеть! И это после смрадных камер, столыпинских клеток, собак и наручников! Да и пища не последнее дело после пайки: завари чаек, жарь мясо, пей молоко... Да, ссылка — особый разговор, но разве я сейчас о ссылке?..

И вот тот самый краеведческий: на носу очки, вяжет, вяжет, а на стенах непременно бивни мамонта и клыки моржей — будто у них в огородах когда-то паслись мамонты, а в пруду с лягушками плескались моржи...

Но разве только так складывались мои отношения с музеем?

Почему она так на меня смотрит?.. — подумал я, когда свет зажгли, — или она повернулась, или я как-то иначе сел, повернулся и они блеснули. Не понять, не могу я того понять. А может, не нужно, а важно то, как я на нее тогда посмотрел?..

Я — мальчик. Белая рубашечка, на вороте и на рукавах, на манжетах — красная вышивка крестиком, короткие штанишки. Мы с мамой в Третьяковке: народу, народу, жарко, мама возбуждена искусством, разрешает запретное — крем-соду, мороженое, у меня липкие руки... Один зал страшной другого: кровь, отрезанные головы, черепа, дым от пушек, горы трупов... Тошнота, лезет из меня сладкий ужас — и мама опоминается: мальчику плохо, он такой впечатлительный, а я до сих пор помню этот кошмарный музей, национальную нашу гордость: кровь, трупы и тошноту.

Ты мне безумно нравишься, сказал я. Как хорошо, ответила она. Но смотри не влюбись...

Как же, еще был один музей. На Волхонке. И тоже наша гордость.

Мы в красных галстуках (отца уже взяли, маму тоже), а я барабанщик, так, наверно, и подошли с барабаном, с красным знаменем, и вошли так, и поднимались по широкой белой лестнице, а там встречают здоровенные голые мужики. Девочки ежатся, а мне что, я навидался, каждую неделю с дядей в Сандуны, в Центральную — те же самые, только с шайками, в мыле, пиво пьют, в бассейн прыгают, а я за ними — нагляделся.

А в другом зале — женская натура. И тут я замираю — такого не видел, не знал, где увидишь, даже сколько-то лет позже, на уроках анатомии, только и есть — сердце и пищевой тракт, остальное вырезано, замарано, нет больше ничего в природе. Да и на речке, бывало, вынырнешь, вокруг головенки с косичками — и там никакой природы. А здесь — открылось. Наверно, я и про барабан позабыл и что там еще было — не вспомнить. Но понял крепко и уже навсегда — были, были такие у нас диспуты и много

спустя: может ли мальчик дружить с девочкой? А почему бы нет, коли нет и быть не может никакой разницы, коль ее нет и в натуре — один пищевой тракт и сердце? Как между негром и чукчей, евреем и китайцем — все равны, а мы пионеры, интернационалисты.

Тогда на Волхонке я и понял: мальчик *никогда* не сможет дружить с девочкой.

Я ни о чем больше не могу думать, сказал я, только о тебе. Но я же тебя предупреждала — не влюбись. Зачем предупреждала? — спросил я.

И я вспоминаю еще один музей... Музей ли это? Ну, формально музей, а что еще? Нет, не на Живодерке, туда никого и до сих пор не пускают, и улица получила другое название — Живодерка неприлично, вызывающе, улица Красина. Был такой — Красин. А музей и должен бы начинаться на Живодерке, а может, — заканчиваться на ней?.. Нет, все-таки заканчиваться той экспозиции следует на самой Красной площади, возле стены, в Мавзолее, а вторая часть в бывшей Городской думе на площади Революции, там самая подробная экспозиция... Нет, опять не так: первая часть — в бывшей Городской думе, вторая на Живодерке, а третья — у стены. Или не так?

Почему-то все эти три точки никак официально не объединят — не доходят руки или просто не приходит нашим искусствоведам-профессионалам, музейным работникам такая идея в голову, а было бы правильно.

Итак, если профессионально, по жизни: первая часть в бывшей Городской думе, вторая на Живодерке, пусть Красина, а уж потом... И билеты чтоб продавали сразу на все три точки, и автобус чтоб возил туда-сюда.

Но на Живодерку, как уже было сказано, никого и до сих пор не пускают. Хотя рассказывают, и даже показывали — был такой сюжет на телевидении: лет сорок назад привезли туда бесхозного дедушку, нашли его, сердечного, на каком-то вокзале, кажется, на Казанском, а может, на Ярославском, он до сих пор там отдыхает, на Живодерке-Красина, купают его, мажут, раздевают, одевают, то так обрядят, то эдак... Не спутали бы с главным экспонатом.

Ну, это теория, пока еще осуществится, а официальная, всем открытая экспозиция запомнилась поразительной скукой, знобкой тишиной, пустыми залами, вооб-

ще — *пустотой*. Ничего живого, а от простреленного френча, фальшивого пистолета и отравленных пуль тянуло именно скукой и откровенной липой. Мы и заходили-то зимой, мальчишками, погреться, а только мерзли, душа смерзалась, и выходили молча, боясь друг друга, хотя едва ли было нам тогда на этот счет чем поделиться. Но какая-то липкая грязь нарастала в душе, хотя и не понять, что она значила и откуда налипла.

Зачем тогда вспомнил? А потому что отсюда прямой переход к музею обещанному, горячей кровью напоенному, моей, нашей — *фамильной кровью*. Но это особая история и разговор особый, и имеет он самое прямое отношение к моему *открытию* того самого *моего музея*.

Я обожаю тебя, сказал я. Как хорошо, я счастлива. Но я не могу без тебя жить, сказал я. Разве тебе плохо со мной? — сказала она.

Итак, мой музей...

Был у меня дедушка... То есть, на самом деле, было у меня, как и положено всякому приличному человеку, — два дедушки. У меня были — беленький и черный. Беленький дедушка был маленький седобородый старичок, имел он восемь дочерей от второго брака, мама — от первого. На моей памяти сидел он всегда тихо, ни во что не вмешивался, молился неведомому мне Богу, обрядившись в белый талес с черными полосами и узорами, левая тонкая рука с сухой пергаментной кожей в бледных веснушках обмотана узким кожаным ремешком с тфилином — кожаной коробочкой, такой же ремешок и тфилин на голове...

Помню, как, забежав в комнату, где дедушка молился (отца нет, мама в лагере), я швырял на стол только что купленный, пахнувший пекарней хлеб, что было, разумеется, кощунством, но дедушка только тихо смотрел из-под талеса на дурачка в пионерском галстуке, а губы его благочестиво шевелились.

Он и умер тихо — первый покойник, увиденный мной так близко, умер во сне, в городе на Волге, повыше сражавшегося тогда Сталинграда. Далек. И канонада не была слышна, а надо же — пуля нашла дедушку. Жили мы там втроем: дедушка, я и моя тетка — одна из тех восьми дочерей.

Утром я перешагивал через него, — почему-то он лежал на соломе, на полу возле моей раскладушки, — и шел в школу. Два дня я так через него перешагивал, а на третий тетка нашла старого еврея, и дедушку похоронили, как и положено, в саване.

Она шла, как поинтер, который вот-вот сделает стойку... Так написано у одного замечательного американского писателя. Про поинтера... Нет, про девушку, которая шла, как поинтер. Но поинтера я никогда не видел, а вот ирландский сеттер... Знаете, как идет ирландский сеттер, который вот-вот сделает стойку? Голова на высокой шее поднята, ноги напряжены, он ими перебирает и видит перед собой только то, что видится ему одному — свою жертву...

Был час пик, народ валил в метро, возле которого мы только что расстались, она рассекала толпу, или толпа расступалась, освобождая дорогу, — и все оборачивались ей вслед.

К кому она шла, кто был на сей раз ее жертвой? Но ведь мы только что расстались, думал я, расстались нежно, до утра, и она была совсем другой, милой, домашней, и расставание словно бы ее огорчало?..

Почему же сразу, мгновенно все так изменилось?

Не нужно подглядывать. Но коль это случилось? Где ж она настоящая?.. — думал и думал я.

Со вторым дедушкой все было значительно сложнее, и хотя умер он на десять лет раньше беленького, а мне стало быть всего пять или шесть, помню я это совершенно отчетливо, хотя меня при том не было. По рассказам. Очень эта история вколотилась в мою память. То есть это и был мой первый страх, оставшийся на всю жизнь, или, скажем, на многие десятилетия.

Был этот дедушка провинциалом, жил в городе Минске и приезжал к нам в Москву два-три раза в год. Я видел его, очевидно, в последние приезды и крепко запомнил.

Жили мы в Третьем Доме Советов, в небольшой, забитой книгами квартире, отец никогда не приходил домой без новых книг, и они нас выживали. Отец был красным профессором, деканом истфака МГУ, коммунистом, само собой; человек был общительный, в доме постоянно

гости. Водку они не пили, только красное, а выпив, допоздна разговаривали и пели революционные песни. Как в «Собачьем сердце». Но когда приезжал минский дедушка, гостей не звали, никого вообще не пускали, в доме бывало тихо, даже по телефону говорили вполголоса.

Что это значило и почему так резко менялась жизнь с приездом дедушки, я, разумеется, не понимал. Но запомнил, как дедушка в сапогах, в теплой куртке сидел за обеденным столом, поглаживал широкую черную бороду, давал мне петушка на палочке, перед ним всегда стояла бутылка водки и пил он ее в одиночестве, стаканом. Рассказывали, он мог гнуть подковы, этого я не видел, а стакан с водкой запомнил, и то, что рука, тот стакан державшая, была крупной и твердой. Думаю, он не был старым — ни одного седого волоса в бороде.

Кончалось его гостевание в нашем доме непременно скандалом. В кабинете отца что-то гремело и падало, сначала они ругались на идиш, ничего не понять, потом дед переходил на русский — тот, который я слышал под окном, там у нас стояли ломовые и легковые извозчики. В конце концов, распахнув двери ногой, выкрикнув на прощание какое-то страшное проклятие, дедушка выходил, двери так и не закрыв.

На какое-то время в доме устанавливалась тишина, но скоро она сменялась привычной суетой, телефонными звонками и революционными песнями.

Умер дедушка в одночасье: крепко выпил и отправился париться в баню. Или в бане выпил. Та очередность мне неизвестна, но, может быть, она тут и не важна. У него оторвался тромб, в бане он и помер.

С тех пор тромбофлебит долго казался мне самой страшной болезнью, чума и холера представлялись литературой, о них я читал у Флобера и Камю, а тут реальность: тромб отрывается и летит, как разрывная пуля, по сосудам, венам, артериям, пока не попадет в сердце. Страшно...

Мы спустились в метро, я прошел контроль и ждал, пока она отыщет в сумочке проездной. Нужно иметь крепкие нервы или очень любить женщину, чтобы терпеливо дожидаться, пока... Что они носят в сумочках?..

Она продолжала в ней копать, потом присела и высыпала содержимое себе на колени. Ветер из нагретого

туннеля тянул, как в трубе, вокруг ее головы поднялось светлое облако...

Я подошел к контролеру. Послушай, сказал я, пропусти внучку, она никак не найдет проездной, жалко тебе, что ли? Он посмотрел на меня, потом на нее. Потом снова на меня. Под седыми с желтизной усами открылись прокуренные зубы. Надо ж, сказал он, у такого дедушки такая молоденькая... Проходи, внучка...

Она смеялась так весело и счастливо, что я в конце концов подумал, что пора обижаться.

Но я про музей. Верней, про дедушку, который помер в бане.

История была такая... Я слышал ее в детстве, потом от кого-то еще. Она запомнилась, будто я был свидетелем, хотя сейчас уже и не восстановить, кто ее мне рассказал. Как бы то ни было, но когда тридцать с лишним лет назад я работал над первой моей свободной книгой, эту историю пересказал именно так, как запомнилась. Книга называлась «Опыт биографии» и была для меня переломной, я уже перестал тогда печататься в официальной прессе: хотел переоценить собственную жизнь и начать другую. Книга очень нравилась моим тогдашним друзьям, я получил несколько заманчивых предложений публикации на Западе, знаменитые люди предлагали написать предисловие... Я отказался, и не из охранительных соображений.

На самом деле, это не были мемуары в чистом виде, я пытался остановить время, понять его и себя в нем, мне казалось, книга важна прежде всего мне самому, а не кому-то другому, опыт был еще слишком живым, кроме того, речь шла о реально существующих людях и, хотя их имена не были названы, они слишком легко угадывались... Может быть, такое решение было моей ошибкой, в то время подобных книг не было, это спустя десятилетия все стали писать мемуары. Я отдал книгу в самиздат только десять лет спустя, и она вышла в Париже еще пятью годами позже, когда я сидел на «Матросской тишине», и книга едва ли все еще представляла такой живой интерес, хотя и получила в Париже вполне престижную премию.

Но в начале семидесятых я давал ее только близким людям и строго предупреждал об ответственности.

Одним из моих читателей была двоюродная тетка, звали ее Геня, все еще красивая, полная жизни женщина. Мужа ее в тридцатые годы расстреляли, она отмотала восемь лет в Темниковских лагерях в одном лагпункте с моей мамой. Помню, я видел ее в лагере, мы с сестрой приезжали в сороковом году на свидание...

Ну, а спустя тридцать лет я отнес Гене рукопись, — жила она на Кутузовском, только что получила как реабилитированная квартиру, — и попросил никому не показывать. Может, тебе будет интересно, сказал я, там и про тебя.

Через неделю я к ней зашел. Она стала смеяться, как только открыла дверь. Ты что? — удивился я. Очень ты меня насмешил своим сочинением. Не понял, сказал я, какой тут смех: папа погиб, маму посадили, да и ты в Явасе едва ли была смешной, я хорошо тебя помню.

Мы пили чай на кухне. Что ж тебя все-таки так разве-селило? — я никак не мог ее понять. То, что ты написал про дедушку. И про отца. А что такое?

Понимаешь, говорит, ты только не обижайся, мне было интересно, я в первый же день прочитала, но то, что ты написал об отце... Ну вся эта история про музей в Минске... Откуда ты все это взял? Не помню, наверно, мама рассказывала, кто-то еще... Нет, не вспомнить, чтоб точно — от кого. А теперь мама умерла. Но разве там что-то не так?

А история была такая. В Минске, в тамошнем музее Революции, открылась экспозиция: история одной рабочей семьи. Глава семьи — мой дед, был профессиональным рабочим-щетинщиком (понятия не имею, что это значит), «боролся за копейку» (экономические рабочие требования), а дети пошли в революцию, участвовали в гражданской войне, стали большевиками: старший — мой отец, профессор, декан истфака; младший — дядька, секретарь райкома партии в Москве, а дочь — моя тетка, главный врач Института рентгенологии (был такой на Петровке). Замечательная семья. Мой отец, как только узнал об этой выставке, помчался в Минск ее прикрыть — из скромности. В этом месте тетка Геня и стала смеяться: ну уморил — из скромности!..

А в чем дело, что тут смешного? Не знаю, говорит, может, твой дед и был когда-то щетинщиком, но чтоб за копейку.. У него был свой дом в центре Минска, свой

выезд — лошади, коляска всегда стояла у подъезда. Был публичный дом — тоже в центре, а он его хозяин; еще филиал такого же дома в Витебске. Дед сам отбирал девиц, пробовал, потому и вечные скандалы с бабушкой — да где ей было с ним справиться! Деда спасло только то, что в России до революции мужчина не мог быть содержанием публичного дома, он оформил на эту должность некую девицу, возвысил ее, сначала она была тапершей, а потом он все на нее повесил, тем и спасся, его б обязательно шлепнули. Юдифь звали, роскошная была баба, она б тебе рассказала, может, еще жива, разыщи: показать-то что-нибудь уже едва ли сможет, а вот рассказать... Потому твой отец так боялся деда: тридцатые годы, чистки, а тут такая экспозиция — в Минске же все про всех всё знают! Короче, уж конечно «из большевистской скромности» он прикрыл ту выставку. Разве не смешно?

Я был ошеломлен: такое не придумать, вон как жизнь заворачивает сюжеты. А может, не заворачивает — раскрывает?

— Как красиво, — сказала она, — закроешь глаза, откроешь — и кажется: я там, в море, на дне, с этими рыбами... Я всегда хотела жить в море — плыть, потом опускаться, снова подниматься и опять...

Картина висела над тахтой во всю ее длину, и, если поднять руку к глазам, прикрыть нижнюю раму, могло, и верно, показаться, что ты всплываешь в нее, а сейчас, когда солнце било прямо в картину, изумрудная волна вливалась вместе с ним, клубилась, переливалась, заполняла всю комнату...

— Я привык к ней, — сказал я, — люблю, но как-то было туго с деньгами, и я спросил автора, художника, он мой близкий товарищ, а сколько, мол, она стоит? Есть такая премия — «Триумф», ответил он, думаю, примерно столько...

— Так и должно быть, — сказала она.

— Но ее не продать, — продолжал я. — То есть без него, без художника, а он не любит, когда продают его работы, подарки, злится. Конечно, если б, скажем, мне нужны были деньги на что-то серьезное, не просто на жизнь, я ж в тот раз обошелся, ну — заболел бы, необходима срочная операция, рак или шунты, а для того ехать в Аме-

рику или еще куда, тут не было б и разговора. Он сам бы ее продал.

— Как жалко, — сказала она.

— Чего жалко? — спросил я.

— Картину, — сказала она.

— Но у меня же... рак или шунты?

— Не говори глупости, — сказала она. — Пусто станет в комнате. А я ее люблю.

— Что любишь?

— Я ж сказала — картину.

Кем все-таки был отец?.. Однажды я нашел в нашем старом дровяном сарае, в ящике со всяким хламом, настоящий наган с вращающимся барабаном. Потрясающая игрушка! Наган перекочевал ко мне. Отец как-то увидел его, повертел в руках и в ответ на мой вопрос сказал, что ему подарили этот наган матросы в Петрограде. В семнадцатом году.

Жили мы в первом этаже, квартира была угловой, часть окон, довольно низких, выходили в Божедомский (потом, вроде, Оружейный) переулок. Однажды прямо против наших окон началось строительство: приехали рабочие, разогнали извозчиков, огородили участок мостовой щитами и стали что-то такое сооружать, по всей вероятности, переносили сюда трамвайную остановку (трамвай шел снизу от Самотеки и дальше по кольцу к Триумфальной). Наверно, дело было весной, окна уже открыли, грохот стоял до самого вечера.

Так продолжалось дня два, отец уходил рано утром, возвращался поздно и ничего не замечал. А в тот день почему-то задержался. Работа между тем шла уже под самыми окнами, рабочие время от времени просили напиться, я в окно подавал им в кружке воду — было весело, будто живем мы на улице.

И тут в детской появился отец. «В чем дело?» — грозно спросил он меня и, высунувшись в окно, столь же строго задал свой нелепый вопрос находившемуся возле дома рабочему. Тот ответил что-то не слишком любезное — с какой стати он должен был давать отчет о своих вполне законных действиях? Отец мгновенно вскипел и, распахнув окно пошире, принялся митинговым голосом требовать, чтобы они немедленно прекратили всякие работы, что они ему мешают...

А там было уже целое производство: разобрали мостовую, копали и стучали молотками. Отцовская риторика вызывала лишь веселое недоумение. Он был смешон: лысый, грузный человек в очках и в рубашке громко кричал из окна какую-то ерунду. Отец это почувствовал.

Мне было смертельно неловко: люди работают, они тут при чем, чего он на них кричит? Я что-то лепетал и тянул отца за штаны. Он отмахнулся от меня, как от мухи, но, обернувшись, неожиданно для себя увидел валявшийся на ковре вместе с другими игрушками почти очищенный мною от ржавчины наган.

Дальше отец действовал, как в бою. С наганом в руке он вскочил на подоконник и закричал громовым голосом — его, наверно, слышали на Самотеке: «Перестреляю, как цыплят! Немедленно убирайтесь!!»

Рабочие оторопели. Если человек среди бела дня в центре Москвы может так кричать и размахивать наганом, значит, он имеет на это право. Но даже если он просто сумасшедший, что ему стоит начать стрелять — никому ж не могло прийти в голову, что этот наган принадлежит мне, а в нашем доме есть только пустые гильзы для охотничьей двустволки.

Рабочие побросали ломы и лопаты, забрались в грузовик и уехали.

Отец победоносно посмотрел на меня, швырнул наган на ковер и, отдуваясь, прошел в кабинет. Через минуту я услышал, как он весело говорит по телефону, напрочь позабыв о произошедшем.

Между тем, все работы в переулке были оставлены навсегда. Не знаю, что и кому про эту историю доложили, но и до сих пор против наших бывших окон остановки нет, правда, нет и трамвая, его давно сняли, снизу от Самотеки по кольцу идут троллейбусы.

Конечно, мне интересно, сказала она, мне все-все интересно, что имеет хоть какое-то отношение к тебе, а теперь, когда ты столько рассказал, мне кажется, я знаю все или почти все, знаю тебя, но мне важней... Да, понимаешь, мне важней... Что? — спросил я. Мне важней, нет, дороже, не знать, а чувствовать — понимаешь? Я б и так все поняла, даже если б ты ничего не говорил и не рассказывал — понимаешь? А потому мне и не понять, зачем ты снова и снова возвращаешься к... Что ты там ищешь? Не

знаю, сказал я, может быть, просто чтоб понять, что случилось с нами, когда мы... Зачем? — спросила она. Разве не важнее, нет — дороже, не забывать ничего из того, что с нами каждый день и каждый час, каждое... То, что сейчас? А ты забываешь, у тебя короткая память, иначе бы не начинал снова и снова... Ты не там ищешь, сказала она, или что-то недоговариваешь — ты мне не веришь? Не понимаю, сказал я, при чем тут моя память, я помню даже то, что было — да хоть за тридцать лет до того, как ты появилась на свет. Может быть, упрямо сказала она, но я о другом, о том, что было... вчера. Если бы помнил, не искал, тебе не нужно было бы ничего искать. Выходит — забыл?

Ну что она ко мне вяжется, замороченно думал я, как, то есть, не помню?.. Вот, скажем, прошло... шестьдесят лет. Сколько тогда было... да не ей — ее родителям? Ну, если мне, предположим, двенадцать, то и им...

Да, мне двенадцать и мы с сестрой едем к маме. Ида старше на десять лет, у меня никого ближе и дороже, она бесстрашна и неукротима, ее не остановить. Мы идем в вольную столовую.

Утоптанная тропа, пушистый снег, с одной стороны темно-зеленые ели с тяжелыми лапами в пышных голубоватых шапках; мороз, тропа петляет, петляет и выводит к зоне: колючая проволока, вышки — зоопарк! — а мы мимо, мимо, за проволокой толпа, женщины в бушлатах, темных платках идут параллельно нам — куда, тоже в столовую, время обеденное?

Тишина, ни звука, а потому крик так оглушительно ее разрывает: «Светик!..» Я поворачиваюсь: из толпы вырывается, бежит к проволоке женщина, на ходу разматывает платок, мучительно знакомое лицо... «Геня!» — кричу я, а Ида бросается к проволоке, проваливается по колено, по пояс... «Ба-бах!» — грохает с вышки, дымок от винтовки — и Геня останавливается: смеется, смеется, машет рукой и возвращается в толпу..

Мне этого не забыть, как не забыть и того, что было, когда мы возвратились из столовой, захватив с собой в котелке гречневую кашу с гуляшом на ужин.

Мы сидели в отведенной нам комнатенке, ждали, когда наконец приведут маму. Стемнело, разогрели котелок с кашей, и тут заскрипел снег, на крыльце грохот,

дверь распахнулась — мама, маленькая, в тяжелой, до пят оленьей шубе, ее купили для отца, передали на Лубянку, через полгода шубу вернули, мама взяла ее с собой в ссылку, и я хорошо помнил, как еще через год она уходила в ней в архангельскую тюрьму.

Она была в той самой шубе, а следом за ней в дверь втиснулся здоровенный солдат в грязно-желтом, перепоясанном широким ремнем полушубке, со стуком поставил в угол огромную винтовку...

О чем мы говорили... Нет, не вспомнить, только вот... Да вы ешьте, ешьте, говорила мама, она все улыбалась, улыбалась, как только вошла... Какие у нее были глаза!.. Нет, конечно, сестра раньше увидела и раньше поняла: ты поешь с нами, нам много, мы уже пообедали... Что вы, детки, вам самим... И мне никогда не забыть, как ела она этот поганый столовский гуляш...

Потом ее увели, совсем уже в темноте: она впереди, маленькая, в шубе до пят, а следом здоровенный солдат с огромной винтовкой.

Мы провожали ее до ворот зоны, ворота открылись, она оборачивалась к нам, улыбалась, махала руками, ворота медленно, со скрипом закрылись...

Первый раз пронзило меня ощущение такого бессилия — ничего, совсем ничего нельзя, невозможно было сделать для того, чтобы ворота за ней не закрылись. Никто и ничто не могло их открыть снова. Даже сестра, которая могла все и которую нельзя было остановить.

Подари мне еще одну неделю, сказал я. Ты говоришь об этом сорок четвертый раз, сказала она. Неужели? Значит, сорок пятый. Но разве я тебя хоть раз обманула? Нет, сказал я, ни разу. И ты все еще не понял, что я тебя люблю? Нет, сказал я, я не могу этого понять. Вот если бы ты пришла, а потом... осталась... Вот ты о чем, теперь понятно, сказала она. Да, этого я не могу, и ты знаешь почему. А если бы не было того, что есть, что я знаю? Тогда не было б проблем, сказала она.

Кузнецкий мост, зоомагазин, мы бегали туда после школы за рыбьим кормом и зерном для птиц. Откроешь дверь, шибанет густым запахом корма, толпа — не протолкнешься, птичий гомон, щебетанье... Помню, мы собирались притащить кусачки, размотать, пообрывать

проволоку, открыть пошире дверь на улицу — щеглы, канарейки, попугайчики... Много мы чего хотели, а много ли сделали?

Нет, это на другой стороне Кузнецкого, чуть наискосок, почти напротив: «Приемная. Отдел справок».

Темновато, пахнет... Чем? Чем-то нехорошим, нет, не вспомнить своего ощущения — о чем мне тогда подумалось? Женщины, женщины, почти одни женщины и — молчание. Странная очередь, всегда кто-то что-то кому-то... А здесь — тишина. Вызывают по одному, пугливо вскакивают, оглядываются — и исчезают в коридоре.

Впервые я пришел сюда за месяц до того, отсидел в молчащей очереди и подал бумагу. Сказали — через месяц.

31 мая 1946 года исполнилось десять лет со дня ареста отца, то есть кончились *десять лет без права переписки*. Летом я сдавал экзамены в университет, потом в институт, потом опять стучался в университет, проваливался, снова сдавал и, наконец, поступил на заочное. И в сентябре толкнул эту дверь.

Я не говорил маме, что подал эту бумагу, хотя она несколько раз заговаривала и обрывала себя: «Конечно, бессмысленно да и рискованно лишний раз о себе напоминать...» Ей напоминать о себе было и вовсе невозможно: после отбытия срока она незаконно вернулась в Москву и жила безо всякой прописки, неведомо как.

Наконец меня вызвали. Длинный кабинет-пенал завершался большим письменным столом, он стоял поперек, у окна, оставляя узкие проходы с обеих сторон; подоконник высокого окна приходился над головой сидящего спиной к нему человека. Я не видел его лица, он не обратил внимания, когда я робко вошел, приблизился к столу и остановился. Потом подождал немного и сел на стул возле.

Человек за столом покосился на меня темным лицом и продолжал писать. Был он в штатском, выглядел бы вполне мирно, когда б не эта дикая комната с голыми стенами и обязательным портретом вождя, глядевшего на меня с привычным холодным презрением; если бы я не высидел до того трех томительных часов в молчаливой очереди... Никто тут не задерживался — или мне так казалось? — почему ж со мной он так нетороплив... Не говоря о том, что я с ужасом ждал, что он все-таки скажет по

существо моего заявления. Но напоминать о себе я не решился...

— Я вас слушаю.

Я вздрогнул от неожиданности, позабыв, о чем, собственно, должен спрашивать. Ждал, *что* мне сообщат.

— Месяц назад, — залепетал я, — мне сказали...

— Фамилия... имя-отчество... где живете...

Он опять надолго ушел в свои папки, бумаги...

— Кто такая Фридлянд Ида Григорьевна? — спросил он вдруг.

Вопрос показался мне таким диким, что я даже не сразу сообразил, о ком речь.

— Моя сестра...

— Где проживает?

Мне стало совсем не по себе.

— Здесь, в Москве, мы живем вместе.

— Что ж вы со мной в игрушки играете?! — вскричал он с явным раздражением. — Она вам ничего не говорила?

— Ничего, — промямлил я, понимая, что гублю сестру, себя и всех нас.

— Шутить с нами не следует, — сказал он совершенно, впрочем, напрасно, это я и без него знал. — Была здесь эта самая Ида Григорьевна, все, что надо, мы ей общили.

— Когда? — тупо спросил я.

— Что «когда»? — обозлился он. — Недавно была, можете все у нее узнать.

— Она уехала, — неожиданно для себя соврал я.

Сестра, действительно, жила с ребенком за городом, на даче в Мамонтовке, и хотя я жил там же, формально это было правдой — она ведь уехала из Москвы!

Ему, видно, надоело со мной препираться. Он достал из папки бумагу и, глядя в нее, сказал:

— Сообщаем: Фридлянд Григорий Самойлович, 1896 года рождения — умер в 1941 году 29 августа.

— Как... умер? — спросил я, не понимая. — Десять лет без права переписки, срок кончился, может, теперь можно узнать, где он?..

— Все, — сказал человек за столом и встал, загородив окно. — Это все, что я могу вам сообщить. И запомните и передайте сестре, она тоже здесь что-то такое высказывала и не верила... Прошу пригласить следующего.

Не видя, я прошел сквозь приемную, вышел на улицу, повернул за угол и двинулся вниз к Охотному. В университет. Было уже темно, справа, на месте «Детского мира», теснились старые дома, завершавшиеся «Иртышом», в который вели десять ступеней вниз, толпились, базарили люди, слева, у «Метрополя», мигали огни кинорекламы. Все дрожало перед моими глазами, сливалось в сплошное желтое зарево. «Сволочи, — шептал я, глотая слезы, — убили, сволочи...» Я ругался и плакал. Я впервые, но сразу поверил, что отца больше нет, и я его никогда не увижу.

Ты знаешь почему, сказала она. А я ответил: да, знаю.

Помните господина Свана в дни, часы, минуты — месяцы его полного безумия, когда ревность ослепляла его и в то же время делала особенно зрячим, а потому заставляла снова и снова перебирать, рассматривать каждый взгляд, собственные подозрения, тень за окном, оговорки, противоречия, невнятицу, неожиданную улыбку... Еще задолго до того счастливого (счастливого ли?) дня, когда, проснувшись от странного сна, он сформулировал, подвел итог и с изумлением сказал себе: «Подумать только, я попусту растратил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе!» Но это потом, спустя годы, а где была истина — в этом, скажем, печальном, спустя годы, финале, или в начале, когда он действительно сходил с ума и желал даже смерти?

Нет, я не об этом. Я о состоянии безумия.

Днем господин Сван не мог видеть Одетту, а потому именно днем сходил с ума и говорил себе, что позволять такой хорошенькой женщине ходить одной по Парижу столь же легкомысленно, как оставить шкатулку с драгоценностями посреди улицы. При этом он раздражался негодованием против всех прохожих, как если бы все они были ворами и грабителями, а их коллективное бесформенное лицо ускользало от его воображения, не давая реальной пищи для ревности.

Детский сад, думается мне сегодня. Потому что как бы ни было несомненно, что оставлять шкатулку с драгоценностями посреди улицы явно глупо, не пройдет и пяти минут, как ее, разумеется, не станет, но всегда, тем не менее, есть шанс, один из тысячи или из десяти ты-

сяч — пусть из ста тысяч! — что нашедший шкатулку, коль есть на ней имя или знак владельца, — в том самом нереальном стотысячном случае! — ее возвратит. А в случае моем...

Да, в моем случае, когда шкатулка не оставлена среди бела дня на лодной улице, напротив, доставлена домой, дверь закрылась, заперта, шкатулка уже в комнате, окна занавешены, тушится свет, откинута одеяло...

Может быть хоть какая-то возможность, случай — хотя бы один шанс из тысяч и тысяч, что рука *хозяина* шкатулку не откроет, не примется перебирать драгоценности, а он их знает наизусть, а если что-то забылось, неужто он не протянет руку и, не глядя — рука знает, помнит! — не щелкнет выключателем: торшер, бра, какой-то светильник, свет вспыхнет, и он не начнет перебирать еще внимательней, рассматривать, проверять — так, как захочет, как сочтет нужным именно сейчас, в эту минуту, в это мгновение, или спустя час, два, ночью, под утро?.. В *любое время!*

Нет и той тысячной, стотысячной доли вероятности, возможности. Нет и быть не может никакой случайности. Ни малейшего шанса.

Расставания, утраты, смерть, и снова утраты, и опять смерть, а уж расставания... Словно и прошла вся жизнь на погосте, без продыха и пауз — да быть того не может, не музей даже, а морг, прости Господи! Но ведь верно, открой записную книжку — сплошь в номерах, а не набрать, зачем они тогда застряли в памяти, если не позволить? Нет, не морг все-таки — погост.

Погост, конечно. А у каждого погоста свое лицо, своя тишина, и думается иначе. Свой разговор с каждым и запах свой — или дело в том, весна, лето, а зимой и вовсе нет запаха — бело и зябко?

Откуда силы могли быть на все это, если б не было пауз и продыха? Были, были — да вот вчера вспомнилась одна такая пауза. Конечно, были, иначе б давно закопали.

Так и вела тропа — от пауз до погоста или от погоста до... И снова, и опять.

Итак, одна из таких *пауз*. А почему сейчас на нее наткнулся? Очень просто: встретил приятеля, не слишком близкого товарища, мы и не говорили толком, но что-то промелькнуло при первой нашей встрече — а сколько их

было? Да всего ничего, три, пять, едва ли десять, и все случайные, на людях, не поговорить. Но что-то мелькнуло и навсегда остановило. А такое, может быть, и подороже. Во всяком случае, чище.

Как бы то ни было, спустя, уж наверно, два десятилетия, как бы не три — вчера было, мы опять встретились, и снова случайно и на людях, и мне вспомнилось...

Что же вспомнилось? А прежде всего — как дышалось: прохлада и ветер, пахнет солью, смолой, дегтем, рыбой с тухлинкой... Густой запашок, хоть ножом его режь...

Итак, ветер соленый, смола и деготь, стухшая рыба... — чем еще пахнет в порту?

Темнеет быстро, осень, солнце заваливается все ниже, ниже, вот-вот захлестнет его волной, а мы поднимаемся по трапу, наш малый сейнер к пирсу не протолкался, вплотную катера, рыбацьи шхуны, лодки, баржи, большие сейнера, прыгаем с борта на борт, а на мне резиновые сапоги, затянул брючным ремнем за ушки, брезентовая куртка, и я уже пропах рыбой не хуже других, мне двадцать один год, пятьдесят лет прошло, а как вспоминается — и запах, и крики чаек, они к вечеру особенно говорливы, кричат человеческими голосами...

И вот оно, наше корыто, боцман срывается на крик, запаздываем с отходом, капитан на мостике — а я не просто робею его, смотрю, открыв рот, ловлю каждое слово, движение, в рубке что-то звенит, мы отваливаем, небо все еще светлое, а воду уже не разглядеть — темнота, береговые огни остаются позади, нам три-четыре часа хода, идем узлов восемь, а впереди... Ничего впереди не видно, это днем, когда ясно — черная полоса на горизонте, а теперь — где он там, остров Манерон: француз, русский офицер с французским именем, забыл, не вспомнить, а вот японское название острова застряло в памяти — Кайба-то.

Уже не вспомнить, по какой такой нужде шли мы ночью к острову Манерону, для какой-то научной надобности: температуру воды надо было брать-мерить, ветер, течение, но подошли к острову в полной темноте, а там никакого пирса, встали на якорь под черной каменной стеной, дожидались рассвета.

А что дальше? А дальше пропахший рыбой, сырой рыбацкой робой матросский кубрик, болтает под берегом, качается под потолком закопченная лампочка, бу-

тылку выпили сразу, жареная селедка, если на сковороду она попадает свежей, на вкус удивительна, конечно, не краб, его накануне варили, здоровенный был, когда опу-скал его в чан с кипящей водой, держал за клешню, под-няв над головой, остальные клешни стучали по палубе: розовое, сочное мясо — ни на что не похож.

В тот раз жарили селедку, дым от махры глаза щиплет, газеты давно скурили, кто-то вытащил из рундучка тол-стую книгу, рвут, крутят сигарки, а бумага плотная, глян-цевая, горит, чадит, ребята ругаются, отплеваются... Скрути, говорит мне боцман, а то у меня руки жирные, в селедке... А я не умею крутить, наука хитрая, мне и трид-цать пять лет спустя в тюрьме не удавалось осилить эту премудрость: у тебя руки, говорили мне сокамерники, под хуй заточены... Вот и тогда боцман меня так же опре-делил.

Но я стараюсь, кручу, оторвал еще лист — картинка... Господи, думаю, быть того не может... Листаю книгу, ее уже на треть скурили...

Иллюстрации на каждой странице: справа иллюстра-ция, слева текст на японском, иероглифы... Доре, ну ко-нечно, Доре! Данте, «Ад»...

Братцы, — говорю, даже горло перехватило, — у меня в мешке бутылка спирта, махнем на книгу? Чего ж сразу не выставил? А я припрятал, хотел когда вернемся или на обратном пути... Ишь, запасливый...

Единственное, что я и привез тогда с Сахалина, а по-том позабыл — зачем мне Дант на японском? А спустя лет двадцать зашел тот самый приятель, с которого и начина-ется эта история, рассказывал, что переводит Данта... Я тебе сейчас такой подарок сделаю, говорю ему, ни у кого нет... Разворошил папки, старые бумаги, письма, фото-графии — цела, сохранилась...

А я думал, ты меня забыл, сказал я ему вчера, когда опять случайно встретились, спустя еще лет двадцать пять. Ты что, говорит, считай, главный мой раритет, хвас-таюсь, если кто заходит, тебя вспоминаю. Спасибо, не всю скурили...

Ты что-то сказал? — спросила она. Сказал? Еще бы! Я не просто сказал, я рассказываю и рассказываю о том... О чем? — подумал я, потому что понял, что тоже себя не слышу...

Нет, погоди! Ты же мне только что отвечала? Как же! Очень точно, с пониманием, чувством, заинтересованностью и... Как бы помягче сказать: более чем внятно? Как в танце, когда нет никакого зазора, только понимание, понимание, понимание... Что с тобой — ты плачешь?..

Солнце валило в комнату, в толстом луче искрились, плясали пылинки, зеленовато-голубая вода плыла с картины на стене, переливалась, плескалась, клубилась...

Соседи услышат, сказал я неожиданно для себя. Что? — спросила она, у тебя есть соседи? Нет, сказал я, у меня вообще ничего нет, кроме тебя, у меня вообще никогда ничего не было, кроме... И у меня, сказала, нет, выдохнула она, тоже никогда, ничего... Не надо врать, сказал я, ты же предупредила, что не умеешь, не хочешь и никогда не будешь врать — зачем же сейчас? Почти никогда, сказала она. Я не могу и не хочу тебе врать. Я знаю, сказал я, а потому и не стану ни о чем тебя спрашивать. Помнишь, у Шекспира: «Тот не ограблен, кто не сознает, что он ограблен...». Может, я боюсь, но я не хочу ничего об этом знать. У меня нет на это сил, уточнил я.

Что?.. — спросила она. Я, правда, ничего не слышу, ты что-то говоришь, говоришь, а я... Это птицы кричат, заглушают, сказал я, при чем тут соседи, надо ж какие сегодня за окном говорливые, нет — крикливые птицы, откуда они взялись? Я не слышу, повторила она, я ничего не слышу, не вижу, потому что не могу, не могу, не могу... А ты что — боишься соседей? Нет, сказал я, едва ли. Просто это взгляд извне, а его не может, не должно быть. Извне невозможно судить, скажем, о... добродетели — помнишь, у того же автора, там же: «В границах добродетели раздевшись! Зачем так сложно и так тяжело хитрить пред чертом и морочить небо!»

О чем ты? — спросила она. Нет, говори, говори... Погоди, разве кто-то сейчас кричал — какие птицы? Нет, о чем ты? — повторила она.

О любви, сказал я. О той единственной, ни на что не похожей — *одной*, а ее не спутать ни с чем, ни с какой другой, потому что в ней все, что было и может быть, что мы находим в следующей, всякий раз полагая ее единственной, открывая то, чего не было, и задыхаясь... В ней все сразу — понимаешь?.. *Она* тебя сама находит... Однажды ты открываешь глаза и видишь — вот *она*. Видишь, видишь, видишь — вот *она*! Понимаешь — нет, понимаешь?

Но как об этом узнать, то есть откуда ты сможешь понять, что это *она*, а не всего лишь очередная, тем более — всякая любовь — любовь, каждая единственна и тебе именно в эту пору необходима? Откуда ты можешь знать, что на сей раз это та самая, действительно единственная — *одна*, которую ты не выдумал и не искал, исходя из опыта и корысти, а она сама тебя нашла — тебя ею *наградили*, понимаешь? Как ты можешь, как сможешь, как узнаешь, узнаешь, узнаешь, узнаешь... Я задохнулся.

Мне кажется, я услышала, — прошептала она, — увидела... Очень стыдно, да?.. Они ведь, правда, кричат... Кто? — спросил я. Птицы, сказала она, не соседи же...

Мы встретились впервые в 68-м году. Летом. Я хорошо помню, как это было. В Доме литераторов. Днем. По поводу чего и какое там было мероприятие, того не вспомнить. Может, просто оказались рядом в кафе на открытой летней веранде, сидели за разными столиками... Но какая-то все-таки была причина, потому что много случилось там в тот день людей, так или иначе причастных к тому, что называют теперь «петиционной кампанией», а проще говоря, к подписыванию писем в защиту первых наших политических узников. Ну а раз год 68-й, то речь должна идти о процессе Гинзбурга — Галанскова. Начало массового правозащитного движения. Диссидентство.

По-разному включались люди в это движение, одни исходя из соображений принципиальных, вполне осознанно, другие — просто толчок в сердце услышали, эмоционально. И последствия, само собой, разные: одни после окрика затухли, и спустя двадцать лет вспомнили о своем тогдашнем геройстве, постоянно напоминают о нем; для других та самая история стала началом, скажем, судьбы.

Ну, это все потом так или иначе определилось, а тут — лето, молодость, азарт, внимание со всех сторон...

ЦДЛ был, конечно, не лучшим местом для такого рода встреч, очень уж пестрая там собиралась публика, порой мы даже микрофоны вытаскивали из-под столиков...

Я сидел с Толей Якобсоном, встречались несколько раз, вполне, впрочем, случайно. Пили мы тогда коньяк, разница в цене с водкой была минимальной, зато закуски не нужно. Так на так и выходило. Толя, помнится, был пьяноват, знаменитый человек, такая в нем открывалась,

раскрывалась значительность... За столиком с нами сидела очень красивая женщина, глядела на Толю горящими глазами. «Диссиденты, — говорила она, — как матадоры, им ни в чем нет и быть не может отказа...». И что-то еще в развитие темы.

Вот тут Боря и подошел к нам. Думаю, он к Толе подошел, но обратился почему-то ко мне: «Давайте, — говорит, — познакомимся — Шрагин...».

А я слышал такое имя, но с чем оно связано, сообразить сразу не смог. Удивительная была в этом человеке открытость, легкость, простота, а глаза внимательные, доброжелательные и безо всякого второго плана.

«А это, — знакомлю его с сидящими за столом, — Яacobсон, дама утверждает, похож на матадора, а потому ему все позволено». — «Похож, — сказал Шрагин, — он и бандерильи свои под стол бросил от полноты чувств». Под столом валялись листочки на папиросной бумаге с машинописным текстом, сыпались из Толиных карманов. «Это я их распространяю, — сказал Яacobсон, — писатели — темный народ, пусть просвещаются...»

Так мы тогда познакомились, встретились еще раз другой тоже случайно, а потом стали сговариваться.

Я писал тогда первую свободную книгу, понимал, что никогда ее не напечатаю, было это мне в ту пору уже не важно — тот самый «Опыт биографии», и была в ней глава о диссидентстве, в котором я ровным счетом ничего не понимал, но понять очень хотел. Шрагин был из первых читателей, и приехали они с его женой Наташей к нам на дачу, как только книгу прочитали.

Боря говорил мягко, а Наташа — жестко и вполне определено. А я знал всего лишь то, что видел. Помню особенно поразивший меня разговор с двумя диссидентами, по моему тогдашнему представлению, знаменитыми. Говорили о том, кто сломался на последнем процессе, заложил остальных. «Что с ним сделаем, если встретим?» — спросил один. Сидели на травке, пили водку. «Замочим, — сказал второй, — тут и размышлять не о чем. Сейчас бы встретили — и замочили». На меня это произвело сильное впечатление.

«Ты людей не знаешь, — сказал Боря, — а потому и понять ничего не способен». — «Но ведь я это своими ушами слышал...» — «Мало ли что ты слышал, — сказала Наташа, — мы тебя познакомим, вот тогда и поговорим».

Боря позвонил спустя несколько месяцев, утром: приезжай, нужно. Я поехал. Из центра на юго-запад. Боря был не один, с двумя приятелями, я их знал.

«Дождемся Наташу и отправимся», — сказал Шрагин. А я не понял — куда, решил, у кого-то день рождения или еще что-то.

Пришла Наташа, но с нами не поехала. На такси ехать отказались, хотя это обсуждалось: я не понял, почему — но нельзя. Поехали на троллейбусе, потом пересели на трамвай. Я удивился, трамвай шел в том же направлении. Явно заматали следы. Тут я вспомнил, куда и зачем мы едем.

Пятиэтажка, первый этаж. Открыла дверь женщина, я ее прежде не видел. Посмотрела на меня и перевела глаза на Борю. Глаза ее я запомнил на всю жизнь. Нет, удивления в них не было, но я бы не хотел, чтоб на меня так смотрели. «Все в порядке, — сказал Шрагин, — нужно, чтоб он тут был».

Она промолчала. Она и вообще больше молчала, и хотя явно не была хозяйкой той квартиры, но, как я понял, она-то и принимала решения. Про себя я так и назвал ее — *хозяйка*.

Но это я потом, задним числом сообразил, хотя следовало быть очень внимательным: оказался я на вполне историческом заседании, его лет через пятьдесят будут изучать в школах-университетах (или не будут). Совет в Филях — сдавать или не сдавать Москву.

Мы пришли раньше других, потом подошли еще человек пять-шесть. Пришел Якобсон, хотя его в тот раз и заметно не было, сидел в углу, рта не раскрыл. Как потом выяснилось, он мог только молчаливо присутствовать — таково было условие. Позже я узнал имена остальных и познакомился с ними, тогда не запомнил.

Накрыли стол, водрузили большую кастрюлю со щами. Щи были с мясом, а мне, как всегда, хотелось есть, но я так оробел, что сразу отказался, а признать свой промах и попросить было для меня уже совсем невыносимо. «Щи вкусные, — сказала *хозяйка*, она и разливала, — это вы напрасно», — и мне показалось, посмотрела на меня с интересом. Впрочем, едва ли, конечно, показалось, ей явно было не до меня.

Я пил коньяк под капустку и старался не смотреть в чужие тарелки.

Решалась, между тем, судьба «Хроники текущих событий», присутствовала молоденькая женщина, она передала предупреждение КГБ: если выйдет еще хотя бы один номер «Хроники», Якобсон поедет не в Израиль, а прямым ходом в Лефортово. И еще кто-то туда же.

С одной стороны, откровенный шантаж, с другой — судьба товарища.

Я чувствовал себя шестилетней Малашей, забравшейся на печь в избе мужика Савостьянова и глядящей во все глаза на генералов в мундирах и крестах, на *дедушку*, роль которого здесь явно играла *хозяйка*...

Она интересовалась мнением каждого или делала вид, что ей это важно. Я тоже что-то промямлил о том, как важна сегодня «Хроника», хотя, насколько я мог судить, относятся к ней по-разному, и рассказал байку про Домбровского, который вполне искренне был убежден, что «Хронику» делают в ГБ; сталинскому зеку, отмотавшему двадцатилетний лагерный срок, невозможно было вообразить, что такое издание еще хоть кто-то способен осуществлять. Он говорил об этом всем, с кем встречался, в том числе и на Лубянке, когда его вызвали повесткой. «А я подписчик „Хроники“, — сказал на Лубянке Домбровский, — и точно знаю, что ее тут делают, может, в соседнем кабинете. Откуда иначе такие сведения, информация? Только для устрашения...». Я возил к нему Шрагина, Боря два часа разговаривал с Домбровским, но переубедить не смог...

Обсуждение продолжалось. В момент одного из самых горячих выступлений что-то звякнуло. Все замолчали. «Что ж нас не предупредили, что тут телефон?.. — вскинулся кто-то. — Это невозможно!» — «Все нормально, — сказала *хозяйка*, — квартира чистая».

Все было точно по Толстому. Во всяком случае, мне «с печки» так оно и виделось. *Священную древнюю столицу России!* — сердито повторил Кутузов слова Бенигсена. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я вас собрал, следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?..».

Москву сдали, почти год «Хроника» не выходила. Якобсон улетел в Иерусалим, и тогда выстрелили тремя

залпами сразу — в конце года одновременно вышли три номера вполне живой «Хроники»...

Со всеми присутствовавшими на том историческом заседании я потом познакомился. С кем-то близко, с кем-то нет. Почти все они один за другим пошли в лагерь. Ну а что будет лет через пятьдесят в наших школах-университетах, что станут изучать на занятиях по новейшей истории — кто знает.

А я между тем снова и снова вспоминаю наш разговор. Нет, не последний, другой. Именно так она в тот раз и сказала: «Ты знаешь почему». А я ответил: «Знаю». Но теперь я не только знаю, я — вижу.

Что же я вижу?.. Балет. Как... балет? Балет, несомненно. Где я его вижу? Наверно, в театре, а если балет — в Большом. Нет, едва ли, очень все камерно, темновато для театра, тем более для Большого. Скорей, современный театр...

Конечно, современный! Он и по хореографии современный, и солистка без пачки, без... Как это у них называется? Нет на ней розовых туфелек — босиком... Босоножка! А это что на ней? Туника. Впрочем, едва ли туника — майка. Старенькая маечка, пожалуй, и не первой свежести, дамочки ходят сегодня в таких дома, в дачном поселке, ну, кто посмелей, могут позволить себе...

Майка короткая, значительно выше колен, сползла с одного плеча, а плечо круглое, сверкает, когда поближе к лампе, а лампа — торшер, рядом стол под белой скатертью...

Она — *распорядительница*. И только-то?.. Нет, здесь что-то другое: уносит-приносит тарелки, ножи-вилки, бокалы, закуски, напитки, а за столом — гости: болтают, курят, выпивают — подружки, подружки... Нет, они не в майках, как и положено в гостях: модные платья, сарафаны... Современные подружки.

А что за событие — юбилей, праздник? Но почему только дамочки?.. Нет, вот и мужчина, у него своя партия, своя хореография... Да он *хозяин!*

Теперь понятно: они вдвоем — он и его благоверная — принимают гостей. И тем не менее это девичник, хозяин просто присутствует, куда ему деться, если хозяин? Но ему скучно: бродит по комнате, приходит, уходит, все это ему заранее надоело, он и не пьет — скучная у него пар-

тия. Но он вежлив, терпелив, посматривает на часы, что-то у него впереди намечено, такая скрытая пружина, неведомая еще партия, а пока...

А вот благоверная его гуляет, хорошо ей, весело, вечер удастся: присаживается, выпивает, вспархивает, а под маечкой...

Да нет ничего под маечкой, она дома — зачем ей, подружки давние, да они, наверно, одноклассницы, однокурсницы — вертихвостки, все друг про дружку известно...

Катится вечеринка, праздник: час, два, три — долго...

Долго не долго, но ведь когда-то и конец, поздно, засиделись, пора расходиться, да и хозяину, несомненно, скучно — зачем ему бабий праздник? Но разве он один — пока еще не его партия, солистки, а она не отпускает, перебрала, движения уже неуверенные, вон и бокал уронила, а ей весело, удерживает, удерживает гостей... Хозяин по-прежнему терпелив, но пора и честь знать, хватит, потихоньку начинает выпроваживать — вежливо, терпеливо, но уже настойчиво, впереди у него своя партия, он засиделся, настоялся, не пьет, а потому, и верно, все это ему надоело, раскручивается, раскручивается в нем пружина — ох, какая непростая хореография! Да проводит он их всех, развезет, машина у него большая, новая — всех посадит, усадит, всех проведит-развезет...

И вот они прощаются, уже у дверей, кто-то что-то забыл, возвращается, кто-то должен пригудрить носик, кто-то пьет на дорожку, на посошок... Наконец вываливаются из квартиры.

Барышня остается одна, маечка сползла уже со второго плеча, плечи сверкают под лампой, торшером, она начинает убирать со стола... Нет, она явно устала, да и неохота ей убирать, возиться, выпила, пожалуй, лишнего, перебрала барышня, расслабилась, берет еще одну рюмку, нет — бокал, наливает, пьет, присаживается к столу, закуривает, снова поднимается, ходит по комнате, вот она у широкой тахты, падает на нее... Проваливается в сон? Нет, снова поднимается, скорей, вскакивает, стелет постель...

Он же вот-вот вернется, машина новая, зверь-машина, долго ли их всех... Она снова подходит к столу, снова наливает, выпивает, запрокинув голову...

Пространство сужается, свет на нее: сползшая маечка, плечи, скатерть белая залита вином, она достает еще одну сигарету...

И тут дверь распахивается — он входит...

Пространство продолжает сужаться, но какая и чья теперь *партия* в луче света?..

Итак, он возвращается, входит... Нет, это она возвращается — вернулась! Сколько лет я ее не видел? Лет тридцать, не меньше, а она все та же, такая же, время не властно над ней. Какая мерзость, думаю я, но уже не могу ее не видеть: смеется, кривляется, тянет ко мне руки с длинными черными ногтями... И это спустя годы и десятилетия! Все те же *платки*, а она способна вышить их любым узором, те же обмолвки, оговорки, пустяки, не стоящие ничего, а я, как и тридцать лет назад, ловлю их, начинаю разматывать, перебирать...

Но почему я забыл о *балете*, разве спектакль кончился? Почему я перестал его видеть: второй акт, заключительный — финал, тот, ради которого балет и был написан, сценически оформлен, ради которого и была выстроена вся эта хореография, подобраны костюмы, а музыка — дразнит, издевается, готовит к тому самому, ради чего... Да он и поставлен ради финала, и зритель пришел ради него — не на бабий же праздник, самое оно и должно происходить, произойти в финале, разве заключительное па-де-де не станут бесконечно бисировать?..

Нет, я не хочу это видеть. Боюсь?..

Смеется, веселится зеленоглазая шекспировская ведьма, хохочет, кривляется — какая легкая у нее *добыча*, да она у нее всегда легкая, всегда *добыча*. И верно — смешно, ничтожно.

С чего же все это началось — откуда либретто, хореография, завораживающая, уничтожающая меня музыка? С чего все началось?..

Да ничего и не было. Ко мне завтра девчонки зайдут, у нас такой день, каждый год, еще ни разу не пропустили, раньше у кого-то, а теперь у меня. Мы со школы вместе, считай, с первого класса. У каждой своя жизнь, своя судьба, все такие разные, а все равно хорошо, такие они близкие, все друг про дружку...

И только-то?.. Нет, не только. Ситуация уже тогда была перевернута: «В границах добродетели раздевшись!..». А птичий крик, разрывающий музыку в финале спектакля?!

А ведь, пожалуй, не зря вспомнился Сахалин, Доре, иллюстрации к...

Скрежетнув еще раз тормозами и громыхнув обледенелым железным ящиком, встряхнув его так, что все содержимое ёкает, как одна огромная селезенка, машина вползает в шлюз; мотор продолжает работать, но ему не заглушить грохот задвинувшихся ворот. Впереди раздается новый скрежет: подвывая, раздвигаются, уползают в стены вторые ворота, железный ящик снова встряхивает, ёкает огромная селезенка, там что-то с шумом валится, падает друг на друга, машина выкатывается из шлюза и через несколько десятков метров останавливается. Гремит ключ, гремит дверь, гремит еще один замок, гремит решетка — «Выходи!»

В клубах морозного пара на снег перед машиной вываливается содержимое железного ящика, в ранних зимних сумерках не разобрать лиц: бледные, грязные, обросшие — десять, двадцать, тридцать, сорок... Как они уместились в ящике? Машина отъезжает. Кучка людей на снегу озирается: тесное пространство между темными, уходящими в небо корпусами, над головами арка — переход из одного корпуса в другой... Рядом лязгает дверь: «Заходи!». Придерживая сползающие штаны, шлепая, загребая ботинками без шнурков, они втягиваются в открывшийся перед ними проход, в дверь. Сейчас она лязгнет за ними, захлопнется. Надолго? За кем-то навсегда.

Большое, темноватое помещение, трубка «дневного света» под высоким потолком не в состоянии его осветить... Что это? Комната? Нет, комната предполагает хозяина — его вкус, пристрастия, профессию, личность, да мало ли что, комната — это дом. Едва ли это вообще жилое помещение, нет ничего, что можно было бы назвать мебелью — ни стола, ни стульев, ни кроватей. Это и не присутственное место, в котором хоть что-то должно намекать на смысл *присутствия*. Некий «зал ожидания» — *ожидания чего?..*

Метров, пожалуй, тридцать квадратных, потолок высокий, а потому кубатура большая, но первое, что ощущаешь, переступив порог, — духота, сырость, грязный пар, табачный дым, густой смрад... Может быть, потому яркий свет под высоким потолком и не способен пробиться, осветить *помещение*? Загаженный, хлюпающий бетонный пол, вдоль стен узкие железные лавки, против

двери, под потолком, два «окна» — метра в полтора шириной и полметра высоты, они забраны толстой решеткой, а снаружи, за стеклом, загорожены чем-то еще; в темноте, сгустившейся во дворе, в котором тебе больше никогда не бывать, в темноте уже не разберешь — что там, но у тебя будет время понять и это.

Слева от двери, в углу — сооружение, некий знак цивилизации, примета века, единственная здесь черта «домашности», но глаз на нем не отдохнет, и ты в первое мгновение в ужасе отвернешься: загаженный до безобразия ватерклозет, вода, не переставая, бурлит, он забит, лужа растекается, растаптывается — вот откуда грязь, хлюпающая под ногами...

А ног множество: ботинки без шнурков с вываливающимися «язычками», сваливающиеся, шаркающие туфли, уверенные в себе (кажущиеся такими рядом с разоренными туфлями и ботинками) сапоги — все они топчутся, шаркают, шлепают, сначала выбирают место посуше, осторожничают, потом привыкают, уже не замечают, куда ступить — да и нет в этом смысла...

Пожалуй, надо было начать не... «Помещение» забито людьми. Не забито — переполнено, пятьдесят — шестьдесят человек, много это или мало для тридцати квадратных метров с узкими железными лавками — половина стоит, топчется, потом начинают перемещаться. А железная дверь то и дело открывается — с лязгом и с лязгом захлопывается, входит кто-то еще — один, двое, трое, сразу пятеро. Останавливается, топчется, озирается, приглядывается, потом ботинки без шнурков, сваливающиеся с ног туфли, сапоги начинают ступать, шлепать, шаркать, уже не осторожничая.

Вот о чем речь: что их занимает раньше — тех, за кем с лязгом захлопывается еще одна (которая уже сегодня по счету?) железная дверь — странность, скажем, «помещения», в котором они оказались, или скопление людей, находящихся в том же положении? Важно ли — что раньше?

Гул стоит в помещении, а как иначе — нормально! Пятьдесят — шестьдесят человек собраны вместе — как в предбаннике, в зале ожидания — да что там не ожидалось!..

— Закурим, отец?

— Закурим!..

И вот ты уже сидишь, кто-то подвинулся, кто-то встал *пройтись*...

Словно бы посветлело — или пригляделся? Кто-то привалился головой к стене, глаза закрыты; чей-то воспаленный взгляд прикован к лязгающей двери, встречает каждого, кто входит; кто-то рядом спрашивает, спрашивает соседа — о чем, не разобрать, а тот на полслове встает и отходит; двое *фланируют*, ловко обходя бессмысленно топчущихся: один в распахнутом пальто, шляпа в руке на отлете, лицо мягкое, заросшее, прихрамывает, возит ботинками без шнурков под сползающими штанами, второй — в телогрейке, в кирзачах, заглядывает ему в лицо, суетится, быстро-быстро говорит, горохом сыплет... И все движется, говорит, курит, приглядывается, озирается... *Живет!* Неужто живет — такой странной, еще непостижимой, уродливой — потусторонней? — может, и потусторонней, но *жизнью!*

Может, и верно, посветлело, нет, едва ли, пригляделся — дым гуще, смрад тяжелее, дверь лязгает и кто-то еще, а за ним еще... И всё гомонит, шлепает, топчется, перемещается...

— Ты где жил, браток?.. — кто-то в углу.

«*Жил!*» — вот оно сказалось словцо, искомое, всё объясняющая глагольная форма.

Нет, не светлеет, показалось, ты опустился ниже, тьма гуще — вон как темно за решеткой, за загороженным чем-то снаружи окном, наверно, и двора того уже нет, все равно тебе его больше не видать. *Жил*, думаешь ты, *жил*, а теперь — *что это?*..

«Сборка», — прошелестело странное здесь слово, прошелестело и... Но ты снова и снова вылавливаешь его в общем гуле, вслушиваешься в него, поворачиваешь так и эдак, пробуешь на вкус, и оно начинает обретать смысл, сначала внешний, ничего не говорящий, не объясняющий — нелепое название, технический термин, не способный ничего сказать тому, кто услышит его со стороны, как название, определение, технический термин... Да и тому, кто *попал на сборку* — сразу ли поймет, распознает, прочувствует вкус, запах, цвет, пока оно еще просочится внутрь и ты сможешь его разглядеть с разных сторон, ощутить, проникнешься неисчерпаемой емкостью слова...

Сборка. И не пытайся вбить в формулу, подобрать сравнение, кому-то рассказать: «Привели, понимаешь, на сборку...» — «Куда?» То-то и оно — *куда?* Но ты услы-

шал, вырвал из общего гула, выхватил и впустил внутрь — да оно само проникло, забралось, торчит гвоздем, стало *твоим*, вошло внутрь, пустило корни — и уже не вырвать, только с мясом, с нутром, если вывернут наизнанку... Нет, не сразу, потом поймешь. Но и когда дозреешь, не объяснишь: не сумеешь.

Но это лишь первый шаг в тюрьме. Только *начало*.

Гудит сборка, будто и не ночь, будто так и надо, будто ты и родился для того, чтоб узнать о ней не со стороны, чтоб не удивленно-недоверчиво пожать плечами, о ней услышав, чтоб она стала *своей, твоей*, чтоб ты понял, что мог и всю жизнь прожить до смертного часа, а ничего о жизни не понять, кабы не сподобился попасть на *сборку*.

Но ты все равно не объяснишь, не сможешь, и никто тебя со стороны не поймет, не услышит.

Почему она продолжает и продолжает говорить о том, будто я не помню того, что было вчера, разве... Нет, здесь дело не в моей памяти, а в том, что сегодня, не когда-то там, но сегодня... А с памятью все у меня в порядке. Помню, разумеется, все я помню, просто понять не могу... Не могу — или не хочу?..

И я вспоминаю, что было — да не тридцать пять лет назад и не шестьдесят, подумаешь, если память засела, торчит, как гвоздь в башмаке, саднит, шагу не сделать пока... А вот две, три тысячи лет назад, вот где, быть может, разгадка...

Зачем он вышел на кровлю, думаю я... А почему бы нет, крыша, видать, была плоской, дело, как сказано, под вечер, жара спала, воздух, ветерок с гор — а какой воздух, какое благоухание!

Да, он увидел — и загляделся. Нормально, кто б не загляделся, вопрос здесь в другом: почему она не подумала о том, что он может ее увидеть, не первый же раз, по всей вероятности, вошла в воду, выбрав время, — случайно? Едва ли. Муж на войне, могла б сидеть дома и дожидаться. А если он давно на войне и уже нет сил дождаться?..

Нам ничего не сказано об этом, кроме того, что Давид прохаживался по кровле своего царского дома и увидел купающуюся Вирсавию.

Надо думать, она была действительно хороша, хотя нам ничего не сказано о том — во что тогда были одеты купальщицы. Наверно, на ней вообще ничего лишнего не

было: дело под вечер, едва ли много любопытных да и не парк культуры и отдыха — место, к которому она привыкла, где ей было хорошо и спокойно.

Она была очень красива, сказано нам, а потому допущение о том, что она все это, скажем, предвидела, — никак не досужий вымысел. Знала она, конечно, знала, что хороша и что именно в этот час царь выйдет на кровлю. А если выйдет, увидит.

Он не знал, кто она, а увидев, захотел познакомиться.

И это нормально и вполне понятно. Другое дело, почему узнав, *кто* и *что* — почему он послал «взять ее»? Впрочем, можно понять и это, хотя и не делает чести тому, кому нельзя ни в чем отказать. Здесь только одно оправдание: он мог подумать, что если она, зная, что он, выйдя на кровлю, ее увидит, тем не менее, демонстрирует свои прелести, то у него есть право этим воспользоваться. А если она всего лишь наивна, проста и ей не приходит в голову, скажем, сложность человеческих отношений?.. Едва ли цари так долго над этим размышляют.

Как бы то ни было, но ее привели к нему, он спал с ней и она забеременела.

То есть не совсем так. Нам сказано, что Вирсавия «сделалась беременною» и послала известить Давида об этом.

Не он узнал, а она его об этом известила. Пусть он и решает.

И Давид принял решение: послал на театр военных действий за Урией Хетгеянином, ее мужем, принял его, расспросил о ходе военных действий и отпустил домой.

А это как нам дано понять? Пожалуй, он еще не любил ее — иначе зачем отправил к ней мужа? Но с другой стороны, — что он мог сделать? Сказать ему правду, хотя это, скажем, и сегодня не принято? Он предоставил решать ей: или правду скажет она и будет то или это, или она промолчит и тогда будет что-то или ничего.

Но мы имеем дело с треугольником, а потому следующий ход сделала не Вирсавия и не Давид. Ход Урии был неожиданным. Он не пошел домой, что было бы вполне естественным: воин — пропыленный и измученный войной, вырвался домой, не так часто такое удается во время сражений — беги к жене! А он остался ночевать у ворот царского дома. Более того, он остался там и на следующую ночь, после второй встречи с Давидом, когда царь

спросил его, на этот раз прямо: отчего же ты не пошел в дом свой? Ответ воина был слишком красив, а потому, быть может, и не совсем искренен: мой военачальник и все воины в поле, в сражении, а я пойду есть, пить и спать со своею женой? Клянусь жизнью, я этого не сделаю. Сказал ли он правду или дело тут в том, что он знал о случившемся с женой?

И тогда решение принял Давид: он написал письмо военачальнику и отправил его с Урией, а в письме говорилось, что Урия в предстоящем сражении должен быть поставлен в самое опасное место, а когда бой начнется, всем следует отступить, оставить его одного и он будет убит.

Царю просто принимать такие решения, а еще проще их осуществлять.

Урия не вскрыл письма, как тысячелетия спустя такое письмо вскрыет Гамлет и тем спасется. Урию убили, и когда кончилось «время плача», царь взял Вирсавию к себе и сделал женой.

Сюжет исчерпан, но Библия, снисходя к нашей немощи и возможному непониманию, его дотягивает.

Господь послал к Давиду пророка Нафана, и тот предложил царю притчу: в одном городе было два человека — богатый и бедный; у богатого было много скота, а у бедняка одна овечка, которую он выкормил вместе со своими детьми и она была ему, как дочь. И пришел к богатому странник, богатый приготовил гостю обед, но *пожалев взять из своих овец или волов*, взял единственную овечку бедняка... Давид разгневался: человек, сделавший это, достоин смерти! Ты — тот человек, сказал Нафан.

Библия — особая Книга, и в ней важен не сюжет, как бы ни был он пронзителен, даже не характеры, как бы ни были они крупны, а мысль, духовный смысл сказанного.

Именно поэтому и смущает меня история с письмом Давида, что-то здесь не то, да это и не так важно, едва ли в этом вообще была необходимость — зачем? Господь в те времена был всегда рядом, а уж псалмопевец Давид разговаривал с Ним постоянно. Он был поэтом, жил в своей поэзии, которую нам оставил. Он увидел Вирсавию, возжелал ее, узнал о ней, и мелькнувшая мысль о том, что было бы, если б не было того, что мешает, что стало бы, когда б помеха могла быть устранена — решила дело. Этого было достаточно.

Кто убил Федора Павловича Карамазова — разумеется, не Митя, пошедший за несовершенно преступление в каторгу, даже не Смердяков, а Иван, убивший отца мыслью.

«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (Пс 50, 5).

Ощущение было ни с чем не сравнимо. «Необыкновенная картина мне представилась», — думал я не своими словами... А иначе не сказать, не объяснить, не передать. Необыкновенная картина мне представилась... Да, именно так.

К тому времени я уже отметил: в полвосьмого вечера, после ужина, когда я забирался на свою шконку, третью от окна, солнечный луч прорывался сквозь решку, косо прорезал камеру и падал мне прямо в лицо. Багрово-оранжевый, он тянулся, как толстая веревка, сверху вниз, а вокруг вспыхивало дымное сияние. Он перебивал мертвенный свет потрескивавших под потолком трубок «дневного света», и вся камера становилась багрово-желтой.

Да, та самая камера: залитое мертвенным светом пространство, безобразно загроможденное металлическими черными двухъярусными шконками (нарами), посредине дубок (длинный стол), глухие окна в решке (толстой решетке), густо загороженные снаружи ресничками (ржавыми полосами), железная дверь с наваренной изнутри кормушкой (форточкой), три ступени ведут к омерзительному сортиру... А народу, народу — толпа! Небритые, потные, желтые зубы под красными, синими губами — пестрая куча, чтоб пройти, надо протолкаться, прыгают со шконок, толпятся вокруг стола, постоянно перемещаются, а потому кажется — в дыму, в смраде плывет ватер-клозет, парит над камерой...

И вот — необыкновенная картина. Я видел ее, она мне открылась.

Луч косо падал от решки, дымно висел над дубком, проходившие мимо его перечеркивали, вспыхивая при этом смоляными факелами.

В этот час в камере бывало спокойно. Часа два пройдет, пока начнется толкотня перед «подогревом» (последняя, своя собственная еда — у кого что есть) — всё загалдит, засуетится, и так до утра. В эту пору за дубком игра-

ют. Человек двадцать сидят за шашками, шахматами, домино... Голые по пояс, мокрые от пота, разрисованные и неразрисованные, освещенные сейчас ярким оранжевым сиянием... Я не могу оторвать от них глаз, и меня не оставляет ощущение нереальности этой картины, ее фантастичности.

Я уже всех знаю: кто как тут оказался, что кому предстоит и чего от кого ждать... На самом деле, я ничего ни о ком не знаю: и оказались они здесь не так, как об этом рассказывают, и мои соображения о том, что с ними произойдет, сомнительны, а что от кого ждать — вообще невозможно предположить.

Я уже понимал, научился, месяцы в тюрьме сто́ят нескольких лет на воле... Каких лет — десятилетий! Чему же я научился? — думал я. Всего лишь тому, что человек говорит одно, думает другое, а поступает совсем иначе, что порой нет в его поступках ни логики, ни здравого смысла, или его странная логика и якобы здравый смысл противоречат моим о них представлениям. Но в таком случае надо бы говорить не о ком-то, а всего лишь обо мне, оказавшемся не способным вместить чужую логику?.. Едва ли, чтоб сформулировать такого рода банальность, следовало платить столь высокую цену — тюрьма слишком дорогое удовольствие.

Что же произошло со мной за эти месяцы?.. — думал я. Тюрьма сломала стереотип сознания, складывавшийся всю мою предыдущую жизнь, или, проще говоря — мои представления о том, что хорошо, а что плохо. Все мои представления о жизни — социальные, профессиональные, нравственные — и нравственные! — разлетелись, их не собрать, они не нужны здесь, оказались лишними, пустыми... Но значит, они вообще не были нужны, не имели никакого отношения к живой жизни, а служили для организации внутреннего ли, внешнего, но благополучия. Комфорта, — поправляю я себя жестко. Чтобы так или иначе организовать свой комфорт, я огородился частоколом слов и понятий — красивых, приличных...

Человек, совершивший уголовное преступление, — преступник. Об этом свидетельствует не только закон и не просто закон, но весь комплекс моральных, нравственных представлений о жизни, они и сделали меня тем, кем я был. Каким-то образом я это узнал, усвоил, воспи-

тал в себе, это вошло в мою жизнь и... И стало тем самым частоколом, которым я себя огородил...

А человек, уголовного преступления не совершивший, — не преступник?.. Простая мысль, элементарная логика, но она и лежала в основании нравственного фундамента моей предыдущей жизни, была частоколом, за ним всегда было тепло и уютно, комфортно...

А солгать, думаю я, лежа на шконке и глядя на омерзительную камеру, светящуюся багрово-оранжевым сиянием, а лжесвидетельствовать? А прелюбодействовать, а не возлюбить ближнего, как самого себя, а не возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением?.. А не посетить узника в тюрьме, больного — в больнице, а не накормить голодного? Евангельский императив, представлявшийся в вольной жизни литературно-мифологическим, а отрицание его или его необязательность никак не преступным, обретает в тюрьме живую, единственно возможную реальность...

Человек внутренне непременно сопротивляется такому слову сознания, изменению предшествующего опыта, всего своего *состава*. Но в тюрьме — *не может* иначе. И если будет к себе внимательным, поймет, что весь его предыдущий социально-психологический опыт исчез, испарился. Его самого нет, а потому и прежний опыт не нужен. Даже если не поймет, не осознает и внутренне будет продолжать сопротивляться. У него больше ничего нет. Нет ни положения, ни наработанного авторитета, ему не нужно образование, у него нет семьи, дома, ничего из того, что он собирал, копил, складывал кирпичик к кирпичику всю свою жизнь. Богу было не просто пробиться к человеку сквозь наглухо запертые двери его жилища, коснуться души, загроможденной собранным за десятилетия богатством. Чем бы оно ни было — интерьером или так называемыми духовными ценностями, удачами или горестями. Там гулял только дьявол, ему все просто, он не заблудится в интерьере, найдет скважину, щель, лазейку — да просто позвонит в дверь и она для него широко распахнется.

Вот что такое тюрьма. Не смрад и решка, не железная дверь с вбитыми, вмятыми в нее болтами с их омерзительной геометрией. В тюрьме человек открыт Богу... И дьяволу. Разумеется, и дьяволу, ему человек открыт всегда. Но в тюрьме бой честный, открытый, ничто не меша-

ет и нигде не спрячешься. Человек стóит в тюрьме ровно столько, сколько он стóит. Ничто не мешает *выбору*, он более жесток, но и более прям.

Вот они передо мной — мои сожители, освещенные фантастическим багрово-оранжевым светом, такие, как есть — чем они защищены от дьявола, что в них открыто Богу?..

Камера плыла в оранжевом, багровом свете... Я уже знал, еще минут десять, луч переломится о решку и — исчезнет. Десять минут! Много это?.. Плывет камера, ее обитатели, мои сожители и я вместе с ними. Куда?.. Еще немного, что-то я должен увидеть, узнать — и тогда пойму...

Я закрывал глаза, а когда открывал — луча не было, мертвый «дневной свет» обнажал загаженное пространство, серые тела моих сожителей — *братьев*... А смрад становился еще гуще.

Наверно, лет десять меня преследует один и тот же сон. Не один, на самом деле, тот же, но с вариациями. С чем связан — не понять, да и зачем — забыть скорей, ополоснуться холодной водой, чаю покрепче...

Я куда-то опаздываю, не успеваю, а мне необходимо, крайне важно, нельзя не успеть, но прежде я должен сделать то-то и то-то... Я куда-то уезжаю, нужно собрать вещи, далеко отправляюсь, а потому надо забрать всё: книги, бумаги, папки, тряпки — собрать, уложить, связать, что-то еще и еще. Но я знаю, сколько на это потребуется, уйдет времени, спешу не спешу, не успеть, а вот-вот будет машина, и тут я вспоминаю, в свое время так же не успел, не собрался, не уехал, а тут — нужно еще оформить документы, а значит, пойти в контору, а на это уже совсем не осталось...

Я начинаю складывать, собирать, связывать книги, бумаги, папки, но понимаю, что сначала следует сбегать в контору оформить документы, здесь, дома, в конце концов все зависит только от меня, успею, как-нибудь, но успею, а там может быть очередь, кто-то уйдет, девчонка-секретарша — она и должна поставить печать, без печати нельзя, а она может бесконечно болтать по телефону или что-то еще...

Да, сначала документы, конечно, сначала туда. Я бегая из дома, все правильно: сначала контора, дома я

успею, зависит только от меня, смогу, сложу, увяжу, успею... И тут вспоминаю, что толком не договорился насчет машины, там не совсем ясно: машина приятеля, у него вечно с ней что-то происходит, прошлый раз украли, сняли колеса, потом заклинило руль, однажды он забыл заправиться, а на бензоколонке бесконечная очередь... Надо позвонить, договориться точно... пусть все проверит, в зависимости от этого рассчитать оставшееся время...

Я подхожу к автомату, роюсь в карманах — жетона нет! Значит, возвращаться, звонить из дома...

Я возвращаюсь... Да, мне не успеть, все равно не успеть. Но я начинаю лихорадочно собирать книги... даже если упакую, свяжу, мне не поспеть поставить печать в конторе, а если успею и в конторе, то машина придет позже, телефон у него бесконечно занят, он все еще дома, мы не доедем, никак не успеем, а мне нужно, необходимо, я не могу не успеть, не могу опоздать, сегодня тот самый день, тот самый случай, последний день, завтра будет поздно, а сегодня, сейчас, в эту минуту...

Я не могу успеть, не успею, мне некого попросить о помощи, так получилось — почему?.. Если бы кто-то связал книги, а кто-то подогнал бы машину, я мог бы сбежать в контору, а если б кто-то занял мне там очередь... Но мне некого просить, в конце концов это мое дело — я уезжаю, значит, должен все делать сам.

Я бросаю книги, папки, бегу в контору, по дороге спохватываюсь, что так и не дозвонился приятелю, это необходимо, может быть, самое важное, влетаю в автоматную будку, вспоминаю, жетона у меня по-прежнему нет...

Я просыпаюсь от телефонного звонка, сердце стучит где-то в горле.

Голос чистый, звонкий, промытый... «Ты где? Откуда звонишь?» — «Из бассейна, забыл?.. Спишь, что ли?» — «Нет, что ты... — я вытираю пот со лба. — Что ты, я жду твоего звонка». — «Представляешь, сегодня я побила собственный рекорд — нет, это рекорд бассейна! Слышишь? Пятьдесят дорожек — представляешь? Я не плыла — летала!.. Слышишь?» — «Да, конечно, поздравляю...» — «Я еду к тебе — что-то нужно?» — «В каком смысле?» — «Я прямо сейчас — что нужно купить?» — «Ничего не нужно, только...» — «Что только?» — «Чтоб ты приехала», — говорю я и перевожу дух.

Последняя пересылка, дальше нет тюрем, если в этом направлении, и железных дорог нет — тупик, а там горы, граница... Сколько раз мысленно вглядывался я в эту карту — последняя! А какая она для меня по счету? Восьмая... Или седьмая? Ну, седьмая-восьмая, а «столыпиных» в промежутке — их сколько было, а «воронков» — с вокзала в тюрьму?

Последний этап. Ну, надели наручники — зато «Як-40», не вонючий «столыпин», а когда увидел небо над летным полем, а какое солнце в Сибири в конце февраля, утро раннее, только поднялось, выкатилось красным шаром, — да пес с ними, с наручниками, это другим пассажирам в самолете в новинку, смотрят на меня с ужасом, конвой снял с меня шапку, прикрыл наручники, чтоб никого не смущать, а тут стюардесса тащит на подносе сладкую водичку в прозрачных стаканах, да я уже полтора года такую не видел, я и дернулся, уронил шапку, тяну руки, а она глянула на них — и поднос на пол...

А мне весело, еще чуть-чуть, уже можно дни считать — *последняя* пересылка! — а дальше воля, пусть и урезанная, знаю я, знаю, все прознал о ссылке, слушался, но разве это режим, подумаешь, нельзя выйти за пределы села, а зачем мне за пределы, мне бы по улице пройтись одному — одному! Мне бы в магазин зайти, хлеба купить — *свежего*! Консервов банку, картошку сварить, стакан выпить, сигареты — закурим! А там ведь и почта — а значит, письма, а говорят, телефон — хоть в Москву звони...

И вот она последняя — в Кызыл-Озек. Позади два месяца этапа, каждый «столыпин» — другой, каждая пересылка со своим лицом, да помню я их, все помню, не забыть, об одной уже писал, о самой «экзотической» — омской, где спасся только тем, что вспомнил, как полтора года до того привезли туда декабристов, да ведь и то ошибся — через Томск их везли, конечно, через Томск, Омск они миновали. Тем и спасся, когда представил себе, как им там было — после конногвардейских парадов и балов, после бесед с Пушкиным и Чаадаевым... Нам-то что, мы всякое повидали...

Да Бог с ней, с омской, меня в тюрьме больше всего пугали свердловской пересылкой, самая, мол, страшная, в одном углу с тобой то-то сделают, в другом — то-то, а ничего такого там не было, мерзость, как и везде, огром-

ная тюрьма, на скрещенье дорог — с севера на юг, с запада на восток и обратно; огромная камера, сунули, потеряют документы, думаю, непременно потеряют, там и сосчитать людей невозможно, никто не найдет, сдохнешь тут... Но она мне другим запомнилась — свердловская, впервые за все эти месяцы увидел памятное по военному детству насекомое — вот тут я заскучал...

А под Ухтой пересылка — Бутово, разве ее забудешь? А чем запомнилась? Шленками — миски такие, алюминиевые, в которые разливают баланду, в Москве на «Матросской тишине» они новенькие, блестящие, звонкие, а тут — тоненькие-тоненькие, как бумага, сколько тыщ зеков хлебали из них в 20—30—40—50-е годы, скребли ложками, зубами — истончились, шелестят, вот-вот прорвутся...

А барнаульская пересылка — у нее разве не свое лицо? Да уж «лицо»... Спустили в подвал, к «полосатым» (осужденные к «особому режиму», как правило, «особо опасные рецидивисты»): вода по щиколотку, течет и течет с потолка, из окошка под самым потолком, а потолок высокий, нары трехъярусные... Ты зачем к нам? — спрашивают меня. А я что — куда сунули. Тебе у нас не положено, говорят, ты на ссылку идешь, а мы тут по 20—30 лет припухаем, из зоны не выходим... Спокойные мужики, тихие, как выработанные лошади. К столу пригласили — у меня уже ничего не оставалось своего, подобрал за два месяца, накормили, уложили на нары, греют с двух сторон, разговор человеческий, нормальный... Только стал засыпать — вытаскивают, похоже, верно, не туда сунули, их прокол, накладка.

А вот в одном из «столыпиных» был мой собственный прокол, хотя учили еще в московской тюрьме, готовили к этапу: ничего, мол, не ешь, только свое, сухари, сахар, а селедку дадут — ни-ни, а я и про вкус ее уже позабыл, откуда в тюрьме — селедка, а тут один «столыпин», второй, третий, лопают мужики — селедка, хамса, ее на каждый этап выдают — целый пакет, течет из него, штаны, бушлаты в селедке... Чем я хуже, думаю, как отказаться, жрать охота... И вот на третьем, что ли, перегоне, когда на Киров или от Кирова на Свердловск потащили, я и не выдержал, открыл свой пакет, а начал, уже не остановиться... Встал я у решетки, распылся: пусти, говорю, сейчас разорвет. До вечера постоишь, хмыкает конвойный, ни-

чего с тобой не случится, разве что... Но тут уже вся камера-купе загремела: «У нас дед помирает, пусти до ветру!..» И уже весь вагон гремит, раскачивается — во всех клетках стучат кто чем может... Но ведь выпустил начальник конвоя — пожалел, испугался? Едва ли пожалел, а тем более — испугался, но пока еще до него докричались, пока пришел... Я и до сих пор смотреть на нее не могу, на хам-су эту.

Ладно, привозят меня в Кзыл-Озек. Образцовая тюрьма, а образцовая, значит, режимная. Я такого шмона, как у них, нигде не видел, все отобрали, все, что до того как-то смог, ухитрился сохранить, все переворошили, но единственно, что и до сих пор жалко — пятнадцать лет прошло, а жалко. Крестик у меня был, в первой московской камере мне его выточил паренек из белого шахматного коня, неделю вырезал заточенной алюминиевой ложкой, я носил его на ниточке, а когда пошел на этап, заныкал в полу бушлата, в вату. Но ведь прощупали, козлы, вытащили — и в общую кучу. Голым пришел после шмона.

Вот о том и история, о том, как пришел я в эту последнюю свою камеру, на последней пересылке.

Все-таки образцовая тюрьма, она и есть образцовая, подумал я, как только втолкнули в камеру: чистенько, всего человек двадцать... Не похожа на транзитку, но, может, так и должно быть, если образцовая...

Хорошо у вас тут, говорю. Нормально, мол, а у тебя какая статья? Какая теперь моя статья, на волю иду, на ссылку. А вы куда — тоже на ссылку, здесь на Алтае будете или еще куда? Чего, говорят, какая воля-ссылка, опух, что ли, с горя? Ты в следственной камере, спасибо, если еще полгода до суда, а то и года как бы не два...

Что? — переспрашиваю я и сажусь на ближайшую шконку в полной растерянности, ноги не держат, — как следственная?..

Второй год я в тюрьме, восьмая она у меня, считай, девятая, если от Москвы досюда, конечно, бывают накладки, тыщи и тыщи людей, сбивается режим, не выдерживает порядка, но чтоб человека, идущего на ссылку, можно сказать — на волю, посадили к подследственным? Да быть того не может, они же мне все, что смогут сказать — скажут, все, что успеют... А как мне заткнуть уши, а потом — заклеить рот?..

Вон оно что, думаю, вползает в меня ужас, да не ужас, на самом деле, тоска. Я уже дни считал, часы, последняя пересылка, еще день, пусть неделя, мне уже рассказали-объяснили: раз в десять дней идет конвой из последней тюрьмы в Кызыл-Озек и до места, даже дни знал — по семеркам: 7, 17, 27 каждого месяца — и я на воле. Меня уже ждут, знал я, должны встретить, и подтверждение было, когда получил в Барнауле неположенную передачу, понял, кто будет встречать на месте... Но теперь — из следственной камеры?!

Значит, все сначала — следствие, преследование, новая статья, а если так — повезут обратно. Тот же путь, но в обратном направлении: Барнаул, Омск, Свердловск... И так до Москвы.

На это у меня, пожалуй, уже нет сил, не рассчитал, весь выложился на дорогу сюда. Не рассчитал, ничего про запас не оставил.

Образцовая тюрьма, не зря так чистенько — да зачем она мне, их чистота! Днем лежать не положено. Везде в пересылках, в транзитках, да и на «Матросской тишине» — загажено, забито, а найдешь местечко, лежи себе хоть сутки, никому нет дела, гулять — не нужно, есть — не нужно, да провалитесь вы со своим режимом, кому — надо? А тут только приляжешь, кормушка бряк: «Встать! Не положено!..». Да хоть и ночью, только засну, гудит в ухо: «Ты слышь, слышь, как выйдешь, запомни адресок, скажи брату, подельнику, тому-сему...». Да куда я выйду, меня обратно в Москву, у вас же следственная камера... «А ты все равно запомни, — шелчет и шелчет всю ночь, — мне край, если он, сука, не поможет, я выйду — замочу, падла буду, так и передай...»

У половины — мокруха, да у них у всех тут — мокруха, охотники они на Алтае, все охотники, а потому — ружья, винтовки, обреза, а ножи у них и вовсе — с подростков, а ружье, как известно, хочешь не хочешь когда-то стреляет, а спяну разве он сообразит, куда стрелять?.. А я теперь должен запомнить, передать — да кто его теперь отсюда вытащит? Не я, само собой, они не зря меня сюда сунули, тут я и присохну, если обратно не повезут...

Нет, не все с мокрухой, один особенно настырный, а мы с ним рядом, бок о бок на шконке — этот вообще с меня не слезал, зудит и зудит днем и ночью, на прогулке, за дубком: ты писатель, значит, за права человека, понять

должен, запомни телефон адвоката, а он жене, а жена сразу к тебе, только не записывай, тебя прошмоняют, все отметут, заберут, запомни, внимательно слушай...

Да убить я его хотел, пусть мокруху повесят, все равно не выйти! Понимаешь, говорит, у меня две коровы, я бухгалтер в совхозе, а тут подвернулась работенка денежная в Минусинске на все лето, вернулся — бело, у нас снег, считай, с сентября по май, а баба моя болела, сена ни клочка, погибли коровенки. Я в совхоз, к директору, он свояк, мы со школы, считай, не разлей-вода. Принес ему бутылку, как положено: возьми, говорю, в стадо на зиму, одну тебе за прокорм, вторую заберу... Нормально — почестному?

Да зачем мне твои коровы, снег, природа, говорю, мне тут не жить? Мало ли что, говорит, может, и выйдешь, а у меня другого выхода нет — ты слушай, слушай, запоминай... Короче, продолжает мой сосед по шконке, выпили мы с директором, договорились, нормальное дело, все законно. Прихожу весной, когда стали коров выгонять, гляжу, а его, дружка моего, как подменили, а мы с ним, считай, всю жизнь свои. Приходи, говорит, ночью, а то у нас ревизия. А чего, мол, все законно. Так-то, мол, так, но лучше, чтоб шуму меньше. Пришел ночью, он вывел мою корову. А как, говорю, я ее поведу, давай веревку... Это вот важно, говорит, ты запомни про веревку. А мне зачем про твою веревку? Тебе ж с моей бабой говорить, с адвокатом: они веревку должны опознать — если его веревка, значит, он мне сам корову вывел — сечешь?

У меня голова крутится, ничего не пойму, у нас с ним ночью разговор, зудит и зудит в ухо.

Ну, короче, говорит, забрал я корову, в ту же ночь зарезал и в Семипалатинск. Мясо продал, собираюсь телочку купить. А мне соседка шепчет: зачем тебе тратить-ся, у тебя свой телок... Соображаешь? — спрашивает. Нет, говорю, совсем уже ничего не могу понять. А что тут понимать, говорит, у меня коровы-то огуленные были, одна, правда, яловая — он ее мне отдал, но вторая-то стельная, а он молчок, свояк мой — понял?.. Я к нему: ты что, мол, делаешь, мы считай, братья, а ты на мне нажиться хочешь? Ничего, говорит, не знаю, у нас ревизия, иди отсюда, пока цел. Базар у нас на всю контору, а за стенкой ревизор из края: о чем, мол, спор? Я ему натурально все объясняю — деваться некуда, а он на меня вы-

зверился. Или, говорит, ты корову увел из совхозного стада, или вы с директором вдвоем, сговорились... Я ему то, а он мне это. И свояк мой с ним, перепугался, что на него повесят: ничего не знаю, договора у нас не было, он сам ночью свел корову... Короче, пришли через день и меня забрали.

И сколько тебе светит? — спрашиваю. 93-я статья, говорит, хищение госимущества, от восьми лет до пятнадцати или расстрел... Я даже про сон позабыл: да ты что, говорю, быть того не может?.. Вот тебе и что, не может, у нас все — может. Потому ты и должен сразу, как выйдешь, жену отыскать, а она адвоката... Ну и что я им скажу? У меня, говорит, одна зацепка осталась — расписка. Какая еще расписка? Когда мы с ним сговаривались, с моим свояком, мы не одну, а три бутылки выпили, полночи гудели и он написал: взял две коровы на прокорм на зиму за три бутылки, одну корову верну по весне, обязуюсь — и подпись. Что одна из них стельная, я тогда не знал, и он не догадывался. Но это ладно, с телком с этим, мне бы отсюда выбраться, я его все равно заберу... А как ты выберешься? — спрашиваю. Так я тебя затем к своей бабе и посылаю — а ты думал зачем? Ты ей звонишь, она к тебе приходит, и ты ей рассказываешь про расписку. Когда меня забирала, я про нее позабыл, а потом в ум вошел и вспомнил, а если следователю сказать, они ее порвут. Так она где есть, твоя расписка? — спрашиваю. В кармане, говорит. В каком таком кармане?..

Тут, понимаешь, продолжает он, собака и зарыта. Он тогда ночью написал расписку и подписал. А печать? — спросил я его. Какая еще тебе печать, говорит, мы с ним у него в сараюшке пили — не было там печати, но подпись его известная, не отопрется. Я взял расписку — и в карман, в телогрейку. Но дело тут в том, что расписка в моей телогрейке, а она у него, у свояка. Что у него? — спрашиваю. Телогрейка, говорит. Мы с ним три бутылки выпили, а когда я уходил, вместо своей — его надел, в ней и ушел, в ней и в Минусинск уехал. А поменять позабыл — зачем мне, они у нас одинаковые, вместе с базы получали.

Чего ж ты от меня хочешь? — у меня в глазах даже искры запрыгали. Пусть баба моя к нему зайдет и подменит телогрейку, говорит он, а если не сможет, пусть идет к ментам, пес с ними, чтоб они обыск произвели и отобрали расписку. Что ж она, по-твоему, так там и ле-

жит в кармане? — спрашиваю. А где ей быть, я ее туда положил, это я помню. Когда положил? Осенью, говорит, когда мы с ним водку пили и обо всем договаривались. Это ж в сентябре было, говорю, в прошлом году, а сейчас у нас февраль кончается... Ну и что, говорит, пусть февраль, где ей еще быть, а у меня нет другого выхода — только на расписку расчет, и чтоб они веревку опознали, — тогда я, считай, дома... Ну ты деловой, — говорю я.

И так каждую ночь, а потом целые дни. На четвертый утром меня выдернули из камеры. Освобождают, шепчет мой любитель рогатого скота, уйдешь на волю... Я только отмахнулся.

Идем переходами, вышли во двор. Солнце, небо высокое, воздух, вон и горы над стеной в колючке... Слушай, — спрашиваю вертухая, — почему меня в следственную камеру, я ж на ссылку? Не нравится, говорит, хочешь в транзитку? Да уж лучше бы, говорю, ближе к воле. Допрыгаешься, хмыкает.

Спрашивать бесполезно, да и откуда ему знать, вертухая, а знал бы, все равно не скажет.

Во дворе двухэтажный домик, входим, по лестнице на второй этаж.

Большая комната-кабинет, за столом, спиной к широкому окну здоровенный в штатском, представительный.

— Садитесь...

Я присел к столу.

— Как вам ехалось? — спрашивает.

— Очень благодарен, — говорю, — долгая дорога, но — добрался.

— Да, расстояния у нас большие. Не обижали дорогой?

— Нормально, — говорю. — Дальше, вроде, некуда — приехал?

— Ну, а как вы сейчас устроены?

Что за странный разговор? — думаю.

— Спасибо, только не понять, почему я в следственной камере?

— А вам там плохо, обижают?

— Да меня никто, кроме вас, никогда не обижал, но я ведь на ссылку выхожу... — ну хоть бы ты расколосся, думаю.

— Ах вот вы о чем! У нас карантин в транзитках, зачем вам перед ссылкой — еще заразу подхватите? Мы вам подобрали чистенькую камеру. Или какие проблемы?

— Благодарю за заботу, а чего вы меня тут держите или у вас конвой раз в десять дней?

— Простите, не представился. Начальник областного управления КГБ... Вы теперь в моем распоряжении.

Вот так номер, думаю.

— Я числюсь за прокуратурой, — говорю.

Улыбается: обаятельный, открытый — душа нараспашку.

— Мы всем занимаемся, а я за всю область в ответе. За вас в том числе. Курите?.. — и протягивает пачку — «ТУ-104».

А я сигареты с фильтром, считай, год не видел.

— С удовольствием.

Закуриваем: вот она воля, совсем рядом!

— Значит так, — говорит, — в ближайшие дни мы вас отправим. Вы бывали на Алтае?

— Во время войны, там, где теперь целинные земли.

— То степной район, а у нас горный. Места роскошные, рериховские, похоже на Швейцарию.

— В Швейцарии не сподобился, — говорю.

— И я не бывал, но у нас лучше, там железные дороги отравляют воздух, а у нас здесь живописность, чистота, первозданность. Белуха, Катунь, грибы, ягоды...

— Когда ж я все эти чудеса увижу? — спрашиваю.

— Еще несколько дней, вас, кстати, там кто-то ждет из родственников.

— А в чем задержка? — мне даже жарко стало от радости, а тут и солнце рвануло в окно. — Или у вас конвой раз в десять дней? — настаиваю я, все понять хочу, когда и как они меня отправят...

— А мы вас самолетом — «ЯК-40» годится?

— Я из Барнаула на нем прилетел. В наручниках.

— По режиму положено: самолетом — только в наручниках. Но ведь лучше, чем в вагонзаке триста километров по горным дорогам?

— Да мне все равно, — говорю, — мне бы до места, тем более, говорите, там кто-то ждет.

— Еще несколько дней, — говорит, — тут, понимаете, один момент...

— Что еще? — спрашиваю.

- Вы где в Москве жили?
- На Пушкинской площади, в центре.
- Да, хорошее место, бывал в Москве, полгода жил на переподготовке. Здесь у нас, как говорится, дома пониже и асфальт пожиже. С жильем сложности, не то что в Москве.
- Там тоже непросто, — говорю.
- У нас, — говорит, — вообще нет жилья. Вы где думаете жить?
- А я не думал, — говорю, — сниму что-нибудь, мне подошлют деньги.
- Нет, — говорит, — вам снимать по режиму не положено, мы вам сами должны предоставить, а у нас нет.
- Что ж, в тюрьме оставаться? У меня, правда, если по режиму, день тюрьмы идет за три — посижу, быстрее выйду.
- За два, — говорит.
- Сколько ж мне тут еще досиживать?.. — такая тоска меня взяла... — Я читал приговор, знаю: когда на ссылку, день тюрьмы, этапа засчитывается за три дня, так что если подсчитать...
- Нет, — говорит, — в тюрьме вас держать тоже не положено.
- Какой же выход? — я снова перестал хоть что-то понимать.
- Есть выход, — говорит. — Если вы напишете письмо председателю облисполкома, попросите у него жилье, а мы, со своей стороны, вашу просьбу поддержим, думаю, он прислушается.
- По моему заявлению, так просто?
- С нашей поддержкой, — уточнил он.
- Давайте бумагу, конечно, напишу. В Москве годами ждут, чего-чего не пишут... А мне что писать?
- Председателю исполкома областного совета, от такого-то... Написали?.. Прошу выделить квартиру...
- Как — квартиру? — спрашиваю. — Мне и комнаты достаточно, квартиру я до конца срока буду ждать.
- Нет, — говорит, — квартиру. Что ж вы один будете жить — может, к вам кто приедет?
- И он даст мне квартиру? — у меня даже в голове зазвенело.
- Само собой, — говорит, — у нас, правда, квартиры не как в Москве, похуже, но жить можно... Итак, пишите. Прошу выделить мне квартиру на время отбытия на-

казания... Написали?... Дальше. Обязуюсь во время отбывания наказания в виде ссылки не нарушать закона и не совершать противоправных действий...

Я положил ручку.

— Как... «обязуюсь»?

— Вы же не собираетесь совершать противоправные действия?

— Не собираюсь, — говорю, — я их никогда и не совершал, вы же знаете, мое дело у вас, я и на суде не признал себя виновным, я никогда...

— При чем тут суд, — говорит, — это совсем другое, формальность. Вам надо где-то жить, а жилья у нас нет, а чтоб его выделили, нужно наше ходатайство, а чтоб было ходатайство, я должен быть спокойным, не кто-то там, а я несу ответственность за все, что у нас происходит, и за вас в том числе. Ну, по своей линии, разумеется.

— Но это же юридический абсурд, — говорю я, — у меня приговор: пять лет ссылки, виновным я себя не признал — какие еще обязательства? Я никогда не нарушал закона, а формула, которую вы мне предлагаете, косвенно утверждает: не буду нарушать закон, значит, когда-то нарушал...

— Ну что мы с вами торгуемся, — говорит он, — пусть и юридический абсурд, а мне надо быть спокойным и уверенным. У нас бюрократия, а для вас пустая формальность, зачем вы на ней настаиваете и сами крючкотворствуете?

— У меня день идет за три, — говорю, — даже если бы и за два, могу подождать, пока...

— Что «пока», — говорит, — у нас медленно строят.

— Я год сидел в тюрьме и не участвовал в следствии, — говорю, — не отвечал на вопросы, не признал себя виновным, я никогда не нарушал закон, это вы его нарушили, когда меня посадили, а теперь я должен написать...

— Вот и хорошо, — говорит он, закуривает, — не нарушали и не будете нарушать, а зачем вам сейчас сидеть в тюрьме, хоть и день за два — я ж сказал, вас ждут...

А ведь верно, думаю, а не пошли бы вы все со своими софизмами, я-то знаю *кто* меня ждет, а у него отпуск кончается, дни считает... Не могу я больше в тюрьме!

— Что писать? — спрашиваю.

У него глаза блеснули.

— Пишите. Обязуюсь во время отбытия наказания в виде ссылки не нарушать закона... Написали? Подпись и число.

Он тянет у меня из рук бумагу, читает, складывает, что-то отрезает от нее и прячет в стол.

— Вот и хорошо, — и голос другой, веселый...

Вот когда я испугался по-настоящему — когда услышал его веселый голос: первый раз меня так употребили, за десять минут сделал из меня дурака, вся моя тюрьма, двенадцать месяцев следствия, восемь пересылок — все ухнуло в... Да что б он со мной сделал — у меня, и верно, по приговору день этапа идет за три, а в тюрьме держать меня не положено...

— Возьмите сигареты, — говорит, — я знаю, у вас и в камере нет...

Он встает: здоровенный мужик, такому на медведя ходить, доволен, профессионально употребил, ничего не скажешь.

Вызывает конвойного.

— Дня через два, — говорит, — мы вас отправим.

Конвойный спустил меня по лестнице, остановил.

— Стой здесь, сейчас за тобой придут.

Я стою у окна, бессмысленно гляжу во двор — напротив тюрьма.

И вот тут — я очень четко это помню: первый раз в жизни прошла сквозь меня та мысль, и я даже не испугался — она была жесткой и точной, не пустые слова. Я повторил ее вслух: «А ведь так кончают самоубийством...».

И любитель рогатого скота меня добил, когда я вернулся в камеру и все ему рассказал. Сплоховал ты, говорит, сделал он тебя, на что мне надо, чтоб ты скорей ушел, но они бы все равно никуда не делись — квартира им нужна, как же, так ли так, жить будешь в бараке, они б тебя еще через неделю отправили, ну, не самолетом, так воронком...

А может, поделом, подумал я тогда, чтоб не хвастался, очень уж просто кончились для меня эти полтора года тюрьмы?.. Да, чтоб не хвастался.

Я не знаю, что делать, сказал я, у меня нет выбора, выхода — понимаешь?.. Я думаю, думаю, у меня игровая голова, но... Нет, не получается. Так что — прости меня. Ты о чем? — спросила она. Неловко говорить высокопарно-

ти, сказал я, но... Я могу только умереть или... Или отказаться от... Глупости, сказала она, помереть ты не можешь, это Бог решает: что ты говоришь — опомнись?! Но разве ты способен убить... любовь?

Я уже поминал ссылку — в самом начале, когда только-только задумался о музее, когда вспомнился тот — краеведческий, с бивнями мамонта и клыками моржа. Да, ссылка — особый разговор, и тяготы ее особые, прежде всего потому, что неожиданны, нежданны, особенно после бесконечных месяцев тюрьмы, когда уже понимаешь — навсегда, никогда ты отсюда не уйдешь, так и будут добавлять и добавлять к твоему сроку — срок новый, а потом еще и еще. После этапа чуть ли не через всю страну, в Сибирь с заездом на Север, после столыпинских клеток, собак и наручников... А тут — свобода, да такая, что ты и не видел, не знал: горы, горы — и верно, Швейцария! — реки, оглушающая тишина, воздух, как пузыри в стакане с нарзаном... Да, вспоминал я ссылку, когда только начал размышлять о музее — и оглушающую тишину, и воздух, как пузыри... Да хоть целый день, всю ночь просиди на берегу реки, на горе — да где ты такое мог увидеть?!

И вот проходит месяц, другой, третий... И тебя уже не найти на берегу реки, на горе, лежишь на своей койке, перед окном торчит гора — летом зеленая, зимой в снегу, ночью жарит луна, днем полыхает голубое небо, туча зацепилась за макушку горы... А тебе ничего того не надо — ни воздуха, как стакан нарзана, ни обжигающей воды в горной реке, да и... Даже книга, роман, подаренный тебе, а он гудит, сам говорит в тебе — да я уже писал его, как сумасшедший! Но нужно ли его записывать — а дальше что? Писать, прятать, а потом на чьи-то плечи — кто, каким образом, как его отсюда вывезут?..

Летит день за днем, мелькают недели, быстрее, чем в тюрьме... Лежишь на койке, накурился, дым в хате, как в той самой смрадной камере, и не глядел бы никогда в окно на опостылевшую волю, и все думаешь — так ли, эдак, зачем, а что дальше...

Райотдел КГБ располагался напротив моего барака, они в любой день могли пожаловать. А куда деть роман — рукопись?.. Помнил я, помнил рассказ Солженицына о том, как в ссылке он писал на бумажках, заталкивал их в

бутылки из-под шампанского, а бутылки закапывал в огороде. Не было у меня шампанского. Как-то на горе, в лещочке я наткнулся на свалку металлолома — она уже проросла травой, а там проржавевшая труба. Вот в нее я и стал закидывать свои бумажки. Переписывал так, что и самому не разобрать, в целлофановые пакеты и через день — в трубу. Выковырять их оттуда можно было только палкой.

А что еще?.. Устраивайтесь на работу, сказали мне, как только я вышел на ссылку. А куда? Куда хотите, но по режиму положено. Я пошел в школу — у меня диплом учителя, преподавателя вуза. Нельзя с такой уголовной статьей. Пошел в библиотеку — нормальная библиотека: Толстой, разрозненный Достоевский, Горький, Кочетов, кто-то еще. Не положено: книги да еще читатели! Пошел в книжный магазин, им нужен был сторож — и там нельзя, слишком близко к книгам...

Где еще искать? А где хотите, но чтоб в ближайшие дни была работа. А как ее найти в селе?.. Через месяц меня взяли в местную гостиницу — мыть полы.

Работа не пыльная, хотя и грязновата: прихожу к шести вечера, натаскаю воды, гоняю ее туда-сюда... За два часа управлялся, а два раза в месяц зарплата, ведомость: «уборщица — имярек», расписываюсь. Правда, бутылку не всегда удавалось купить, в ту пору тяжело было с этим, если привозили — в драку, у всех и везде были одни и те же проблемы.

Гостиница — два этажа, срамное помещение с «удобствами» на задах здания. Ну, «удобства», к счастью, не моя проблема, это особая песня — наши русские, сибирские «удобства». Зимой еще полбеда, вполне, скажем, фантастическая картина со сталактитами и сталагмитами, у кого, разумеется, воображение. Но летом, весной... Я видел как-то двух иностранцев, специалистов по Рериху, пустили их при мне на горный Алтай... Как они туда заходили — на зады нашего здания, того я не видел, но когда вышли... Лица на них не было.

Но ко мне это не имело отношения. И ни к кому не имело. Это наш образ жизни. Или вернее — образ нашей жизни.

Помню, приехали актеры из Москвы, концертная бригада — *перестройка* у них в столице, свобода. Выходит вечером такой актер-актерыч, побрился, дорогая сигарета, коньяком от него пахнет — прошвырнуться

перед концертом. А я со шваброй. Поглядел на меня: «Эх, — говорит, — а еще в очках и вид вроде даже полунинтеллигентный — неужто не мог себе работенку придумать получше?..». Я поднял швабру, течет с нее: «Да я тебя сейчас схавую, сука...». Он побежал от меня по коридору.

Короче, ссылка со всеми ее прелестями. Нормально. А с восьми вечера до глубокой ночи я у приемника, мне хороший привезли из Москвы, старый мой «телефункен», память о подруге из Франции — так уж следователи ко мне приставали в тюрьме: расскажи о ней да расскажи... Но то другая история.

Глушили, само собой, но не так, как в Москве, можно было пробиться. Слушать слушаю, а ни одному слову не верю, ни нашему, ни ихнему: где им понять, что все это вранье, ничего не изменилось, не может измениться — вон *они* напротив, что ни день я их жду.

Хожу на почту, каждый день письма, посылки со всего света. Рядом со мной жил районный прокурор, здоровались мы с ним, о том, о сем, он поджидал меня у почты, марочки собирал: французские, английские, австралийские... А в письмах одно и то же: перестройка, еще месяц-другой — и ты дома... Да что вам понять, какой месяц-другой — навсегда, как бы дальше не потащили!

Нет, ни одному ихнему слову я не верил, особенно зимой 86—87-го, когда началось «помилование» и политзеки посыпались из лагерей — да что ему, зеку, если он гниет в лагере и уж точно там навсегда, да подавитесь любой бумагой — подпишу!.. Людей не сломали на следствии, на этапах, в лагерях, а тут их добивали этими паскудными заявлениями, сбивали с толку, провоцировали, отмазывали ГБ от их собственной за все это вины, от их бесконечных преступлений и пакости. Перестройка им, а КГБ снова в белых штанах... Я-то в ссылке, мне легко было, я пишу письма — сколько хочу, и получаю — сколько угодно, я слушаю радио, пью водку под приличную закуску, могу звонить по телефону хоть в Москву..

Они и меня потащили, сначала в районную прокуратуру к моему приятелю-филателисту, а потом самолетом в область. Вот когда мне представился случай еще разок встретиться с моим полковником ГБ. Вы же однажды написали заявление о том, что не будете нарушать закон, сказал он мне, а рядом сидел прокурор области, сейчас

это ваш *последний шанс*, не напишете, никогда отсюда не уйдете... Вы меня, говорю, один раз сделали, как дурачка, на живца взяли, квартиру сочинили, так думаете, я и сейчас захочу той же ценой уйти из своего барака? Да подавитесь своим *шансом* — больше никогда никаких заявлений... Научили, спасибо! (Обратно, разумеется, самолета не было, отправили автобусом — триста километров по заснеженным перевалам...).

А из Москвы пишут и пишут друзья-приятели: еще день, еще чуть-чуть...

И вот как-то вечером врубаю свой приемник: поет Окуджава, как соловей, и не какое-то «Би-Би-Си»-«Свобода» — наша станция, репортаж из Ленинграда: «Возьмемся за руки, друзья!..». Кричат, аплодируют, кто-то другой ту же самую песню своим голосом, потом ту же — хором (видно, взялись за руки)... Ну, думаю, если сейчас скажут, что посвящена она мне, тогда...

Но ведь действительно моя песня, Булат посвятил ее мне в 69–70-м году, когда я написал «Опыт биографии» — все тот же самый «Опыт»! Булат был из первых читателей, позвонил и говорит: «Я тебе песню посвятил, там строчки из твоей книги...» — «Споешь?» — спрашиваю. Он прочитал по телефону. «А где же песня?» — говорю. — «Да будет, будет тебе песня...». А потом, на каждом концерте, предваряя исполнение, говорил: «Посвящается...». А я хвастливо оборачивался и ловил взгляды девушек.

Но шли годы — где они, те друзья, которые однажды взялись за руки, чтоб не пропасть поодиночке?.. Одни уехали, другие померли, третьи почему-то перестали держаться за руки — просто их разжали. А песня жила во мне и со мной. Моя песня.

Сажу у приемника, слушаю. Жду. Что-то еще поют, другое, а потом чей-то лихой голос: «Мы посоветовались, обсудили, проголосовали: теперь эта песня — «Возьмемся за руки, друзья!», наш гимн, гимн КСП...». А как же я, думаю. Вот суки, думаю, я — тут, они — там, у них перестройка... Что ж никто про меня — забыли?.. Много о чем я тогда думал, и все было не слишком печатно.

Я надел телогрейку, шапку, мороз стоял уже неделю, снега навалило выше крыш. До почты минут двадцать. Меня колотило от злости. Ужо тебе, думал я.

Адрес Окуджавы мне был хорошо известен, они с Ольгой присылали роскошные посылки: сигареты, чай,

консервы, колбасу. И Ольга писала на ящике обратный адрес: «Москва, Божественный переулок...» Божественный, как же, думал я, шагая в темноте по тропинке между сугробами, — *Безбожный переулок*. Божественный он им... Телеграмма сложилась сразу, я ее четко увидел на телеграфном бланке: «Москва, Безбожный... Окуджаве...».

Возьмемся за руки, думал я, шагая по тропинке, кто же интересно и с кем у них там берется за руки?..

Текст я сочинил такой — строка из другого поэта: «*Спасибо вам, я греюсь у костра*». И подпись.

Минут пятнадцать, пока шел, я так и эдак раскручивал телеграмму. И только когда подошел к почте — остановился. Что я делаю? — подумал я. Что я знаю о моем товарище и о том, что у него и как, и какое у меня право... Я люблю его, зачем же... Я повернулся и двинулся обратно.

Булат встречал меня в аэропорту, спустя полгода, после того как однажды меня вызвали в милицию, вручили паспорт и сказали, чтоб ехал куда хочу: «Хоть в Москву, хоть в Париж, хоть в Иерусалим...». Опять что-то подписывать? — спросил я с тоской. Ничего не надо, — сказал начальник, — уезжайте поскорей, чтоб вас тут не было...

Я рассказал Булату о неотправленной телеграмме. Ты что, сказал он, я сам узнал об этом спустя сколько-то дней, меня тогда не было в Ленинграде, они мне и слова не сказали. Я больше не исполняю эту песню, хотя и жалко.

Я бывал потом на его концертах, он отвечал на записки с просьбой об исполнении: «Это гимн КСП, и я не имею к нему отношения».

Грустно, почти двадцать лет я прожил с этой песней...

Старый московский особняк в переулке, открыла мне дверь служительница, я сказал, что договорился, и пошел в открытую дверь, сам не зная куда. На стенах, уже в вестибюле, — картины, начало какой-то экспозиции, я ничего не понял, прошел коридорчик к подножию деревянной лестницы и стал подниматься по скрипучим ступеням. Три марша.

Да вспомнил я, вспомнил! Жил тут когда-то знаменитый московский художник, коллекционер, после революции его «уплотнили», устроили коммуналку, а ему одну-две комнатки со всеми его картинами-коллекциями. Как же он

поднимался по этой лестнице, вроде что-то было у него с ногой, во всяком случае, ходил с палкой, а может, и не поднимался, потому как никогда не спускался, сидел себе... Тут и я, пожалуй, спущусь только стрезва, спьяну едва ли...

Наверху слышались голоса, смех, потом чей-то горячий голос: «Глупость, глупость все это, отмазка, ровным счетом ничего не выйдет, не получится, какой идиот даст нам на это...». Веселый тенор отозвался: «Сначала ты ему дай, а потом, может, и нам что-то перепадет...»

На этих словах я вошел, и они уставились на меня.

Это была большая комната, на стенах вкривь и вкось огромные фотографии знаменитых поэтов, афиши, под ними письменные столы, заваленные бумагами, книгами, у одной стены диванчик, перед ним круглый стол под клеенкой... Лохматая в очках пила чай, посреди комнаты дама в алом платье с большим разрезом, подчеркивающим и отчасти открывающим ее пышные формы, сильно намазанная, с дымящейся сигаретой, в кресле малый в расстегнутой до пупа рубашке...

— Здравствуйте, — сказал я, — мне бы...

— Да вы заходите, — сказал малый и чему-то засмеялся, — а я знаю, к кому вы пришли.

— А как вы догадались? — спросил я.

— Тут и догадываться нечего, — продолжал улыбаться малый, — ее все ищут.

— Кто-то находит? — спросил я.

— Кому-то удастся, — сказала дама в алом платье, лицо у нее все время менялось: сначала казалось, она на всех заранее обижена, даже я в чем-то перед ней виноват, потом что-то в ней щелкнуло, и она заулыбалась полными яркими губами. — Кому-то удастся, — повторила она, — хотя ни у кого ничего хорошего не получается.

— Я и вас знаю, — сказал малый, встал с кресла и протянул руку, — Кирилл.

— Хотите чаю?.. — спросила лохматая. — А может, кофе?.. У нас, правда, небольшое совещание, но мы...

Над диванчиком был прикреплён лист ватмана, а на нем черным фломастером: «Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина».

— Очень патриотично, — сказал я, прочитав надпись, — а кто автор?

— Старшеклассник из Пензы, — сказал малый, — никто из писателей не додумался бы.

— Поразительное чувство языка, — сказал я, — несомненно, врожденное, такому не научишь.

— Кстати, — сказала дама в алом платье, сейчас она говорила со мной как с давним знакомцем, — вы нам должны помочь. Можете прямо сейчас позвонить Солженицыну?.. Или на худой конец — Наталье Дмитриевне?

— Зачем? — удивился я.

— Мы готовим выставку — «Когда русская проза пошла в лагерь».

— Пошла и не вернулась, — подхватил малый, — он один только и вернулся, но с нами явно не хочет иметь дела.

— Тогда он едва ли и меня услышит, — сказал я.

— Так вам чай или кофе? — спросила лохматая.

— Спасибо, — сказал я, — не буду мешать. Позвоните Войновичу, он легко откликается на такие темы.

— Между прочим, если подумать... А ведь очень неплохая мысль? — сказала дама в алом платье. — Подумайте! В конце концов какая разница, куда она пошла, проза, я имею в виду — на восток или на запад?

— Никакой, — сказал малый, — не говоря уже о том, что земля круглая, и Солженицын, кстати, это и доказал — его отправили на запад, а он вернулся с востока. К тому же запад привлекательней: там много денег и они более зеленые... — малый засмеялся собственному остроумию.

— Шутка, — продолжил он, — наш гость, кстати, дело говорит. Подумайте сами: лагерная тема всем давно надоела, обрыдла, а если мы начнем нашу экспозицию, скажем, с «Метрополя», в котором Войновича, в свое время, отравили, а потом он въедет в музей на белой лошади — помните его картину? А дальше представим уже не «Метрополь», а «Метрoполь» — Ерофеева и Попова...

— Очень современно, — сказала лохматая, — и Аксенов, и Гладилин, и Алешковский, и Горенштейн с Мамлеевым, и Коржавин с этим самым, как его, позабыла... Вот это набор! Верно, всем надоели вышки, вертухаи и прочая якобы экзотика. Хватит. А тут весело и оригинально.

— Современное шоу, а наш дизайнер тут такое накрутит! — радовался малый. — Представьте, посреди нашего большого зала — огромный глобус, вращается с востока на запад и с запада на восток, на нем портреты героев, а он весь опутан — да не колочей проволокой, верно, скуч-

но! — авиалиниями, автотрассами, а по ним перемещается современная проза: червяки совокупаются с жуками, мужики с мужиками, а бабы...

— А как же название выставки, — прервала его дама в алом платье, — нам его уже утвердили — «Когда русская проза пошла...».

— Там тоже свои лагеря, — жестко сказала лохматая, — хлеб чужой горек, а они себя сохранили и нас спасли... Нет, это замечательная мысль, если мы ее разработаем и наш дизайнер включится — вы представляете, какой будет лом на вернисаже!

Про меня они явно забыли.

— Простите, что мешаю, — напомнил я о себе, — мне было очень интересно, никогда не случалось бывать за кулисами музея.

— Вы же не к нам пришли, — облизнула яркие губы дама в алом платье, — и не за кулисы вы стремились. Для вас личное выше общественного. Я сразу вас раскусила.

— Перестань, — сказал малый, — это его идея, мы бы ни за что не додумались — вот что такое свежий взгляд дилетанта! Я вас осчастливорю за вами подаренную идею. Только не выдавайте. Спуститесь по лестнице, обратно к выходу, направо еще одна лестница — в подвал. Там вы ее найдете. У нашего художника-оформителя. Они якобы работают. Только меня не выдавайте, — повторил он.

— Вы делаете страшную ошибку, — сказала дама в алом платье и посмотрела на меня с сожалением, — может быть, самую роковую в своей жизни.

— Мне все равно, — сказал я, — я ее уже сделал — эту ошибку.

— Я вас предупредила, — сказала дама в алом платье и снова на кого-то обиделась. — Вот, кстати, к нашему разговору о свободе и к чему она ведет.

— То не свобода, а своеволие, — уточнил малый.

— Может быть, — упрямо сказала дама в алом платье, — но у меня совесть будет чистой — предупредила.

— Еще раз спасибо, — сказал я, — разрабатывайте идею. Вы мне тоже помогли, в смысле, так сказать, методологии. У меня, видите ли, свой собственный музей, и я хотел бы понять...

— Тогда в подвал, — сказал малый, — там вам быстро объяснят.

Я повернулся, в темноте нащупал перила и стал спускаться. Наверху молчали. Я уже был на последней ступеньке, когда услышал голос Кирилла. Потом все они громко засмеялись, кто-то даже взвизгнул. Наверно, дама в алом платье с дымящейся сигаретой.

Я повернул направо, коридорчик — здесь, видно, и начнется новая экспозиция: белая лошадь, жуки с червяками, вращающийся глобус с портретами...

Лестница вела в подвал, все здесь было завалено ящиками, досками, старыми коробками, банками из-под краски — ремонт...

И тут я услышал *ее* голос: свежий, чистый, звонкий... «Господи, да ведь я люблю *ее*!» — подумал я.

«Понимаете, я так обрадовалась, то самое, настоящее, ради чего можно ото всего отказаться, а потому, если мне не помешают, если не станут вязаться, если...».

Я шагнул в открытую дверь: окно под самым потолком, темновато, комнатуха завалена холстами, подрамниками, пахнет клеем...

— Как ты меня нашел?! — она встала, волосы вспыхнули светлым облаком, глаз я не видел, но знал, знал, *как* у нее сейчас глаза.

— У меня интуиция, ты подаешь сигналы, а я на них...

— Ура — пришел!.. Познакомьтесь, Дмитрий Михайлыч, это...

— Да знает он меня...

Где-то я его и правда видел: клочкастая борода, носатый, рваный свитер...

— Не узнаешь?

— Конечно, — сказал я, — только не сообразить...

— А ведь всего двадцать лет прошло. Или двадцать пять?.. Помнишь у... Умер он, тот, у которого. Ты пришел тогда с... И этот умер. Все померли, что ли?

— Все, — сказал я, — только мы с тобой задержались.

Конечно, я его хорошо знал!

— Ничего, не расстраивайся, мы тоже скоро за ними. Садись. Для тебя у нас осталось, немного, правда, не надо опаздывать, а нам, значит, хватит, — он выдвинул ящик, достал мутную стопку и обтер грязной тряпкой. Вылил из бутылки в стопку. — Пришел бы на полчаса раньше, у нас сегодня некоторое событие...

— Интуиция все-таки подвела. Расхвастался. Хорошая у вас работа. А что за событие?.. Да я сейчас сбегаю, где у вас тут...

— Ты что?.. Ты мой дорогой гость, я так рада, что вы знакомы, если бы не Дмитрий Михалыч... Сегодня десять лет как я сюда пришла, как мы с Дмитрием Михалычем...

— Давай, давай, — сказал Дмитрий Михалыч, — молодым бегать, а старикам вспоминать...

Она поцеловала меня в губы и выскочила в дверь.

— Здорово, — сказал бородатый, — ты меня правда не узнал?

— В голову не пришло, что ты можешь здесь быть, да и темновато... Хорошее место, ничего не скажешь.

Он открыл шкапчик, покопался и вытащил пузырек с желтоватой жидкостью.

— Пока то да се, а это, считай, коньяк.

Мы выпили. Едва ли это был коньяк, но и не тормозная жидкость.

— А ведь верно, все померли, — сказал он. — Одни померли, а другие... Других нет. Правильно, что пришел.

— А что вы тут обсуждаете? — спросил я. — Я сейчас был наверху, они такое несут, я думал — шутка, а выходит, серьезно?

— Дело не в том... — сказал он. — Разве в этом дело?

Бутылку они, конечно, до меня усидели, он-то, надо думать, больше, хотя и она что-то уж слишком лихая...

Он снова полез в шкапчик.

— Знал, что есть! — и налил из другого пузырька.

Эта была похуже, может, та самая тормозная жидкость.

— Сложная у вас жизнь, ничего не понять, — сказал я.

— Конечно, сложная, надо дожить до второй бутылки — а как?

— Стало быть, ты тут всегда и работал?

— Всегда не всегда, но давно. Помню, когда мне привезли твой архив...

— Какой архив?

— Пять чемоданов и еще сумка была здоровенная.

— Это когда ж было?

— Когда тебя посадили, по всему городу тогда таскали твои чемоданы, а у меня этого хлама, сам видишь.

— А я и не знал — надо же!

— Зачем тебе знать, главное — сохранили.

— Прости, что из-за моего хлама...

— А мне какое дело — хлам или что стоящее? Мое дело было сохранить.

— Прости ради Бога, — сказал я, — я тут совсем ни при чем, я и правда не знал...

— Куда ж она делась — что-то долго?.. Да... Ты бы пришел к нам на вернисаж, сразу бы понял: какой ни лом — все к ней, маленькая такая, а у нее с каждым свой разговор, свои отношения... Все к ней, одним словом, она их всех...

— Что «к ней», — спросил я, — и что «всех»?

— Разве поймешь такую барышню, я, другой раз, смо-
трю — и поражаюсь. А десять лет назад, когда пришла по-
сле института — птичка серенькая, всех боялась, ничего
не смыслила или не решалась... Помнишь в нашем детст-
ве — зоомагазин на Кузнецком?

— Еще бы, — сказал я, — птички, рыбки...

— Возьмешь такую махонькую, прыгает в клетке, а
весной...

— Свобода им нужна, — сказал я. — Мы их всех меч-
тали выпустить, забраться, думали, ночью и...

— Всех не по соплям, — сказал он, — хотя бы одну... А
нужна ли ей свобода — канарейке, я имею в виду? А если ее
ворона склюет или еще кто? А где она пить-есть найдет —
избалована, да и тяжело в нашем, прости меня, климате?

— Что ж ей в клетке сидеть?

— А ты Господь Бог, что за нее решаешь? Откуда ты
знаешь, что ей лучше?.. Дура она, конечно, но...

— Стало быть, не выпускать?

— Если ты ее когда обидишь, — сказал он вдруг и по-
смотрел на меня из-под лохматых бровей, — я тебя...

Каблучки прогремели по коридору, звякнула, покати-
лась банка, она ворвалась в комнату, пакеты на стол, кни-
ги, бумаги полетели на пол...

— Очередь, как на грех, но я сейчас быстро...

— Она немедленно уронила на пол толстый том худо-
жественного журнала, — сказал я, — и в большой комна-
те сразу стало мало места...

— А аромат воздуха и духов? — продолжила она, выга-
скивая из сумки бутылку и свертки. — А где ты видишь
целующихся голубков?

— Только двух стариков, — сказал Дмитрий Михалыч.

— Стало быть, прошли времена Паоло и Франчес-
ки? — спросил я.

— Да уж для нас с тобой, разумеется, — сказал Дмитрий Михалыч.

Она присела к столу, уронила руки на колени и посмотрела на меня теми самыми глазами.

— Я бежала сюда и думала — ну как хорошо, что я тебя однажды... Что ты вернулся, что сегодня вы встретились, а мне и в голову не приходило, что вы знакомы...

— У нас город маленький, — сказал Дмитрий Михалыч, — все друг друга знают. Как в деревне.

— Понимаешь, книги остались, — она не спускала с меня глаз, — вернулись! А Дмитрий Михалыч — погляди, погляди на его руки! Он их переплетал, эти самые книги, рукописи, этими самыми руками, папиросные листы, прятал — сохранил! Рукописи и горят и не горят, понимаешь? Как Бог захочет. Он захотел — они остались, сохранились. И вот мы встретились, и сейчас мы вместе... Понимаешь, вместе!.. Вот она, та самая живая жизнь музея, где всякий документ или страничка, где каждая судьба... А все остальное, от чего кто-то там начинает тащиться — пошлость и стыд. А я тебя люблю, — сказала она, — с каждым днем все... А сегодня, когда ты встретился с Дмитрием Михалычем...

— Давай бутылку, — сказал Дмитрий Михалыч, — а то я сейчас заплачу.

Я не уверен, что верно выстраиваю экспозицию моего музея. Не профессионал. А сейчас, говорят, время профессионалов. Все тех же самых «профессионалов». Других у нас вроде бы и нет. Скучно.

Наверно, был год 92-й. Или 93-й. Все тот же Кузнецкий мост. Еще перестроечный, без роскошных сегодняшних магазинов. Даже ностальгический зоомагазин доживал свое.

Все та же дверь (или рядом, соседняя?).

Сколько же прошло лет? Значит так: я пришел сюда впервые спустя десять лет после ареста отца, стало быть, в 1946-м, еще ничего не зная о его судьбе, и мне сказали, что он умер неведомо где по неведомой причине. В государственном учреждении сказали, после месяца проверки.

Спустя еще десять лет, в 1956-м, отца посмертно реабилитировали и выдали на сей раз вполне официальную справку о его смерти неведомо где и по неведомой причине. В августе 1941 года. Даже число было — 29 августа.

(А мама все ждала, не верила — и так до последнего своего часа, еще пятнадцать лет спустя.)

В 1960 и в 1963 годах я переиздал в издательстве Академии наук книги отца: «Марат», т. 1* и «Дантон». Как и положено, читал корректуру и верстку.

«Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них...» — цитировал отец Сен-Жюста. «Великий народ революции подобен металлу, кипящему в горниле, — цитировал он Дантона. — Статуя свободы еще не отлита. Металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с печью — вы все погибнете в пламени...»

Что означала в его время (тридцатые годы) эта мрачная риторика вождей французской революции? Понимал ли отец — что происходит?.. Думаю, он был глубоким историком, человеком, несомненно, одаренным и чутким. Во всяком случае, не мог не догадываться. Впрочем, это видно и внимательному читателю его книг.

Прошло еще три с половиной десятилетия. Несколько лет как я вернулся из ссылки, где-то жил, телефона у меня не было. Однажды забежала подружка и принесла свежую «Вечернюю Москву». «Расстрельные списки»: отца расстреляли 8 марта 37-го года. Вот когда на самом деле кончились *«десять лет без права переписки»*. Мне лгали почти шесть десятилетий. Вполне официально лгали.

И вот я снова на Кузнецком, в маленькой душной комнатенке, уставленной столами впритык друг к другу. Но времена другие: «Не дают приличного помещения, извините», — сказал встретивший меня «сотрудник» в штатском. (А что там — в огромных зданиях по соседству — в тех *помещениях?*..)

Человек десять — пятнадцать сидели за столами, читали, сморкались, закрывали-открывали глаза, что-то выписывали... Я читал целый день, пока наше время не

* Второй том "Марата", огромная рукопись, листов сорок печатных (он работал над этой книгой десять лет, в том числе в хранилищах Лондона и Парижа), ушла вместе с ним на Лубянку; каким-то невероятным чудом ему удалось вернуть книгу матери ("Представляешь, чем он за это заплатил?.." — вздыхала мама). Она взяла ее с собой в ссылку, в Архангельск (а куда было деть в то время такую рукопись — кому отдать?), и ее забрали при аресте мамы. (Прежде чем достать рукопись из бельевой корзины, мама долго объясняла следователю значение книги и демонстрировала печати НКВД на титульном листе: "Она у них была в Москве и ее вернули". — "У нас ничего не пропадает", — сказал следователь. Мне было десять лет, и я помню, как он это сказал). В 56-м, после реабилитации отца, я написал в Архангельск и приложил копию протокола обыска. Мне ответили: "За давностью времени не сохранилась".

кончилось, не выходил курить, ничего не выписывал. А потом долго плутал по переулкам, в каком-то подъезде выпил из горла полбутылки водки. Дома допил остаток.

Еще через день, придя в себя, пришел снова и составил опись документов.

Я был потрясен. Собственно, в прочитанном для меня не было ничего принципиально нового и неожиданного. Я знал факты и обстоятельства, что-то рассказывала мама, что-то я узнавал в течение жизни, даже, помнится, писал об отце...

Конечно, я знал об отце с самого начала. Мне было восемь лет, когда его арестовали, и, несмотря на то что от меня пытались скрыть произошедшее, очень скоро оно мне открылось. Просто в газетах. Осенью 36-го шел процесс Каменева — Зиновьева, из услышанных дома разговоров, мне не предназначенных, я понял, где могу найти нечто важное. Долго возил пальцем по газете, пока не наткнулся на собственную фамилию. А потом прочитал все, что было написано вокруг. Так я узнал (из ответов «врагов народа» Радека и Тер-Ваганяна прокурору Вышинскому), что Фридланд был руководителем террористических организаций в Москве, и, покончив в Ленинграде с Кировым, они занялись подготовкой следующих акций, а именно убийства Сталина, Кагановича, Ворошилова и еще кого-то. Сделать это им, как известно, не удалось, все оказались на Лубянке.

Отец получил за «террор» «десять лет без права переписки», нас с мамой отправили в ссылку в Архангельск, там маму в конце 37-го арестовали как «жену изменника родины».

Я запомнил слова мамы о Тер-Ваганяне: он был удивительно чистым и мужественным — железным человеком, что надо было с ним сделать, чтоб он говорил *такое?!* — повторяла мама и рассказывала поражающую мое воображение историю. Она встретила Тер-Ваганяна на Лубянке. Она пришла к следователю, очевидно, не вовремя, или тот не рассчитал свое время, одним словом, произошла накладка. В тот момент, когда она подходила к кабинету следователя, открылась дверь и появился Тер-Ваганян. Ничего более жуткого она в своей жизни не видела. Он не узнал ее, он вообще ничего не узнавал — человек с лицом мертвеца, переставлявший ватные ноги. Его *внесли* в лифт...

Да, все это я давно знал. Но тут под моими руками хрустели — оживавшие, пожелтевшие листы, я видел почерк отца, казалось, слышу его...

На самом деле все было очень просто, так сказать, классика. Семь первых допросов в июне 36-го — полное отрицание вины, голос еще свободного человека. Да, знал того-то и того-то; да, критиковал статью Сталина об «историческом фронте», ибо она давала возможность расправы с неудобными историками; да, как человек несдержанный, возможно, говорил об этом резко, порой «в циничной форме» (матом, что ли — о Сталине?). Никогда не был организационно связан с троцкистами, ни с какими контрреволюционными организациями, ни с какими организациями террористическими. Категорически отрицаю, наглая ложь...

Дальше пошли сотни страниц допросов свидетелей (имена, хорошо мне известные по детству, по книгам): Фридлянд состоял в правотроцкистском блоке; был одним из руководителей террористических организаций; крайне озлоблен против руководства партии, человек решительных действий, с большой силой воли, умением подчинять людей своему влиянию; принимал непосредственное участие в подготовке и проведении терактов (Киров, Сталин, Каганович, Ворошилов...)...

Еще два месяца на Лубянке. Ни одного допроса. Полная тишина. Что там происходило? Едва ли летние каникулы.

Наконец, в конце августа еще два допроса. Полный слом, признание во всем, в самых невероятных, фантастических преступлениях.

В том же августе Вышинский добивался у Тер-Ваганяна (судя по его допросам) признания в том, что он давал Фридлянду прямые директивы о «террористической работе». Тер-Ваганян признал, что у него был разговор о Фридлянде с Каменевым, тот намеревался привлечь Фридлянда к сотрудничеству, но были сомнения и он хотел, чтобы Тер-Ваганян их развеял. Тер-Ваганян сказал Каменеву, что знает Фридлянда много лет, что он талантливый историк, человек необычайно общительный, у него множество друзей, он знает всех и все обо всех, дружба и дружеское общение — его принцип. То есть я дал понять Каменеву, — говорил Тер-Ваганян, — что Фридлянд не из тех людей, с кем можно вести «интимный разговор». Значит, у вас был с

Фридяндом разговор об организации террора? — спросил Вышинский. С Фридяндом — на эти темы? Помилуйте! — ответил Тер-Ваганян. Значит, вы давали Фридянду прямые директивы о терроре? — настаивал Вышинский. Ну, если из того, что я вам говорю, вы делаете такие выводы, то я признаю, — ответил Тер-Ваганян.

Но на очной ставке и Фридянд, и Тер-Ваганян уже признают, что оба участвовали в «террористической работе». Спорят только о деталях, о том, когда их сотрудничество началось, и о том, принимал ли Фридянд участие в организации убийства Кирова. Тер-Ваганян утверждает, что о Кирове он с Фридяндом не говорил, а тот настаивает, что речь шла и о Кирове. На следующем допросе Тер-Ваганян подтверждает, что давал Фридянду указания о создании террористических организаций, но о Кирове не давал, а «если он ссылается на меня, то делал это самостоятельно»...

Дальше опять глухота: осень, зима...

3 марта 37-го — обвинительное заключение, подписанное Вышинским. Дело передается Военной Коллегии Верховного Суда. Принято к производству.

7 марта — судебное заседание: три человека, председатель Ульрих. Без свидетелей, без адвоката, без прокурора.

Зачитывается обвинительное заключение. Подсудимый полностью изобличен, признает свою вину — и в убийстве Кирова, и в подготовке убийства Сталина, Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе...

Последнее слово. Подсудимый не просит снисхождения, ему не должно быть пощады, ничего в свое оправдание сказать не может, ничего смягчающего свою вину не видит, жить с клеймом изменника, предателя и террориста не хочет.

Время процесса — 25 минут.

Приговор — высшая мера. Приговор окончательный, не подлежит обжалованию, будет приведен в исполнение незамедлительно.

Очень «профессионально». Чистый Оруэлл.

И еще один документ. В деле его, разумеется, не было. Сейчас он в *моем музее* — быть может, из самых ценных его экспонатов.

Где я его увидел? Хороший вопрос. Не знаю. Не помню. Забыл. Приснилось. Сочинил — я ведь сочинитель. Жизнь учила именно так отвечать на такие вопросы.

Но у меня, кроме того, свой опыт, и жизнь учила меня иначе. *Я не отвечаю на вопросы*, не участвую в следствии. Исходя из моего собственного опыта — это самый оптимальный ответ. Хотя кто-то, быть может, скажет, что он и не слишком профессионален.

Итак, документ. «Совершенно секретно. Отп. 1 экз. Коменданту Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР. Капитану тов. ... Немедленно приведите в исполнение приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 7-го марта 1937 года в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — РАССТРЕЛУ...». А дальше список — от 1 до 26. В их числе — отец. Фамилия, имя, отчество... Подписан список Председателем Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Каждую фамилию окружают три жирные галочки — красные и синие. Перед номером в списке, после номера, после фамилии, имени, отчества. Что это значит? Можно предположить: первая галочка, когда выводят из камеры, вторая — приводят к месту расстрела, третья — спускают курок.

На обороте документа — «Акт»: приговор «в отношении приговоренных к расстрелу поименованных на обороте сего двадцати шести человек приведен в исполнение 8 марта комендантом Военной Коллегии в моем присутствии в гор. Москве в 1 час, 15 мин.». Подпись: пом. прокурора Союза ССР. Приговор привел в исполнение: комендант военной коллегии. Подпись. Корявый карандаш: на выщербленной стене расписывался *исполнитель*.

Вот теперь все. Профессионально?

Этого не может быть на самом деле, что-то другое — сон?.. Но он так прозрачен, хрупок и... так четок? На грани яви, или явь на грани...

Дом сооружается из прутиков, палочек, не дом, а шалаш, не шалаш, а геометрическая фигура, абстракция, условность, никак не понять ее назначение и смысл, но дом необходимо построить, нужно сложить, а я не умею, никогда ничего подобного не... Я беру прутик, палочку, ставлю ее в паз, в гнездо, прислоняю одну к другой, еще одну к еще другой, следующую к следующей, и они постепенно складываются в нечто, напоминающее геометрическую фигуру, шалаш, дом. Одна палочка поддерживает другую, один прутик — другой. Но они то и дело падают, их никак не укрепить, чтоб поставить новую, или

еще раз поднять и поставить только что упавшую, нужно на какое-то мгновение обернуться и взять прутик, палочку, но в это самое мгновение предыдущая, только что перед тем поставленная, укрепленная, падает, я ставлю снова, падает другая, я опять ставлю, она снова падает, а потом какое-то неловкое движение или чье-то дыхание, дуновение, и все сооружение с легким шелестом рассыпается, и я начинаю сначала, с первого прутика, с первой палочки, а потом снова и опять.

Я пытаюсь ставить палочки быстрее, быть может, дело в ритме, в умении его выбрать, подчинить ему все свои движения, и тогда все это однообразие, объединившись в какой-то пока неведомой мне гармонии, сольется в нечто целостное, единое, что никак не постичь... Но никак не удастся выбрать нужный ритм, а может быть, я уже давно выбрал его, но не могу за ним поспеть, и тут меня охватывает ужас, я понимаю, что у меня не получится, нет, ни за что не получится, я не смогу, мне не сложить, есть какая-то хитрость, а я ее не знаю, не способен сообразить, мне не хватает ловкости, сноровки, мне никогда не хватало ловкости, потому что не было сноровки, в свое время меня не научили или учили, но я позабыл, занимался чем-то другим, а теперь ничего не выходит, учиться поздно, ничего не выйдет, и хотя, быть может, это вообще невозможно, никому — невозможно, никто не сможет, но про других я не знаю, не в состоянии сейчас думать о других, а мне это нужно, необходимо, я знаю твердо, что должен сложить дом, шалаш, геометрическую фигуру, понимаю, что иначе случится непоправимое — в случае, если я не сложу, если мне не удастся, если у меня не получится, если я не успею, если у меня не хватит времени...

И я беру прутик за прутиком, палочку за палочкой, все быстрее, быстрее, ускоряя и ускоряя ритм, за которым не могу поспеть, и пока наклоняюсь за следующим прутиком, предыдущий падает, я поворачиваюсь за палочкой, а за спиной падает та, что я только что поставил, я пытаюсь ускорить свои движения — и все сооружение с легким шелестом оседает, и я начинаю сначала, снова и опять, ставлю все быстрее, быстрее, быстрее, но все быстрее и быстрее, быстрее за моей спиной падают прутики и палочки, которые я только что так ловко и быстро поставил, и я понимаю, что больше не могу, не смогу, не выдержу мной же выбранный ритм, но уже не могу остано-

виться, ставлю и ставлю, в полном отчаянии, в какой-то механической безнадежности — ставлю, ставлю, ставлю, ставлю, ста...

Я открываю глаза: звонок?.. Я хватаю трубку — гудок.

Так был звонок или его не было?.. Это *ее* звонок вытаскивал меня *оттуда* — или мне и это примстилось?

Вообще-то это не моя история — Зои Крахмальниковой, и хотя тому двадцать два года, я ее часто вспоминаю, почему-то, зачем-то она мне очень важна. А здесь она в самую точку, я и начал свое открытие музея, вспомнив Домбровского, быть может, в свое время прочтя «Хранителя древностей», я впервые осмысленно стал размышлять о Музее. О своем, в том числе.

Дело было в декабре 77-го, за полгода до смерти Домбровского. Зоя шла от Сретенки, переходила Костянский и увидела Домбровского. Было часов девять утра, только развиднелось. Он шел посреди мостовой: пальто расстегнуто, шапку он держал в руке и, казалось, сам с собой разговаривает.

Зоя его окликнула. Он был в тяжелом состоянии: все было скверно — и у него и кругом, мир катился неведомо куда, жизнь надломилась, а он любил женщину, говорил об этом высоко и трагично, он боялся за жену — она больна, молода и беспомощна; роман невозможно напечатать, он работал над ним больше десяти лет, а если его издадут в Париже, что́ будет здесь — и с ним, и с романом; страна начинает сползать туда, откуда ему чудом удалось выбраться после двух десятилетий лагерей...

Домбровский был человеком скорее радостным, чем трагичным, во всяком случае, ироничным, да и просто веселым, но когда заводился, уже было не понять, где правда, а где он выдумывает и сочиняет по ходу развития сюжета. А тут зябко, темно, грязь, да и не случайно он оказался на улице ни свет ни заря, наверно, накануне или всю ночь...

Зоя слушала его минут десять, а его пафос становился все круче: «Или я погибну, или Кларка не выдержит, но тут то самое скрещенье...». Юра, прервала его Зоя, чем я могу тебе помочь? — она всегда была решительным человеком.

Домбровский замолчал, будто ударился в стену, и впервые посмотрел на нее. Она рассказывала, что он, мо-

жет быть, только тут и узнал ее. Потом отбросил с лица черный клоч волос, глаза просветлели. Надо было давно его остановить.

«Старуха, — сказал Домбровский, — дай тридцать копеек...»

Они стояли на углу Костянского, один квартал до Садовой, а там, налево, знаменитый пивной бар против Склифосовского. Куда еще идти в такую рань?

Домбровский был, конечно, очень хорошим — превосходным писателем. Но он был *гениальным человеком*. Прошло больше двадцати лет после его смерти, а я бесконечно с ним разговариваю, он мне не просто нужен, он всегда со мной.

Спасибо, Юра... *Дай тридцать копеек!*

До встречи.

ЧИЖИК-ПЫЖИК

За окном всю ночь гремело, сверкало, а под утро пошел совсем безнадежный, прямо осенний дождь.

Я раздернул шторы.

«Первый раз в жизни я ночью не дома...» — сказала она...

Нет, все-таки следует начать чуть раньше...

Она позвонила вечером, я только пришел домой, угодил под ливень, надо было переодеться...

Я не сразу вспомнил — кто и зачем. Очевидно, мы говорили долго, во всяком случае, я успел высохнуть.

А что, собственно, мне было вспоминать? Вечер, выставка, вернисаж, друзья-приятели, много водки, мало закуски... Да, как же! Глаза — как внезапно открывшаяся дверь... Куда?

— Хотите, я сейчас приеду? — спросила она.

Я посмотрел в окно: было темно, лил дождь.

— А вы далеко?

— Неважно. Где вы живете?

Я объяснил.

— Хорошо, — сказала она, — через час возле вашего метро.

Честно сказать, я ничего не понял, но через час стоял возле своего метро.

Дождь лил стеной, еще летний, веселый, но рванул ветер, и полетели желтые листья...

Все это мне совершенно ненужно, думал я. Но больше всего боялся ее не узнать. Прошлый раз сверкали люстры, происходящее ни к чему не обязывало, а тут темень, мокрая уставшая толпа и...

— Какой звонкий дождь!.. — услышал я. — Но я не опоздала, верно?

Вроде, даже ничего, подумал я, могло быть хуже...

Мы забежали в магазин и пришли ко мне, вымокшие до нитки, грязные и продрогшие.

— Выбирайте, — сказал я, — во всяком случае, эти рубашки сухие.

Очень странная была ночь. И неожиданная. Такой у меня никогда не было.

Да, за окном сверкало, гремело, а под утро полил безнадёжный осенний дождь.

Мне никогда не вспомнить, о чем мы говорили, но говорили всю ночь, перебивая друг друга, и наши истории — удивительное дело! — были чем-то похожи, хотя мои начались на тридцать пять лет раньше.

Я раздернул шторы: что-то рано начиналась осень.

— Первый раз в жизни я ночью не дома, — сказала она. Это я запомнил. И еще то, что она добавила: — Я понимаю, ты мне не веришь. Но это чистая правда.

Я ей поверил.

С тех пор мы не расставались... То есть что значит — не расставались? Она приходила чуть свет, ежедневно, кроме субботы-воскресенья — пустые дни! Я только успевал продрать глаза и побриться. Редко удавалось выпить заварочки.

Нет, не приходила — врывалась. Дверь я заранее открывал, а то не услышу звонка за утренними хлопотами. Она появлялась, и дом наполнялся утренней свежестью, морозным воздухом, солнцем, тонким запахом духов... Да, именно так: она роняла со стуком сумку, вытаскивала бутылку «лимонной», что-то говорила, присаживалась к столу, закуривала...

— Сколько у тебя сегодня времени? — спрашивал я.

— Сорок четыре минуты, — говорила она, — сегодня перед работой мне надо успеть туда-то, а если не успею — будет ужас, а потом... Понимаешь?

Я понимал, тоже закуривал и открывал бутылку.

Есть она не хотела, барышни редко едят утром — они вообще не едят. Ну, не ест и не надо — ее дело, тем более часы отстукивали минуту за минутой. Я не настаивал. Но однажды совершил оплошность, и она имела для меня катастрофические последствия. Накануне пришли друзья, засиделись допоздна, пили-ели, и осталось множество всякой еды. Так на столе и стояла.

Она присела и, пока мы курили и обсуждали случившееся накануне, опустошала тарелку за тарелкой. «Ой, прости, я не заметила и, кажется, все съела...»

Кто ж это сказал, что барышни не едят по утрам? Не помню, но, пожалуй, он поторопился с обобщением...

В тот раз мне стало даже жарко — стыдно, когда уличают в откровенном эгоизме, а я за собой его не знал. Человек пришел рано — явно торопился ко мне, не успел выпить чаю-кофе, — а я думаю только о себе и о том, что сорок четыре минуты — не срок. Не срок, конечно. Но ведь кроме моих соображений есть, как говорится, и другая сторона? А другая сторона хочет есть. Я все перепутал, на самом деле, это я не ем по утрам, давно перестал, впрочем, с какого-то времени забывал и обедать, все равно вечером чем-то закусишь, так день и пройдет — надоело, скучно. Но ведь это мне надоело и скучно, речь-то о ней, а она, наверно, еще растет...

Я стал готовить. Кулинария моя была примитивной: яичница с помидорами, жареная картошка, мог предложить изыск — чечевицу с салом. Но ведь даже если и еще упростить: возьмешь, скажем, кусок мяса... Нет, те же самые сорок четыре минуты! Его отбить надо, мясо, да и не подашь просто так — не пыльщику, надо и эстетику соблюдать: порезать огурец, хорошо бы травки — а как иначе? Отбить, жарить, подать... Да и прожевать следует, не проглотит же она разом... «Ой, как вкусно!..» — обычно говорила она и закуривала.

Я стал вставать в семь утра. Тоже не просто, если ляжешь неизвестно когда и как. Вставал — и к плите. К тому моменту, когда она появлялась и наполняла комнату утренней свежестью, она, эта свежесть, уже не могла перебить запах лука и горящего масла.

«Ура! — говорила она. — Сегодня, я вижу, у нас...»

Полчаса я отвоевывал, не много, конечно, а больше никак не выжмешь. Вот тогда и родилась мысль о необходимости радикальной победы над временем. Тоже, кстати, битва, обреченная на поражение. Как его победить — время? Но оно должно было принадлежать мне — все время должно было быть моим. И прежде всего — ночь. Я никак не мог забыть той первой ночи...

Я придумывал один вариант за другим, пытался осуществить то и это. Не получалось. Вмешивались некие посторонние силы, неожиданные обстоятельства — и все срывалось. Помнится, был один замечательный и совершенно реальный вариант, над ним я работал серьезно, но и он неожиданно и странно накрылся.

Тогда-то и влетела мне в голову мысль о неслучайности всех этих неудач. То есть на самом деле понимание воз-

никло значительно позже, уже после того, как все произошло, раньше я был настолько захвачен идеей о необходимости победы над временем, что ни о чем постороннем и думать не мог. Я хотел, как уже было сказано — одолеть время, мне грезилась ночь, время должно было быть моим. Должно?.. Нет, я не думал о том — а есть ли у меня право?..

Вот где была зарыта та самая кошмарная собака: в том, что я не хотел, был не в состоянии осознать *предупреждение*.

И только потом, после случившегося, возвращаясь к странности моего тогдашнего помрачения, я вспомнил Библию. Историю с Валаамовой ослицей. Вот где была разгадка.

Я вспомнил, как и по какому поводу обратил на эту историю особо пристальное внимание. То есть я давно ее знал, она, как мне всегда казалось, совершенно ясна, а потому всматриваться в ее глубину мне в голову не приходило. Но однажды я получил письмо от давней моей приятельницы, она в ту пору была неофиткой и вгрызалась в Библию с особым рвением. Я отбывал ссылку, времени достаточно, стал подробно с этим письмом разбираться.

Корреспондентка моя, благочестиво начав изучение священного текста, сразу же, как она писала, обратила внимание на многочисленные противоречия, тем не менее, мужественно продолжала продвигаться, но, добравшись до четвертой Книги Моисея — Числа, остановилась на истории с Валаамом — и Книгу закрыла. Понимаешь, писала она, несомненно, все дело в погрешностях перевода, мне и в голову не приходит усомниться в самом тексте — ты не подумай! Откуда эти темные, неграмотные монахи — или кто когда-то все это переводил, могли знать арамейский? Конечно, они переводили с греческого, но и его толком не знали — не было тогда хорошего образования, в университетах они не учились и переводили как Бог на душу положит исходя из собственных понятий. Во всяком случае, я решила подождать, пока за это дело возьмется наша современная школа перевода, ты же знаешь, какие у нас сегодня переводчики?.. Дальше шли имена ее приятелей-переводчиков, прославившихся переводами современных американских и французских романов. Пусть они, эти переводчики, сегодня не знают арамейско-греческого, писала она, им ничего не стоит подучить-

ся, главное — современная методика и школа. А то, что я вижу в синодальном переводе, противоречит даже элементарной логике. Тут она и привела пример с этой самой ослицей. Пример вопиющего, с ее точки зрения, противоречия.

Я напомню эту историю, она того стоит, а для меня — ну, когда я начал разбираться со случившимся, имела особое значение.

История такая. Было это в пору, когда евреи уже вышли из Египта, шли по Месопотамии, прокладывая себе дорогу мечом и чем придется. Всех побеждали и продвигались к Земле обетованной. Никто противостоять им, разумеется, не мог, потому как Бог всегда был рядом: Он их вывел, Он их вел, и они были Ему любезны. Как с ними справиться? Так дошли они до земли моавитян, остановились на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона. И, натурально, моавитяне и царь их Валак весьма устрашили: что делать с народом, который поядает все вокруг, как вол траву полевую? Валак отправил послов к Валааму, который проживал где-то на реке Евфрате, был человек знаменитый своими связями с Господом и волхвованием. Приди, сказали послы Валааму, прокляни народ сей, иначе нам с ними не справиться, а мы знаем, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь — проклят. Послы пришли, разумеется, не с пустыми руками: и в те древние времена бесплатно ничего не делалось. Что ж, сказал Валаам, подождите ночь, я спрошу Господа, и как Он мне скажет, так и будет, без Него не могу. Господь сказал Валааму очень четко: не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен.

Валаам наутро послам отрапортовал: идите обратно, Господь мне идти с вами не позволил.

Послы вернулись, сообщили о неудаче своего посольства — а что было делать Валаку, он-то понимал, что без Божьей помощи никак не справиться с этим кошмарным народом. Валак отправил новых послов, на сей раз более знаменитых и, несомненно, с более дорогими приношениями.

Известно, за бутылку ты, скажем, делать ничего не станешь и легко откажешься, хотя, быть может, что-то у тебя и дрогнет. А за сто долларов, а за тысячу — а если за миллион? Страшно подумать. Да отмолю я свой грех мздоимства, добрыми делами расплачусь! Или как-то еще:

трудно сказать, чем взятополучатель себя уговаривает, мне не приходилось — какому дураку могло придти в голову предложить мне хоть когда взятку — пусть и бутылку? Так что легко говорить и высказывать осуждение.

Итак, второе, более представительное посольство прибыло к Валааму и снова предложило ему отправиться с ними, пообещав все, чего он ни попросит. Валаам ответил очень мудро — думаю, чем крупней мздоимец, тем он умней и искусней. Хотя бы Валак дал мне полный дом серебра и золота, сказал Валаам — видите, на что намекнул! — я и тогда не смогу переступить Божье повеление... «Впрочем...» — добавил он, — замечательное библейское «впрочем»! Впрочем, останьтесь у меня на ночь, я еще раз спрошу — поглядим, что Он мне на сей раз скажет.

Пока что, думаю я по своей немощи, это поразительный перевод — по тонкости понимания человеческого.

Итак, Валаам снова обратился к Богу, забыв или не желая помнить, что только что Его о том же самом спрашивал. И Господь ответил: «Встань, пойди с ними...».

Ну а дальше известно: Валаам оседлал свою ослицу и отправился к Валаку — «и воспылил гнев Божий за то, что он пошел, и поставил Он Ангела на дороге, чтоб воспрепятствовать ему». Ослица, увидев Ангела с мечом, свернула раз, другой, третий, Валаам стал бить ее, ослица в конце концов легла под ним, а Валаам продолжал бить ее палкой, Господь отверз ей уста, и она сказала: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня...». И вот тогда Господь открыл глаза Валааму, он увидел Ангела с мечом и пал на лице свое. «Если бы ослица, увидев Меня, трижды не своротила, Я бы убил тебя, а ее оставил живою...» — сказал Господь.

Вот место, на котором моя корреспондентка рухнула окончательно и закрыла «так скверно переведенную Книгу». Господь же сказал Валааму — иди, — писала она мне, — а когда он пошел, поставил на его дороге Ангела с обнаженным мечом — почему, за что? Явная ошибка и противоречие.

Но разве Господь не сказал Валааму: не ходи, ибо Я благословил народ сей? Зачем Валаам полез к Нему с тем же самым вопросом второй раз? Мало было предупреждения?.. Зачем? А что если Господь передумает и позволит, цена уж слишком высока и заманчива — целый дом серебра и золота! Как отказаться — а вдруг? Тогда Господь ска-

зал: иди. Если несмотря на Мой запрет, все равно хочешь, что ж, ты свободен. Я дал тебе свободу, которая для тебя всего лишь соблазн и проклятие — иди, делай по-своему. Господь даже ослице отверз уста, чтоб еще раз дать Валааму последнюю возможность одуматься. И только тогда открыл ему Ангела с мечом.

Ну а дальше, как вы помните, Господь использовал Валаама для Своих целей. И тот проклял Валака и благословил избранный народ.

Вот история — и нет в синодальном переводе, разумеется, никаких противоречий.

Но Валаам был, скажем так, продвинутым волхвом, а я всего лишь простой и одержимый страстями человек. Где уж мне было понять смысл предлагаемых одного за другим предупреждений: я жаждал награды, она дразнила мое воображение еще с той первой ночи... Разве я мог хоть что-то понимать и копать так глубоко — я должен был победить время. Все время должно было быть моим. Разве я мог выбраться из такого помрачения, если и Валааму для того потребовалось услышать голос несчастной ослицы?..

2

На сей раз посольство было значительно более представительным, а дары и вовсе — оглушительны. Валак расщедрился. Хотя и не понять — чего ему от меня надо? Какой во мне прок? Но кто на самом деле знает — сколько стоит душа человеческая и как она оценивается сегодня на рынке...

Разбудил меня телефонный звонок. Голос был незнакомый, звонкий и деловой.

— Да, это я... — было рано, и я, пожалуй, еще спал.

— Вас беспокоит Санкт-Петербург, вы, быть может, в курсе, что в рамках международного писательского конгресса мы проводим его вторую часть у нас в Питере...

— Я не в курсе, — сказал я.

— Да?.. Ну так вот: вторая часть, в отличие от московской, где планируется только вселенская тусовка, выпивка и закуска, предполагает серьезную деловую встречу на тему...

— Вы ошибаетесь, — сказал я, почему-то решив обидеться за земляков, — выпивка и закуска не мешают и

нам решать серьезные проблемы, да они и вообще, думается мне, не помеха, я имею в виду...

— Да мы тоже от этого как бы и не отказываемся, — в свою очередь стал оправдываться Санкт-Петербург, — но, тем не менее, у нас намечен вполне конкретный разговор с участием в том числе московских, а также заграничных коллег.

— О чем все-таки речь? — зачем-то счел нужным спросить я, скорей, впрочем, из вежливости, чем из интереса.

— Тема дискуссии — «Писатель и власть».

— Очень оригинально, — сказал я, припоминая бесчисленные якобы дискуссии на эту вечную и никому не нужную тему.

— Нет, погодите, — заторопился Санкт-Петербург, — речь пойдет об участии или неучастии писателя во власти, в общественной жизни, в становлении демократии... Или вы сидите в башне и вам на все плевать, или принимаете на себя... Говоря более коротко: мы хотим вас пригласить, и если вы согласны, я перезвоню через неделю уточнить название вашего доклада. Нам нужно для программы и билета.

— Понимаете... — начал я тянуть и отмазываться, — у меня вполне срочная работа, а тут еще наш московский конгресс, к которому вы явно несправедливы, но как бы то ни было, хотя бы только выпивка и закуска, но время-то они в любом случае займут...

Да не люблю я ездить, всегда отказываюсь, даже не понять, как удалось столько передвигаться — от Риги и Калининграда до Владивостока. Были, бывали, чаще чрезвычайные и от меня не зависящие обстоятельства — не я ехал, а меня везли, но чтоб самому, по первому слову... Собираться, ломать привычный уклад, где-то там с кем-то о чем-то...

— Нет, вы все-таки подумайте, не отказывайтесь сразу, — зачем-то настаивал неведомый мне голос, — мы, разумеется, обеспечим вас гостиницей, всем необходимым для проживания и, само собой, билетами в оба конца...

— Гостиницей?... — переспросил я: в глазах у меня что-то сверкнуло и грянул гром. Именно так: сверкнуло и загрохотало.

Только тут я окончательно проснулся.

— Ну а как же? Я, правда, еще не знаю, — как бы все

оправдывался Санкт-Петербург, — о каком конкретно отеле идет речь, но планируем что-нибудь в центре и вообще...

Да, конечно, это было то самое «посольство» и те самые «дары». Но тогда я еще ничего не знал об этом, я уже говорил, что только спустя время раскрутил произошедшее и понял смысл случившегося...

— А большой доклад? — спросил я и услышал в собственном голосе явную и неожиданную мне самому заинтересованность, чуть ли не заискивание.

— Да нет, минут на пятнадцать — двадцать, и, разумеется, будет синхронный перевод.

— На каком же языке я должен говорить?.. — значит, никуда не еду, подумал я, и почему-то очень огорчился.

У меня однажды уже была такая история. Мне позвонил товарищ из Канады, наш недавний эмигрант, и предложил прочитать курс в каком-то ихнем университете: какой хочешь и о чем угодно. Я решил, что это Божий перст — тоже грянул гром и сверкнуло. В ту пору жить мне было негде, я скитался по мастерским знакомых художников безо всякой видимой перспективы — а тут Канада! Полгода буду кувыркаться в Великих озерах, в Ниагаре, а потом на заработанные большие доллары сниму комнатку в московском центре — в любом районе!.. Приятель перезвонил через день, когда я уже успел изучить карту Северной Америки, и сообщил, что все отменяется, ибо читать курс следовало исключительно на их языке. А я никакого канадского языка не знаю — тем более там их, кажется, два.

— Ну что вы, это вас будут синхронно переводить, — успокоил меня любезный Санкт-Петербург. — Итак, я вам звоню через неделю, а вы тем временем...

— Видите ли в чем дело, — нагло сказал я, потому что терять мне было совершенно нечего, а просто ехать из-за какого-то синхронного доклада я, разумеется, не хотел, — у меня обстоятельства, боюсь, для вас непреодолимые...

— Что такое? — участливо спросил Санкт-Петербург.

— Я никуда не могу ездить без жены, — сказал я твердо, — хоть и на конференцию в Питер, у нас с ней...

— Так в чем проблема? — рассмеялся Санкт-Петербург с каким-то непонятным мне облегчением, — хорошо, вы сразу предупредили, двухместных номеров будет мало,

я знаю это по предыдущему опыту, а сейчас я вам сразу такой двойной бронирую. Договорились?

— Пожалуй... — сказал я в некотором ошарашенности и зачем-то посмотрел на часы: до конференции в Питере оставалось не так уж много времени — месяц, а дел невпроворот, надо было все очень четко продумать и решить, слишком хорошо помнил я свои предыдущие неудачи.

Нет, конечно, не думал я тогда о *дарах* — ни о чем постороннем я вообще не думал. Я представил себе город на Неве — сразу вообразил, бывал там два-три раза в жизни по каким-то случайностям. Но если честно, не город я себе тогда представил и вообразил, даже не отель в его центре. У меня в руке позванивал ключ от номера, я открываю... Нет — *закрываю* дверь, за окном *белые ночи*...

Погоди, остановил я себя, какой отель, дверь, раньше будет поезд... Конечно, поезд — «стрела», «СВ». Вот с чего надо было начинать.

Я отправился в Пен-клуб.

Скажем так: в те дни это было не самое удачное место для решения личных проблем. Пен-клуб готовился к международному конгрессу — впервые в России! У них, как и у меня, оставался месяц — паника и истерика... Кто это сказал, что человек — животное общественное? Не помню, но я, видимо, из других, хотя вполне сочувствовал моим коллегам, даже, быть может, сострадал, но где-то глубоко, скорей, на подсознательном уровне. Во всяком случае, озабочен я был совсем не тем.

Я поднялся по шаткой лестнице, открыл дверь и сразу увидел одного из самых ответственных за все это эпохальное мероприятие — человека горячего, открытого, порой непредсказуемого, чаще всего ироничного и самоотверженного. Поэт, бывший футболист, он резво бежал по коридору, а навстречу трещали звонки сразу нескольких аппаратов.

— Здорово, — сказал я и придержал его за рукав, что было, разумеется, нарушением футбольных правил и можно было схлопотать желтую карточку, — с кем бы тут у вас поговорить насчет билетов в Питер?

— Ты с печки свалился?.. — с изумлением сказал он. — А совесть у тебя есть? Какие билеты, не видишь, что происходит?

— А что происходит?

— Товарищи, друзья, коллеги... — он был возмущен до крайности. — Тебе, видишь ли, нужны билеты, а у нас...

— Да что у вас стряслось?

— Ты можешь себе представить, сколько проблем, да каждые полчаса?! Десять минут назад, — только что, мне звонят, и выясняется, что... Даже не знаю, как тебе объяснить, чтоб ты понял, ты ж ко всему равнодушен... Предположим, выясняется, что, скажем, Фолкнер не приедет — понимаешь? Не может, не хочет, дела у него, он, видишь ли, романы пишет, а мы рассчитывали, нам нужен хотя бы один Нобелевский или чтоб...

— Пока все нормально, — сказал я, — что тут удивительного? У Фолкнера вполне уважительная причина, ты мог бы и сам догадаться, что он не приедет. Замените его, ну... хотя бы на Миллера.

— Какого Миллера?

— Генри, — сказал я, — Фолкнер старомоден, его никто уже давно не читает, а на Генри Миллера или Чарльза Буковски вся Москва сбежится. Это Витя Ерофеев думает — открыл тему, но мы-то с тобой знаем, кому здесь принадлежит первенство...

— Хорошо живешь, — сказал он, — время есть на шуточки, ты правда не понимаешь, в какой мы кошмарной ситуации?

— Не понимаю, это ведь ты сказал про Фолкнера?

— Я сказал для примера, чтоб не размазывать — ты же понял, о чем речь? Нам нужны звезды — понимаешь? А звездам мы не нужны — им нужны деньги, за так они ни почем не поедут. Вот, скажем, Эко...

— А ты читал Эко? — спросил я.

— Я его читать не буду, но это имя, а ему нужен не только бизнес-класс и не просто суперлюкс, но и тысячу долларов на карман — это, считай, самый минимум. А где их взять?

— Так он писатель или баней заведует в этом, как его, — в Неаполе? — сказал я. — А может, он семечками торгует на ихнем привозе в Тоскане?.. Он понимает, куда его приглашают — в нищую страну, мы только вчера с четверенек поднялись? У нас проблемы — для того и конгресс. Тысячу долларов! А где писательская солидарность? Я его тоже читать не могу.

— То-то у тебя солидарность — билетами для себя интересуешься, а не тем, как у нас и что. В Питер ему надо...

— Меня пригласили на продолжение нашего конгресса, я должен буду вытянуть ситуацию, если она тут провалится.

— Ах вон оно что? Они вытаскают, как же! Да они в ма-разме — в Питере, они только о себе думают, как и ты, впрочем. А мы должны не только всех пригласить, поить-кормить и обустроить, развлекать и решать высокие проблемы, они, видишь ли, еще хотят, чтоб мы их потом всех отправили в Питер? Мы... Ладно, кончаем базар — ты будешь помогать? Главное-то здесь, не где-то в Питере — триста человек, можешь себе представить?

— Ты же сказал, никто не хочет ехать?

— Это Фолкнер не хочет... То есть... Ну что он ко мне привязался, этот Фолкнер! Я имею в виду этого, как его?.. А эти триста с полным удовольствием. Они, знаешь, за-чем едут — все триста человек? Затем, чтобы громко, на весь мир заклеить нас, как коллаборантов, что нам плевать на права человека, что Кавказ превращен в кровавую баню, а мы тут..

Мне стало не по себе: получалось, что я тоже типа коллаборант, думаю только о своих, скажем, проблемах, и как бы за чужой счет хочю это самое...

— Что ты так уж переживаешь за других, — сказал я вразумляюще. — Мы-то с тобой не такие, и у нас у всех свобода — в нашем Пене. Свобода, а не партия? У нас с тобой есть свое отношение — к Кавказу и ко всему прочему? Есть. Вот мы его и выскажем — разве не так?

— Это уже кое-что, — сказал он и посмотрел на меня помягче. — Ты, стало быть, еще живой. В связи с этим даю тебе конкретное задание. Тут такая история: у нас неожиданно сорвалась главная развлекательная программа — посещение Большого театра, они такие деньги хотят слупить с наших иностранцев, у нас ни на что больше не останется. А зачем нам Большой? Нам он точно не нужен. Можешь его чем-нибудь заменить? Подумай — чтоб интересно, красиво, современно — настоящее гала-представление. Можешь?

— Подумаю, — сказал я, — у меня есть идея.

— Вот это другое дело, хорошо, мы вместе. Двое — уже кое-что. Пожалуй, ты прав — а не пошли бы они все!.. — он посмотрел на меня с симпатией. — Насчет билетов поговори с Клавой, только аккуратно, у нее крыша совсем поехала.

В комнате Клавы стоял сизый туман, она сидела за столом, уткнувшись носом в засыпанные пеплом бумаги, одна рука держала телефонную трубку.

— Здравия желаю, — игриво сказал я, — ты тоже страдаешь за общее дело?

— Зайди попозже, — она и головы не подняла, — или через месяц, у меня аврал, меня достали, я ни о чем постороннем не могу ни говорить, ни думать.

— А я не по постороннему, а по самому актуальному, хотя и пустяковому: мне только билеты в Питер — запиши, и я сразу исчезну.

— Обалдел?.. — она все-таки подняла голову, глаз у нее вовсе не было. — Я сейчас как раз этим занимаюсь, пытаюсь достать билеты из Сеула сюда — знаешь, где он находится? Неведомо где, на краю света. А потом надо доставать еще билеты из этого, как его... В Питер ты можешь купить на вокзале.

— Я не могу на вокзале, — сказал я, — я должен ехать вместе с теми, которых ты вывезешь из Сеула и из этого, как его. У меня особое задание. Считай, я руководитель делегации, которую мы отправим в Питер.

— Да?.. Тогда я закажу билеты под тебя — семьдесят человек берешь?

— В каком смысле — беру?

— Билет будет коллективный, на всех, но на твое имя, а потому тебе отвечать за посадку и за всякие там недоразумения. Много чего будет, не сомневайся. Я имею в виду всякие накладки и проколы: кто-то потеряется, а у кого-то уведут чемодан. Там будут корейцы, японцы, американцы, французы, англичане. Ну и другие, эти...

— Я никаких ихних языков не знаю, — сказал я.

— Тебе с проводниками разговаривать, а они только по-нашему умеют.

— А билеты будут в «СВ»? — спросил я.

— Почему в «СВ»? Только десять человек — самых-самых, для них «СВ». Остальные поедут в купе.

— Мне нужно в «СВ», — сказал я твердо.

— Не могу, — сказала она, — больше десяти мест мне не дадут, разве что кто не поедет.

— Эко не поедет, — сказал я, — и Фолкнер тоже. Эти два билета я беру.

— А зачем тебе два? — Клава впервые посмотрела на меня с каким-то человеческим выражением.

— Я еду с женой, это мое условие. Если нет, говори с ними со всеми сама — с корейцами, японцами и этими. И сама беседуй с проводниками.

— Когда ж это ты женился? — спросила Клава, глаза у нее стали осмысленными, живыми и откровенно бабьими.

— У нас типа свадебное путешествие, — сказал я, — но только три человека об этом знают: я, она, а теперь и ты. Прошу — никому, а то сглазишь.

— Я ее знаю? — спросила Клава, видимо, напрочь забыв о евро-азиатах, американцах и этих.

Женщины все-таки удивительные создания.

— Нет, — сказал я, — познакомитесь у поезда. Ты когда отдашь мне билеты?

— Сложность в том, — сказала Клава, — что это очень большие деньги — понимаешь? Иностранцы платят вдвое, а как я тебя проведу — ты ж не иностранец, по какой строке?

— Проведи как еврея, — сказал я, — а потом сочтемся. Значит, я могу быть спокойным?

— Сколько лет? — спросила Клава.

— Двадцать пять, — сказал я и, увидев мелькнувшую у нее в глазах тень, добавил: — Если точно — двадцать девять...

Потрясающий день! Только-только начался отсчет — с утра, когда меня разбудил волшебник из Санкт-Петербурга, а фарт идет и идет... У меня ведь на самом деле появилась блистательная идея — это когда он сказал, что Большой театр срывается и его необходимо заменить чем-то более замечательным. Идея простая, а потому гениальная.

Ну как она может поехать в Питер, разве дело в гостинице — то есть под каким соусом она туда поедет, зачем, какое у нее отношение к писательскому конгрессу? Явная липа. А тут?.. А тут она организует то самое мероприятие — перешибает Большой, писатели зайдутся, будет классная тусовка, а ей это ничего не стоит, ее только завести, я видел, как она работает, фонтанирует идеями: садится на стол, болтает ногами, закуривает, прищуривается... Пусть Большой плачет! А ей награда — поездка в Питер. Совершенно официально, по делу.

Мы встретились с ней в тот же день, вечером. Я понимал, что тянуть в любом случае нельзя. Каждый час дорог.

Реакция ее была, конечно же, предсказуемой, но как и всегда, ошеломительна. Да меня все в ней ошеломляло —

такое странное существо! И ведь никакого, скажем грубо, хотя бы милого, но кокетства, обычных прыжков и ужимок, всего набора — а как они порой, хочешь не хочешь, действуют на нашего брата... А здесь ничего: вполне естественная, подлинная заинтересованность. Да видел я, видел, как разговаривает она с людьми, с мужиками, так сказать, профессионалами в разной, в том числе и в этой, скажем, области: внимательно, с сочувствием, вежливо, четко — ни одного лишнего слова или движения. Но уже через пять — десять минут собеседник ее напрягался, собирался — не отлипал, а она... В глазах, что ли, было дело? Красивые глаза, ничего не скажешь, но на самом-то деле всего лишь, как уже было сказано, внимательные и заинтересованные... Чем?.. Вот в этом, пожалуй, и дело — чем они вдруг становились заинтересованными? Ну, каждый тут понимает в меру своей этой самой... Я еще тогда поразился, в первый раз — на том вернисаже...

Глаза, конечно, но тут, как бы и весь организм начинал участвовать в этом, порой совершенно необязательном ей разговоре, или скажем, действе — и собеседник остолбеневал.

Мы сидели в подвальчике, в Доме литераторов. Оставили нам единственное место из всего прежнего советского роскошества — ни ресторана, ни бара. Впрочем, и на том спасибо.

А ведь, бывало, каждый день если не начинался там, то уж заканчивался в том Доме непременно. Зачем-то было надо, хотя, если подумать... Помню, я написал Солженицыну в Вермонт, была у меня в ту пору переписка с классиком в связи с публикацией моего романа на Западе. Вы восемь лет оттянули в лагерях, написал я ему, а я восемнадцать просидел в ЦДЛе, удивительно, мол, что живым остался... Надеюсь, он понял мой нехитрый покаянный юмор и не обиделся. Поганое, конечно, было место, что говорить, но зачем-то нам важное, кто-то там сломался, а кто-то устоял — там ведь и дружба начиналась и многое еще, о чем до сих пор шемит сердце... Но то другая тема.

Да есть, существует и сегодня тот знаменитый ресторан — «Дубовый зал». Тот, да не тот, не для нашего брата литератора. На стенах огромные — как полотна Сурикова и Верещагина, растянутые-распятые шкуры диких зверей: медведи, волки, кабаны, даже почему-то — зебры...

Забегал я туда как-то, еще не зная, за ста граммами. Он мне налил у стойки. Я посмотрел на стопку. «А сколько я тебе должен?» — на всякий случай спросил, пока еще не выпил. Он назвал цену. «Чего? — говорю. — Да я четыре бутылки могу купить за эти деньги...» Теперь он поглядел на меня: у меня вид был, надо думать, очень сокрушенный. «Да пей так», — говорит. Я выпил.

Итак, сидели мы в подвальчике, выпили по сто, и я рассказал о сегодняшнем посещении Пена.

— Что думаешь? — спрашиваю. — Три дня в Питере, две ночи, а кроме того поезд — день отъезда, день приезда. Еще две ночи.

— Потрясающе, — говорит, — я знала, тебе это сразу придет в голову, как только услышала про конгресс в Питере — ты ж рассказывал по телефону?..

— Сообразительная, а я думал, у тебя мимо ушей пролетело.

— Но при чем тут Большой, — говорит, — я, вроде, не по этому делу?

— Па-де-де — не сможешь?

— В каком смысле? — говорит. — Впрочем, можно кой-что придумать...

В глазах у нее что-то такое проехало, и она как бы меня и видеть перестала. Чудо какое-то, думаю, ее только включить или завести...

— Понимаешь, — говорит, — писатели, я имею в виду настоящих талантливых людей, они обязательно и еще в чем-то...

— Ты про что? — не понял я.

— Ну хотя бы, скажем — рисунок. Вообще изобразительный ряд. Им, понимаешь, мало чисто литературного способа самовыражения, они себя и в другом ищут... Я талантливых людей имею в виду.

— А я как же? — говорю. — Выходит, я как бы, что ли, — без таланта?

— Ты себя в другом находишь, и меня это вполне устраивает.

— Тогда ладно, а то я было...

— Хорошо, — говорит, — давай телефон твоего футболиста, мы с ним договоримся.

— Зачем телефон, я тебя отведу, представлю, познакомлю... А в чем твоя идея?

— Нет, — говорит, — я сама, ты будешь только мешать.

- Ты ж его не знаешь?
- Видела я его — с усами, славный мужик, открытый и контактный. Об остальном не беспокойся.
- Так о чем все-таки речь?
- «Писатели рисуют» — понимаешь?
- Не понимаю. Да и какие писатели — кто из них рисует?
- Не обязательно живопись, — говорит, — могут быть рисунки на полях, почеркушки... Пушкин рисовал? Представляешь, какая может быть выставка Пушкина?
- Представляю, — говорю, — уже была тысячу раз. И больше.
- Вот я об этом. А у нас будет сегодняшняя литература.
- Да о ком ты говоришь — где ты нашла Пушкина?
- Вознесенский рисует, Битов рисует, Войнович рисует... Да и этот твой футболист. Я и книжку его читала, последнюю.

— Правда? — удивился я. — Что скажешь?

— Мне понравилась. Смелый человек, свободный, без комплексов. Пишет о сплошном блядстве, а такая чистота, даже наивность... Отличный малый, можно разговаривать. Короче, будет тебе выставка, почище Большого. А деньги этот футболист достанет? На помещение, оформление, развеску? Я и с галереей договорюсь — есть у меня мысль, и фуршет там может быть — хоть на сто — двести человек...

Самое поразительное, что наше «историческое сидение» в «Славянском базаре» мгновенно стало реализовываться: «футболист» дал отмашку — добро по всем пунктам, «галерея» оказалась очаровательным особнячком на Малой Дмитровке; ровно через месяц прекрасно оформленные картины наших гениев висели в двух залах и на лестнице, посетителей — толпа, не протолкнешься, фуршет по всем законам русского гостеприимства — высокая пьянка... А кроме того, тут же, для полноты действия, была предложена презентация только что вышедшей двуязычной — и на английском — книжки: «Написано в тюрьме» — от Гумилева до наших дней...

Хозяйка особняка — высокая, стройная, с оленьими глазами — выказывала полный прием, перед началом представления налила мне, как человеку, причастному к организации мероприятия, хрустальный бокал исконного

нашего напитка, я был растроган и, как мне казалось, очень красноречиво принялся посвящать ее в глубины самой прочной традиции отечественной словесности.

— Русские писатели всегда сидели в тюрьме, — говорил я, глядя в оленьи глаза моей собеседницы, — полистайте хотя бы эту книжку... Кстати, давайте перейдем на «ты», а то как бы не совсем прилично...

— Я попробую, — сказала она и удивилась.

— Хотя, понимаешь, — продолжал я, воодушевляясь, — был, был момент, когда все мы дрогнули, примстилось нам, что останется эта традиция только в документах, свидетельствах и мемуарах, будет всего лишь почтительно изучаться. Останется в музее, экспонатами для моей подружки — понимаешь, о ком я говорю?

Она кивнула.

— Но когда познакомились мы с Гришей Пасько, — не унимался я, — вон он, видишь, пьет водку с нашим футболистом и этой моей подружкой?.. Пока он еще среди нас — я Пасько имею в виду. Познакомились и поняли — нет, живая она, вечно живая традиция, никуда нам от нее не деться...

— Вот вам... то есть тебе, микрофон, — сказала хозяйка особнячка и сверкнула оленьими глазами, — объясни присутствующим, а то для иностранцев все это уж точно темный лес.

— Я не умею по-ихнему, — сказал я, — разве что ты переведешь?

— Why not, — сказала хозяйка особнячка.

— Господа коллеги! — сказал я в микрофон и звякнул хрусталем о бутылку. — С приходом к власти всенародно избранного нового президента ворота русской тюрьмы снова широко распахнулись для нашей словесности — заходите, дорогие коллеги, гостями будете!..

Нет, не Большой театр, куда ему — там всего лишь детский сад, кружок по фото...

Удивительное дело, никогда у меня такого не было: по рельсам, по рельсам — семафоры зеленые! Сами собой легко преодолевались все трудности и возникавшие осложнения — мне шел и шел фарт!

Наконец наступил день отъезда. Верней, его ночь. Или, чтоб совсем точно, — полночь. Я стоял на перроне Ленинградского вокзала. Мои коллеги прибывали груп-

нами: московские, питерские, евро-азиаты, американцы и эти. Все были в приподнятом настроении и более того — в последний день крепко расслабились. Конгресс прошел достойно, мы отстояли свою правду, хотя были, были доброжелатели, азартно ждавшие именно нашего позора. В шестидесятые годы это называлось «жаждой Иуды»: человек, не решившийся совершить поступок, требовавший, скажем, мужества, а последствия, как мы помним, бывали крутыми, ждал, что решившийся на этот поступок непременно скиснет, отступит, расколется — и тогда все станет на свои места — внутренний комфорт вернется, а сломавшегося можно и пожалеть...

Итак, полночь, Ленинградский вокзал... Нет, здесь требуется еще одна подробность, пояснение, а то весь сложный механизм интриги будет не совсем понятным. В действие вступает дама с оленьими глазами, хозяйка особнячка на Малой Дмитровке. Странное было у нее имя — Тина.

Дело в том, и на самом деле я сразу об этом подумал, что вымечтанный мной «СВ» был, конечно, ловушкой. Ну как мы туда войдем, в этот роскошный вагон, где для нас — героев конгресса, бронированы пять купе? Самые-самые из наших иностранных гостей и я с... Ее же несомненно будут провожать! Вот в чем была проблема, и на первый взгляд она казалась непреодолимой.

Впрочем, я тут же предложил ей вариант: я покупаю третий билет, но в купе, ты затеряешься среди множества пассажиров, а когда поезд тронется, перейдешь в «СВ». Очень просто. А если двери будут закрыты? — спросила она. Какие двери? Ну, между вагонами? Они не могут быть закрыты, сказал я, там ресторан и люди ходят туда-сюда, не говоря о том, что мало ли что может произойти, двери всегда должны быть открыты, хотя бы для безопасности. А ты давно ездил в поезде? — спросила она. Последний раз пятнадцать лет назад. Вот видишь, сказала она, а я и того больше, когда-то в детстве, сейчас могут быть совсем другие порядки. В том поезде, в котором я ехал пятнадцать лет назад, сказал я, двери были закрыты не только между вагонами, но и на двери «купе» два замка — один висячий, а другой английский, и их открывали два солдата, обязательно в присутствии начальника конвоя. Но то был не «СВ», а «столыпин», и не «стрела», а... Ты все-таки узнай и проверь, сказала она. Каким образом? Пойдешь на вокзал

и спросишь проводников, а то мало ли что, что ж, я целую ночь... Хорошо, пообещал я, хотя это была полная глупость, не говоря о том, что вместо третьего билета можно было бы купить десять бутылок «лимонной». Это я сразу подсчитал.

Вот тут мне и вспомнилась дама с оленьими глазами — Тина.

Мы разговаривали втроем. Ты давно была в Питере? — спросил я Тину. Ой, давно, сказала она, и это моя мечта. О чем базар, сказал я, мы заказываем тебе третий билет — в купе, ты берешь на себя семьдесят иностранцев, по-ихнему ты можешь, но сначала мы садимся с тобой в «СВ» — понимаешь? А на твое место... Поезд тронется, и вы поменяетесь. За полчаса с иностранцами ничего не стряется — справишься?.. — спросил я мою барышню. Во-первых, я не могу по-ихнему, сказала она, а во-вторых, что я буду делать, если между вагонами двери закрыты? Я узнавал, соврал я, двери всегда открыты, в крайнем случае, в Бологом поезд наверняка остановится и вы перейдете. А это где — Бологое? — спросила она. На полдороге. То есть полночи вы будете там вдвоем, а я среди семидесяти иностранцев? — глаза у нее стали не такими, как обычно, совсем другие были глаза. Разберемся, сказал я, но это хороший вариант, лучше пока нету.

Я отправился в Пен, к Клаве. На сей раз она встретила меня благожелательно и тут же бросила телефонную трубку.

Ну, что у тебя — рассказывай? — и глаза загорелись. Рутину, говорю, как и бывает в моей медовой ситуации, то одно, то другое. Но я пришел по делу: мне нужен третий билет. Ты с ума сошел? — спросила Клава. Может быть, сказал я, но иначе невозможно, все рухнет. Я пока не могу тебе всего объяснить — поверь и все. Давай договоримся: я беру на себя ответственность за самых-самых, которые в «СВ», их я обустрою, на другие вагоны, где семьдесят второстепенных, меня просто не хватит, тем более у меня ситуация, ты в курсе. За них будет отвечать Тина — для нее и третий билет в купе. А это еще кто такая? — спросила Клава. Наша благодетельница, сказал я, это она устроила выставку и презентацию, перешибла Большой. А она справится с ними? — спросила Клава. Для нее это вообще семечки, сказал я, во-первых, она может по-ихнему, а во-вторых, она профи — понимаешь?

Когда-то служила затейницей. Все будет в лучшем виде. Ручаюсь. Ну ты даешь... — задумчиво сказала Клава и загрустила.

3

Поезд мягко тронулся, я даже не сообразил, что мы уже едем.

— Что с тобой? — спросила она.

Я открыл глаза. Она сидела напротив, на диване, поджав под себя ноги, курила.

— Неужто получилось? — спросил я. — А что теперь?

Она засмеялась.

— Ура!.. — прошептал я.

— Мы же вдвоем, — смеялась она, — зачем шепчешь?

Ни-ко-го...

— Не верю, слишком просто, — я говорил вполголоса. — Так не бывает..

Дверь двинулась, вошел проводник. Молодой и полунинтеллигентный.

— Ваш завтрак, — он положил на стол два пакета.

— А ужин? — спросил я.

— Спать пора, — он посмотрел мне в глаза, моргнул и вышел.

Дверь щелкнула.

Я глядел в ее зеркальную поверхность: под фонарями мелькали, метались, появлялись и исчезали знакомые, малознакомые и совсем чужие лица, мои коллеги прибывали и прибывали, заполняя перрон, у табло громоздилась гора заграничных чемоданов... Потом я увидел Клаву: зажав в высоко поднятой руке коллективный билет, она отбивалась от Тины, пытавшейся у нее этот билет забрать... Внезапно прямо передо мной возникла моя барышня, я шагнул было к ней, но увидел рядом ковбоя с сумкой, он осматривался с брезгливым любопытством, поставил сумку и буркнул: «Я вроде лишний на этом празднике жизни...». Что-то еще сказал, я не расслышал. Потом он повернулся и исчез в темноте.

Я смотрел ему вслед с уважением и безо всякого сочувствия.

«Тина, — сказал я, пробившись сквозь толпу, — диспозиция меняется: ты ведешь всех в купе, а мы...» «Учти, — крик-

нула мне Клава, — ты отвечаешь за всех, понял — за всех! А кроме «СВ» еще три купированных, ты всех должен...»

Дальше я не слышал, мне было совершенно не интересно, что и кому я должен...

Она разворачивала пакеты.

— Ой, гляди...

На столе появилась колбаса, сыр, булочки, печенье...

— Я тоже типа как бы не фраер, — сказал я.

Пятнадцать лет назад перед этапом мне выдали на Пресне три буханки черного — из расчета полбуханки на день — и вонючий целлофан с хамсой. Но на гражданке, как я помнил, стоило поезду двинуться, все начинали стучать в лбы вареными яйцами, разворачивали жареных куриц... Десяток яиц я сварил, а курицу заменил банкой красной икры. Помидоры и огурцы из ее сумки завалили наш столик. Было очень красиво. Я вытащил бутылку.

— А как же Тина? — спросила моя барышня.

— Я дал ей полчаса на всё про всё, — сказал я, — она их раскидает и...

Мы смотрели друг на друга.

— Полчаса, полчаса, — промурлыкала она, — это мало или много?

— Мало, если впереди четыре ночи и три дня, и много, если...

— У тебя плохо с арифметикой, — сказала она, — это в любом случае мало.

Рюмок не было, мы выпили по стакану и закусили огурчиком. Яйца есть я не мог, а икру было жалко: стол накрыт — мы ждали гостя!

О чем мы говорили?.. Нет, опять не вспомнить. Но закусывали только огурцами.

— Второй час, — сказала она. — Может, двери все-таки закрыты, ты же соврал, что узнавал у проводников?.. Или она не знает номер нашего вагона. Или...

— Она очень деликатная, — сказал я, — но если ты хочешь, я ее притащу...

В какой-то момент я подумал, что в суматохе мы сели не в тот поезд: я проходил вагон за вагоном, в пустых коридорах гулял ветерок, двери плотно задвинуты — где же толпа, только что буйствовавшая на перроне?

В пустом ресторане, наклонившись друг к другу лбами, сидели два мужика. Когда я проходил мимо, один поднял голову и спросил:

— Вы случайно время не знаете?

— Знаю, — сказал я, — полвторого.

— Вот видишь, — сказал он, упершись лбом в своего собеседника, — за час мы уговорили одну бутылку. Осталось семь часов. Сколько мы их уговорим?..

Ответа я не расслышал, открывая дверь в тамбур, легко умножил оставшиеся часы на бутылки. Следующий вагон был так же пуст, я прошел еще один такой же, но тут дверь из тамбура заклинило — открыть ее мне не удалось: «Все-таки заперли...» — успел подумать я, нажал сильнее, кто-то взвизгнул, и я вломился...

Здесь стояла толпа — как два часа назад на перроне, громоздились заграничные чемоданы, слышалась разноязычная речь... «Спокойно, спокойно!.. — услышал я Тину. — Прошу всех замолчать и слушать меня, только меня...» Дальше она залепила что-то по-английски...

Я протиснулся в вагон, Тина меня увидела.

— Все дело в коллективном билете, — быстро говорила она, глаза сверкали, и я понял, что, назначив ее руководителем делегации, сделал правильный выбор, — если бы у каждого был свой билет, все было бы нормально, а тут все набились в один вагон, у одного корейца уже увели чемодан, они вшестером — корейцы — забрались в одно купе, я не могу их растащить... Я говорила Клаве, она меня не слушала...

— Я имел ее маму... — услышал я.

На поставленном торчком чемодане сидел знаменитый бородатый питерский писатель, он был совершенно пьян и, видимо, пытался осмыслить ситуацию.

— Я имел ее бабушку... — продолжал он безо всякого выражения.

— У него сексуальные фантазии, — шепнула Тина, — он не может слышать имя Клавы...

Через толпу протиснулся начальник поезда — в форме он походил на генерала.

— Граждане, господа... — вразумляюще говорил он, — у нас еще два пустых вагона, прошу не волноваться, мы всех вас сейчас...

— Уходи, — шепнула Тина, — еще полчаса, и я их раскидаю...

— Водка стынет, закуска...

— Полчаса, — шептала Тина, — и я у вас...

Когда я проходил рестораном мужики продолжали тему:

— Через год, — услышал я, — пойдет скоростной — два часа — и ты в Питере. Сколько мы успеем усидеть за два часа?

— Какой ты быстрый... — сказал второй.

Я открыл дверь в вымечтанное нами купе. Она курила и глядела в темное окно.

— Давай еще по стакану, — сказал я, — у нас снова полчаса.

Мы выпили и закусили огурцами.

Ситуация была дикая, во всяком случае, странная. Время уходило...

— Уже четвертый час, — сказала она вдруг, — там могло что-то случиться. Вообще, с нашей стороны свинство, мы ее вравили, а она тут и вовсе ни при чем. Тоже мне — друзья. А если ее там...

— Хорошо, — сказал я, — я их сейчас всех...

Что с ними делать, я, разумеется, не знал.

Пустые вагоны, пустой ресторан, те же мужики...

— А если колесо отвалится? — сказал один, когда я подошел к их столику.

— Какое колесо? — спросил второй: кто из них кто, я уже не понимал.

— Сколько, по-твоему, колес в каждом вагоне?

— Четыре. Два и два.

— Это у телеги четыре, и у лошади — ноги. А тут вагон — представляешь? Да еще скоростной! На каждой оси по четыре. А вагоны бывают трех- и четырехосные. Шестнадцать. Помножь двадцать вагонов на шестнадцать. А вагонов бывает и двадцать пять...

Пробегая следующие пустые вагоны, я пытался сосчитать: на шестнадцать умножить не получалось... В третьем вагоне я удачно умножил на десять и — остановился: «Но ведь это тот самый!...». Конечно, я хорошо помнил, что третий вагон после ресторана был набит битком, я еще не мог сразу открыть дверь из тамбура...

Вагон был пуст, двери плотно задвинуты, гулял ветерок...

Тина тогда стояла у первого купе, и у меня было ощущение, что она именно там утнездилась... Нет, она сказала, что туда влезли пятеро... Нет, шестеро корейцев... Господи, неожиданно и странно подумал я, а если они ее... съели? Я помнил — конечно, помнил! Я работал на Сахалине в газете пятьдесят лет назад, там было много корей-

цев, они ели... собак. Я хорошо помнил, как у моего приятеля сожрали пуделька. Собака, разумеется, не человек, но мало ли что и как могло измениться за полвека?.. Что-то у меня с головой, водка, бегодня по вагонам — при чем тут собаки? Здесь наши коллеги, замечательные писатели, правозащитники, интеллектуалы...

Я постучал еще раз. Ответом — мертвая тишина. Я перешел ко второму купе, потом к третьему...

Выглянул проводник.

— Вам чего?

— Я писатель, — сказал я, — руковожу всей делегацией, где тут у вас...

Он плюнул, махнул рукой и скрылся в своем купе.

Положение было безвыходное — что делать? Скорей по инерции я стукнул снова, посильней...

Внезапно дверь щелкнула, двинулась, и на пороге возникла — Тина. Она была завернута в простыню, один ее конец держала зубами, другим пыталась запахнуться. Под простыней явно ничего не было.

— Живая? — спросил я.

— Не знаю, — шепотом сказала она, — может, и живая. Но я не могу уйти, здесь французы...

— Слава Богу, — сказал я, — они европейцы и живут в культуре.

— Да?.. — удивилась Тина. — Может быть. Но они сказали, что если я уйду, они мне не откроют. Они никому не откроют, смертельно напуганы, у кого-то что-то еще улокли.

— Пошли к нам, — сказал я, правда, не очень уверенно, — как-нибудь перекантуемся.

— У меня нет сил, — сказала Тина. — Мы только что растащили их по вагонам, я валюсь с ног, давайте до завтра? Не сердись...

Край простыни она отпустила. Я угадал.

В пустом ресторане дискуссия набирала силу.

— Ты знаешь, что такое вибрация?.. — настаивал один.

Я никак не мог сосчитать, сколько они должны были уже выпить — четыре часа!

— Какая виб...рация? При чем тут...

— А при том, что при такой сумасшедшей скорости — как самолет! — вибрация становится критической — понимаешь? И хотя бы одно колесо из этих, пусть двухсотпятидесяти... Ну не довернули гайку, ну выпил пивка или

еще чего? Ты можешь представить, сколько болтов и гаек в колесах во всем составе из двадцати пяти вагонов? Попробуй сосчитать, если в каждом колесе...

Это была, конечно, уже не арифметика и даже не алгебра!

— Колесо отвалится, — услышал я, покидая ресторан, — знаешь, куда мы улетим на такой ско...

А что если они и сейчас что-то не довернули? — думал я, открывая дверь в наше купе.

— Немедленно по стакану, — сказал я.

— Через два с половиной часа вставать, — сказала она. — Ты знаешь, что такое воробьиная ночь?..

— Это другое, — сказал я, — и она у нас уже была.

Утром мы покидали в сумку наши продукты. Сумка была тяжелой. На перроне разноязычная речь, гора зарубежных чемоданов — мне показалось, их стало больше, не жалко, если и еще уведут. Погрузились в автобусы. Мои девушки увлеченно чирикали.

Пустые улицы, чужой удивительный город — граница!

Автобусы остановились у огромного стеклянного здания — что-то вроде «России».

— Пускай сначала их всех раскидают, — сказал я, — мы не станем суетиться, хватит вчерашнего — давайте по пивку...

Свобода, чужие берега, пальмы и лиловый негр... Но главное — все впереди.

Пролетел час, полтора, мы пили пиво, курили и обсуждали невероятные события минувшей ночи. «А куда, собственно, денется Тина...» — подумал я и напрягся. У нас двухместный, и она нам как бы не обязательна...

Наверное, глаза у меня стали очень выразительными, потому что моя барышня шепнула:

— Она сейчас к своей подруге — где-то на Петроградской или еще на какой-то ихней стороне. Вроде наших Черемушек... Но пока она с нами — верно? Мы же должны прогулять с ней прошлую ночь?

— Само собой, — сказал я, — мы интеллигентные люди... Ладно, пора забрать наши ключи.

У стойки все еще толпились иностранцы, очередь была, как в наше время за водкой. Я почему-то стал нервничать: всегда боишься — как раз тебе и не хватит.

Наконец добрался, отдал паспорта. Девушка была очень красивая — как стюардесса. Мой паспорт она взяла, а второй куда-то закинула.

— Двенадцатый этаж, за ключами подойдите к третьей стойке.

— Погодите, — сказал я, — но это же одноместный номер?

— Конечно, — глаза у нее были томные и одновременно наглые, — двухместных у нас нет..

«Тогда я уезжаю обратно, в Москву...» — услышал я.

Я повернулся на голос. Рядом со мной у соседней стойки стоял мой московский коллега, я видел его в ночь отъезда на перроне, он тоже садился в «СВ», но в моем списке не значился, это я хорошо помнил, и был он словно бы не один, я еще подумал пригласить его на нашу ночную пьянку, но не знал, в каком он купе, и о нем забыл.

— Я должен работать, а потому приехал с помощником, — он говорил спокойно и безо всякого нажима. — Это было моим условием. Если нет номера, я немедленно возвращаюсь в Москву..

Я не расслышал, что ему ответили.

— Отдавайте второй паспорт, — сказал я, — я еду в Париж, там у меня конференция, я предпочел вашу, но коли так, мы немедленно отправляемся в аэропорт... Из вашей провинции можно улететь в Париж?..

— Подождите полчаса, — сказала красавица за стойкой и очень обозлилась. — Сейчас начнется разъезд, мы что-нибудь придумаем...

— Спасибо, коллега, — сказал я с чувством, повернувшись к нему, — я бы ни за что не додумался.

— Да пошли они все, — сказал он, — дурака валяют.

— Давай по пиву, — сказал я.

— Нет, — сказал он, — у нас коньяк, лучше вечером, если не возражаешь...

Я не возражал. Еще полчаса мы проболтались у стойки, я уже не отходил ни на шаг. Сначала мне предложили два одноместных, от которых я гордо отказался, напомнил о Париже, и наконец выдали ключи от двухместного.

Десятый этаж. Мы шли по длинному коридору, приглядываясь к номерам.

— Вон твой приятель, — шепнула моя барышня, — мне кажется, его помощник другого пола.

— Естественно, — сказал я, — у него нормальная ориентация...

Номер как номер: две кровати, между ними тумбочка, ванна, сортир, огромное окно, производственный пейзаж...

— Старый Петроград, — сказал я, высунувшись в окно, — пахнет революцией и, отчасти, гражданской войной.

Мои девушки разлеглись на кроватях.

— Вас двое, — сказал я, — накрывайте на стол — это будет справедливо, — и вытащил из сумки бутылку.

Еще одна была запланирована на следующий день, и еще одну я оставил на дорогу обратно.

— А где продукты? — спросила моя барышня.

— В сумке, — сказал я, — вместе складывали.

— А куда ты дел сумку?

— Я... ее?

Сумки не было. Мы ползали под кроватями и заглядывали в ванну.

— Я видела, как ты вышел из вагона с двумя сумками, — сказала Тина, — одна — вот эта, висела у тебя на плече, а другая, хозяйственная...

— Потом мы сели в автобус, — продолжила моя барышня. — Почему ты ее не взял, когда мы выходили?

— А почему я должен был ее брать? Хозяйственная сумка — женское дело. Ты сама всегда говорила, что...

— Спокойно, спокойно, — сказала Тина и развела нас по углам, как на ринге. — Давайте вспомним, как... И не забудьте, что кабы не я, мы все бы еще вчера съели.

— Может, автобус еще стоит, — сказал я, — прошло всего три часа, как мы... Они же должны везти нас на открытие конгресса и зафрахтованы на все дни...

Раздался телефонный звонок.

— Не берите трубку — я сам! Наверно, нашли...

Это был мой младший брат.

— Как ты меня обнаружил?

— Ты же сообщил, что приезжаешь, а тут у меня все схвачено. Но почему такой голос — тебя у нас обижают?

— Ты где?

— Недалеко.

— Приходи. Номер ты знаешь...

— Ты правда подумал, что звонят насчет сумки? — спросила моя барышня. — Ну ты даешь...

— Питер интеллигентный город... — я уже бежал по коридору.

Автобусов не было. То есть стояли какие-то, но другие. Или — те же?

Я обратился к одному из водителей. Он отнесся сочувственно. Скорей, безразлично.

— Подойдите через час-другой, они вернуться.

Стюардессы за стойкой тоже делали вид, что очень сочувствуют.

— Крутые яйца, — говорил я, — и много другой закуски...

— Буфет на двенадцатом этаже, — сказала красавица с наглыми глазами.

В буфете на двенадцатом были только жареные пирожки. Такими торгуют у нас на Курском вокзале. Вернее, торговали всю мою сознательную жизнь.

Когда я вошел в номер, их было уже трое, и они оживленно разговаривали.

— Познакомились? — спросил я. — Учтите, он большой ученый и, как положено в Питере, — ихний суперинтеллигент.

— Москвичи всегда приезжают втроем? — спросил суперинтеллигент — мешковатый, в очках, носатый и, в отличие от меня, сильно кудрявый.

— Я должен заботиться о младшем брате, — сказал я.

— Можно выбирать? — спросил младший брат.

— Если хватит смелости, — сказал я. — Или — наглости.

— У меня свидетели, — сказал брат, — я угадал сразу. Хотя, честно сказать, удивился. Мне казалось, я тебя знаю.

— Удивился моему выбору? — спросил я.

— Скорей, твоей смелости. Или наглости.

— Пять-ноль, — сказала Тина, — в пользу младшего брата.

— Тебе уже рассказали о нашей трагедии? — спросил я. — Будем закусывать пирожками от Курского вокзала.

— Мне как блокаднику слышать это было невыносимо, — сказал брат.

— Еще бы! А еще говорят, Питер — интеллигентный город. Я лучше о вас думал. Обокрасть путешественников! Такое случается только на Гаити.

— Он по растяпству забыл сумку с продуктами, а предъявляет претензии целому городу! Хорош гусь московский, — сказал брат.

— В интеллигентном городе пропажу тут же бы вернули.

— Конечно, — сказал брат, — если бы на яйцах была выгравирована твоя фамилия и желательно, чтоб адрес.

— Тихо, братья, — сказала Тина, — переходим к культурной программе.

Она действительно профи, подумал я.

Мы выпили по стакану и закусили пирожками с Курского вокзала.

— Дорогие москвички, — сказал младший брат, — простите за назидание, но у нас в Ленинграде утром не пьют. Пускай он идет открывать свой конгресс и делает, что хочет, а я покажу вам город.

— Ты очень шустрый, — сказал я, — девушек я тебе не доверю, я за них в ответе. И открывать конгресс не стану. Веди нас...

Было, было в Питере местечко! Мы сидели тогда у широкого окна, на нас глядела Петропавловская крепость, а под нами...

— Помнишь, мы пили с тобой коньяк, — сказал я, — а над Невой летали чайки... Больше ничего в этом городе я не видел — и не надо.

— Припоминаю, — сказал брат. — Дом ученых. Я там давно не был, не знаю, как и что...

— Веди, — сказал я, — добьем бутылку и — вперед.

— Ты не пойдешь на открытие конгресса? — спросила моя барышня.

— Нет, — сказал я, — у меня завтра доклад, и я должен к нему готовиться.

— Можно я позвоню подруге, у которой останюсь? — спросила Тина. — Ничего, если она подойдет к этому Дому ученых? Его найти легко?

— В Ленинграде все знают Дом ученых, — строго сказал брат. — Или она москвичка?

Мы долго торговались: они хотели идти пешком, а я утверждал, что у нас мало времени и надо немедленно добраться до... Сторговались взять такси до Аничкова моста — там якобы рядом.

Фонтанка оказалась местом очень знаменитым, что ни дом — история и литература, причем по обе стороны. Я бежал впереди, а они охали, курили и восхищались. Все это происходило чрезвычайно медленно. В каком-то месте, обернувшись, я увидел, что они заглядывают за пара-

пет, потом брат поочередно держит их за ноги... «Уронит, интеллигент...» — я вспомнил, как однажды он уже утопил в Мойке коляску, слава Богу, без внука...

— Но сейчас я тебя заставлю посмотреть, — сказал брат, когда я подбежал. — Больше не отходи от нас и не беги...

— Ты и меня станешь держать за ноги? — спросил я.

— Я не о том, что здесь, — сказал брат, — у тебя нет никакой любознательности на редкие вещи, но вот это ты должен увидеть...

Двор Мраморного дворца, конный Александр III...

— Пожалуй, ты прав... — удивился я, — тут, верно, можно и... задержаться, — это было, на самом деле грандиозно. — Какой все-таки пошлостью кормили нас двести лет... Именно так — красивой пошлостью.

— Ты имеешь в виду Медного всадника? — спросил брат.

— Насаждали его, как картошку, — продолжал я, — какой-то Шиллер, прости, Господи, а тут...

Мощь и... Может быть, красота в... безобразии, в такой грубой и безжалостной силе? Гениальная лошадь да и сам...

— Да, тут лучше помолчать, — сказал я.

Брат торжествовал.

— Ладно, побежали дальше, — сказал я, — я помню, нам еще чуть-чуть...

Нева, ветер, на другой стороне Петропавловская крепость. Я свернул за угол...

— Я бы и без тебя нашел!

Ободранная дверь, темно...

— Но ведь я не ошибся?

— Не ошибся, но что-то тут не то...

Мы поднялись по замусоренной лестнице: пустые залы. Попался мужик.

— У нас ремонт.

— Но выпить-то можно?

— Внизу, — сказал мужик, — в подвале.

Подвал оказался комнатухой: стойка, три столика, мутные окна под потолком — никакого вида.

— Простите, — сказал брат, — я не виноват, это он, но я знаю, куда вас надо...

— Ни за что, — сказал я, — больше ни шагу, немедленно...

Нам дали теплую водку и холодные пельмени.

— А сейчас на открытии конгресса подают... — веселилась моя барышня.

— Вот мы его и откроем, — сказал я.

Мы выпили за открытие конгресса. Потом за встречу. Потом... Было очень хорошо.

— Тиночка! — услышал я за спиной. — Я все-таки нашла вас!..

Я обернулся: девушка была интеллигентной и провинциальной. Звали ее Изольдой. Брат был растроган — ленинградка на высоте, и отправился требовать подогреть пельменей.

Мы выпили за ленинградских девушек. Потом за московских. Водка была все такой же теплой, а пельмени разогрели только снаружи.

Изольда покраснела, даже глаза под очками поблескивали — водку она пила явно первый раз в жизни. Впрочем, может быть, я и ошибался, я плохо знаю ленинградок.

— Хотите, я сделаю вам замечательный подарок? — неожиданно сказала Изольда. — Я могу открыть для вас запасники Эрмитажа...

— Невероятно, — сказал брат, — я тебя недооценивал. Я-то, разумеется, бывал, но тебя, только что тут появившегося...

— Изольда — главный хранитель, — сказала Тина.

— Что ты, совсем не главный... — Изольда даже похолодела от смущения, — но для вас...

— Откуда ни шагу, — жестко сказал я, — и я вам сейчас объясню почему. Объясню очень доходчиво. Но сначала выпьем за то, что происходит за этими стенами — за Неву, за чаек и за корабли. За нечто настоящее и высокое.

— Ты понимаешь, от чего отказываешься? — брат был возмущен до крайности. — Тебе предлагают...

— Понимаю, — сказал я. — Я никогда не был в Эрмитаже. То есть был, был сто лет назад, но не двинулся дальше вестибюля, меня заставили надеть войлочные тапки, я заскучал и ушел.

— Ну и что? — сказал брат. — Всего лишь свидетельствование о тебе.

— Конечно, — сказал я. — Зачем запасник, если я не знаю музея? Это первое соображение. Второе более серьезное и имеет отношение уже не только ко мне.

— Может, все-таки пойдём?.. — посмотрела на меня моя барышня, — я даже и не мечтала...

— Итак, второе соображение, — сказал я безжалостно. — Но сначала — за настоящий музей, о котором я сейчас вам расскажу. Верней, о тех, для которых музей и его идея...

В голове у меня звенело: утром я пил пиво, в гостиничном номере водку, потом мы бежали вдоль Фонтанки, меня сильно взболтало, потом выпивали и закусывали неведомо чем... Уходить из этого подвала, за стенами которого шумела река... Ни за что!

Я старался не смотреть на главного хранителя Эрмитажа.

— Что такое Эрмитаж? — меня уже несло. — То есть в чем есть идея сего знаменитого собрания? Нет никакой идеи, просто роскошная антикварная лавка, пусть одна из самых роскошных в мире. А что еще?.. Когда-то, в XVIII веке нищие европейские художники, у которых не было денег даже на бормотуху, узнали, что есть дикая северная страна, в которой золота больше, чем снега и грязи. Они потащили туда свои шедевры — а что еще? Я не стал бы тревожить ваше гордое воображение, кабы в Москве, которую вы традиционно не любите, не было настоящего национального музея. Музея, а не лавки. Но я даже не об этом...

— Ну знаешь, брат, — сказал мой младший брат, — я всего мог от тебя ожидать в связи с твоей темнотой, но такого... Изольда, уходим отсюда!

— Сначала выслушай, — сказал я, — и еще по стакану...

Мои собутыльники молчали — я всех оскорбил.

— Понимаешь, — говорил я, — мы приехали сюда решить некую неразрешимую проблему — философическую, но, отчасти, и в историческом аспекте. Я должен победить время — понимаешь? Впрочем, не важно, почему и зачем, но — приехали. Пока решить не удавалось, но когда ты показал нам ту лошадь, а на ней императора, что-то стало проясняться... Здесь очень сложная ассоциация. Я о величии России, начало которому не у вас — а в Москве. Так вот, речь моя о настоящей русской женщине, очень традиционно — о той самой, которая и с конем, и с избой.

— Не понять только, зачем ты оскорбил Эрмитаж и его замечательную сотрудницу.. Пить, брат, надо меньше, — мой брат порывался уйти.

— Нет, ты меня выслушай, — продолжал я, мне казалось, я на конференции и участвую в дискуссии. — А что до очаровательной Изольды, то напротив: не место красит человека, а человек... Это из нашего фольклора, — уточнил я, окончательно забыв, что я все-таки не на конгрессе и они не иностранцы.

— Понимаете, — говорил я, — постичь нечто высокое и значительное проще всего в мелочи, в пылинке, а еще лучше — в человеке, пусть его судьба на первый взгляд как бы не связана... Я бы выпил за хранителя Эрмитажа — не обижайтесь, Изольда, сейчас вы все поймете.

— Может, хватит, — сказала моя барышня, — ты наливайешь и наливайешь...

Меня никто не поддержал, но я выпил.

— У меня есть подруга, — говорил я, — близкий товарищ, женщина во всех отношениях замечательная. Я знаю ее четверть века, а она все лучше и лучше. Когда-то была скромная, больше помалкивала, а теперь... Что-то с ней произошло: куколка раскрылась, вспорхнула — такая бабочка, махаон! А родом она... Есть такая область — Тверская, мы всю ночь по ней ехали в скором поезде. Она больше Франции, а может, и всей Европы.

— Вместе с Африкой, — сказал брат.

— Пожалуй, без Африки, но — большая. Там у них есть город — Конаково, а вокруг конаковские деревни. Моя подружка оттуда. Думаю, в России это самое-самое место. Девушки там корпулентные, круглолицые и курносые. Училась она в Ленинградском университете, но это единственный ее прокол. Или нет, не знаю. Во всяком случае, учили ее там, как ни странно, хорошо.

— Слава Богу, совесть у тебя есть, — сказал брат.

— Всего пять лет она тут у вас проторчала, а всю жизнь в Конакове и в Москве. Короче, испортить у вас не успели. Служит она в нашей национальной галерее, называется — Третьяковка. Она там самая главная.

— Хранитель, что ли? — спросил брат.

— Директор... Ну, может, не директор, но она и есть самая главная — все хорошее от нее, а все... Да я бы столько вам про нее рассказал, кабы вы меня не прерывали, хотя бы о том, как она спасла наши святыни — Владимирскую Божию Матерь и Троицу, потому как Бородин с Ельциным хотели украсить ими новый Большой Кремлевский дворец...

— У нас бы тоже не отдали, — буркнул брат.

— А чего вам отдавать — откуда у вас Владимирская Божья Матерь? У вас только голландские шедевры и что-то по случаю — из Италии и Франции... А здесь год за годом собирали — да с самого начала! — поддерживали молодых, одаренных, выстраивались школы, направления, крепили и рвались внутрихудожественные связи — «котел», в котором варилось и выросло национальное русское искусство... Учтите, нить я не теряю... Может, еще по одной?

— Не дам, — сказала моя барышня, — дотяни свою нить, тогда мы тебе...

— Хорошо, а закурить можно?

Все дружно закурили. Кроме Изольды.

— Итак, я продолжаю. Живет моя конаковская барышня со мной по соседству, квартира маленькая, завалена книгами, а кухонька — не повернешься. Женщина она сердобольная и, снисходя к моей сиротской жизни, приглашает то на обед, то на ужин. Муж ее, мой старый товарищ, сокровенный писатель, человек выпивающий, и мы с ним...

— А несокровенные трезвенники у вас есть — в Москве? — не удержался брат.

— Есть, но я их не знаю, думаю, они все питерские — Растиньяки.

Брат только крикнул.

— Ты меня не трогай, — предупредил я его, — не собьешь... Обычно мы ее долго ждем — хозяйку, она на работе. Разговариваем и, естественно... Разрешите мне и сейчас чуть-чуть, а то пересохло.

Я выпил.

— У него, понимаете, какая система. Сначала аперитив: мадам привозит из зарубежных путешествий экзотические напитки — а ее куда хочешь приглашают с выставками, всем, кроме вас, нужна наша национальная идея. Но они — те заморские напитки — хороши только для аперитивов. Затем он достает нашу, привычную, а уж потом из разных углов — у него удивительная память! — вытаскивает пузырьки и графинчики...

— Ужас, — сказал младший брат, — и он еще этим хвастается...

— Я всего лишь констатирую и хочу, чтоб вы представили себе обстановку.

— Мы представили, — сказал брат.

— И вот однажды, — продолжил я, — мы выпивали, она пришла, стали закусывать, и я почему-то очень загрустил. Понимаете? У всех жизнь, как жизнь: жена приходит с работы, жарит картошку, муж радуется и закусывает... Так мне стало себя жалко — до слез. «Слушай, — сказал я ей, — давай куда-нибудь уедем?» — «Кто с кем?» — спросила она. «Мы с тобой». — «А как же мой благоверный?» — спросила она. «Вы уже тридцать лет вместе, — сказал я, — неужто он тебе не надоел за столько лет?» — «Надоел-надоел, — сказал мой товарищ, сокровенный писатель, и тоже загрустил, — всем я надоел...» Когда много выпьешь, становишься или очень веселым, или наоборот...

— Глубокая мысль, — сказал мой брат, — но ты хорош гусь: тебя привечают, поят-кормят, а ты у живой жены... То есть у живого мужа уводишь жену?

— Я не увожу, — сказал я, — я только предложил, к тому же при нем.

— Давай дальше, а то никогда не кончишь. Не понять только, какое это имеет отношение к Эрмитажу или хотя бы к Третьяковке?

— Сейчас поймешь, — сказал я, — главное не потерять нить. Итак, в тот раз я высказал свое предложение. Причем, заметьте — от всего сердца.

— Да уж от сердца, — сказал брат.

— Конечно. Или от души. Я плох насчет анатомии... «Куда ж мы с тобой уедем?» — спрашивает моя конаковская красавица. «Давай в Австралию», — говорю я, и только потом понял, почему именно туда: она что-то такое рассказывала про свое путешествие в Австралию — там очень интересуются нашей национальной художественной идеей, и во мне, видимо, это географическое название засело — иначе откуда бы?.. Но это я потом сообразил, когда пытался осмыслить произошедшее. «Почему в Австралию?» — натурально удивилась она. «Потому что далеко, — говорю, — и никто нас там не сыщет. Хотя бы и твой благоверный».

Понимаете? Она в тот момент жарила картошку, кухонька маленькая, я уже говорил, а дама конаковская... Знаете, как жарят картошку конаковские девушки? Одной рукой они упираются в бок, широкий нож в другой... Заглядишься!

Тут она повернулась и спросила меня уже — заметьте, с живым любопытством, на щеках ямочки заиграли: «А на какие шиши ты меня, мой миленький, повезешь? Ты зна-

ешь, сколько стоит билет до Австралии?» — «Очень просто, — говорю, — ты берешь ножик — не такой, как этот, лучше маленький, я его тебе наточу, а можно и бритву — опасную. И вырезаешь картинку. Большую не обязательно. Представляешь, какая возня будет с Верещагиным или Суриковым? Можно маленькую, лучше из XX века, у вас там чего хочешь — от Малевича до Зверева. Ты ее аккуратно вырезаешь...»

И тут — я это очень помню! — как гром грянул...

Одной рукой она подперлась, в другой блестел нож, глаза у нее засверкали... «Никогда! — крикнула она. — Никогда и ни за что! Слышишь?!..»

Мы с моим товарищем встали, открыли рот, а что сказать — не знаем... «Ты что, девочка?..» — опомнился я. А сокровенный писатель полез под стол и вытащил новый графинчик...

Они молчали, как тогда мы с товарищем. Потом моя барышня засмеялась — весело и звонко.

— Не может быть — я знаю, о ком ты рассказываешь! Так и сказала?..

Изольда плакала: сняла очки и вытащила платочек.

— Я тоже, — шептала она, всхлипывая, — ни за что, ни для кого, ни при каких обстоятельствах...

По Неве гулял ветер — как в море, голова моя покати-лась... Помню только, что мы оказались в Летнем саду, играла тихая музыка, я танцевал, обнимая то одну, то другую из обнаженных скульптур. Брат куда-то исчез. Изольда тоже. Потом мы долго шли вдоль Фонтанки, и моя барышня непременно хотела, чтоб я увидел что-то под парашютом у Инженерного замка, они вдвоем с Тиной обещали крепко держать меня за ноги, я кое-как отбил. Мы взяли машину, долетели до гостиницы, поднялись на десятый...

Все. Больше ничего не было.

Я проснулся от звонка. Нашарил на тумбочке аппарат.

— Ты куда пропал? Я тебе звонил, звонил...

— Вроде на месте.

Я огляделся: в номере я был один.

— Что-то я тебя не видел на открытии?

— К докладу готовился, — сказал я, — у меня завтра.

Утром.

— Давали талоны на обед-ужин. Через пять минут... —

тут я узнал голос: мой московский приятель, сосед по гостинице. — Так ты пойдешь на ужин — у меня коньяк, мы ж договаривались?

— Я целый день пил...

— Что ты пил?

— Водку.

— Коньяк смягчает и снижает — сразу придешь в себя.

— Ты думаешь?

— Убежден.

— Но у меня нет талона и я не один.

— Я тоже не один. Не валяй дурака.

— Хорошо. Минут через десять.

— Я зайду..

Куда ж она подевалась? — подумал я, и она тут же появилась: завернутая в полотенце, с мокрыми волосами.

— Ты вырубился, как только вошел, — сказала она, — Тина даже испугалась.

— Где она?

— Уехала к Изольде.

— Очень тактичная, — сказал я. — Учти, нас пригласили на ужин, в ресторан. Официально.

— Это тебя пригласили, а я тут как бы...

— Если хоть кто-то поморщится, я уеду в Париж, — сказал я.

Странно, но я был жив и в полном порядке.

В ресторане полутемно, сновали официанты, похожие на морских офицеров, на нашем столике, накрытом на четвере персоны, стояли цветы, горели свечи. Контраст с подвальчиком на Неве оглушительен. Или никакого подвальчика не было?

Принесли закуску: рыба, ветчина, салаты. Горячее на выбор — осетрина на вертеле или шашлык.

Приятель поставил на стол бутылку «Камю».

— Расскажи про открытие, — сказал я.

— Ты с ума сошел — нас там не было.

— Ты же сказал?

— Шутка.

— За первый день!

Мы выпили.

— Пожалуй, ты прав, — сказал я, — снижает, смягчает и окончательно приводит в чувство.

— Опыт, — сказал приятель.

Моя барышня рассказывала, как я танцевал с обнаженными скульптурами в Летнем саду. Помощник приятеля сначала робел, стеснялся, потом начал оттаивать. Очень славный был помощник.

Принесли горячее.

— Мне тут нравится, — сказал я, — жалко, осталось два дня. Но понимаешь, в чем беда — мой доклад...

— А что такое?

— Не могу нащупать идею.

— Тебе было сегодня хорошо?

— Более чем.

— Вот тебе и идея. Ты был свободен и делал, что хотел. Тебя привезли, устроили, накормили — но ты все равно свободен.

— Ну и что? — спросил я.

— У тебя доклад на тему — «Писатель и власть»?

— Очень свежая тема, — сказал я, — если и осетрина такой же свежести...

— Тебя можно купить за жареную осетрину?

— Понял, — сказал я, — будем считать, доклад мы написали. Я твой должник.

4

— Все-таки слишком похоже на гостиницу, — сказала она.

— А ты думала, будет особняк или бунгало?

Она сидела на кровати, болтала ногами и курила.

— Ты можешь сдвинуть кровати, — попросила она вдруг. — Меня бесит идиотская тумбочка.

Кровати казались каменными. Я попробовал... Потом поднапрягся — не шелохнулись. Я взялся за тумбочку, подлез сбоку, ощупал...

— Да тут болты!.. Надо гаечный ключ или пилу. А где взять?.. погоди, московский сосед сказал, что они все время работают — если у него?

— Они на компьютере работают — при чем тут пила?

Коньяк, конечно, смягчает, снижает и... Но, быть может, если коньяк после водки — совсем другая реакция?

— Что-то у меня голова покатилась, — неожиданно сказала она, — можно я чуть вздремну?..

— И у меня съехала. Не надо пить чего нам не положено.

Я лег на соседнюю койку, между нами торчала тумбочка: получалось, что у нас как бы не двухместный номер, а две комнаты, разделенные...

Загрохотало, загремело, захрипело, зазвенели стекла — трамвай вломился в распахнутое окно, я свалился с кровати. В комнате плавал, клубился серый туман. Я подполз к окну на четвереньках, осторожно поднялся и выглянул...

Далеко внизу, посреди классического петроградского пейзажа, разворачивался трамвай — звенел, грохотал, дребезжал, навстречу ему заезжал другой, а за ним... И все это в сером плывущем дыму... Это у них называется *белые ночи*, вспомнил я.

Я прикрыл окно. Стало потише, откуда-то ползли хрипы.

Она лежала на боку, обнаженная рука свесилась, пальцы касались пола. Это она хрипела. «Уж не трамвай ли ее задавил?» — странно подумал я. Подошел и поднял руку — рука была влажная. Я пощупал лоб — мокрый, горячий. Провел по волосам — и волосы мокрые. И подушка была мокрая. «Слава Богу, вода, а не...»

— Что с тобой? — спросил я.

Она не просыпалась.

Я сел рядом — как на скамейку после дождя. Тут я испугался и принялся ее тормозить.

— Может, «скорую» вызвать?

— Ты что — увезут неизвестно куда...

— Так с тобой бывает?

— Первый раз...

Я обер ее полотенцем и переложил на свою кровать. «Хорошо, не съединил...» Накрыл двумя одеялами. Она тут же уснула. «Что русскому здорово, то...» А кто из нас русский?..

Походил по номеру, снова выглянул в окно: трамваи один за другим разворачивались — круг был под нашими окнами. Жуткий город.

Простыней больше не было, я завернулся в полотенца — их много, как в заграничном отеле.

...Трамвай грохотал, дребезжал, звенел, хрипел — двигался... Она лежала, положив голову на рельс, волосы закрывали лицо, я кинулся к ней... И проснулся...

За окном все тот же серый туман, грохот трамвая, она тихонько посапывала на соседней койке. Тоже мне Анна Каренина, подумал я.

Волосы у нее высохли, подушка была влажной, а простыни сухие. Я поднял ей голову и перевернул подушку. Она не проснулась.

«Зачем бедному еврею такой дворец?» — вспомнил я. И опять заснул.

На сей раз я оказался в лесу: зимний сумеречный лес по обе стороны дороги, деревья в белых шапках. Дребезжащий трамвай тащили... лошади. Я видел впереди два хвоста, нет, еще один, третий... Я сидел рядом с кучером... Нет, рядом с вагоновожатым. «Гляди!» — крикнул он и нажал на звонок. Перед нами, через колею прыгнул заяц — серый, взмахнул длинными ушами и скрылся в лесу. «Стой! — крикнул я, — плохая примета, предупреждение — не доедем...» — «Ладно тебе, — сказал вагоновожатый, — бабьи сказки...» И тут через дорогу прыгнул еще один. Или тот же — серый и ушастый. Я схватился за рычаг: трамвай заскрипел, грохнул, дернулся, я ударился головой о...

Проклятая тумбочка! Это я об нее приложился. За окном клубился все тот же серый туман, грохотало, звенело...

Она спала глубоко и тихо. Посапывала.

Если водку мешать с коньяком, то тебе открывается... Что открывается?

Я вспомнил, откуда возник заяц. На открытии выставки писателей, которые рисуют, кроме презентации книги о литераторах, сидевших в русской тюрьме, была еще одна презентация. Наш коллега Битов предложил проект: «О перебегании зайцем дороги Пушкину». Мне тогда было не до того, я думал о билетах на поезд, менял «СВ» на купе и разрабатывал механизм интриги. Но что-то, видать, засело, а тут после перемешивания коньяка с... Да, все выстроилось, об этом я им сегодня и доложу.

Что же произошло 175 лет назад на зимней дороге из Михайловского в Петербург? — скажу я им. А они будут меня переводить на разные языки... Ну, чтоб не слишком углубляться в эту историю... — продолжу я. И дело даже не в том, что ежели бы не заяц, у нас не было бы последующего десятилетия, сделавшего русскую литературу действительно великой. В то время никто ничего об этом не мог знать и даже думать. И Пушкин, который «наше все», в том числе. Но он не хотел скакать в Петербург, это очевидно. Не хотел, но у него не хватало мужества себе — не кому-то, а себе! — в этом признаться...

Я думал все быстрее, быстрее, и мне стало весело: я сидел на идиотской кровати, лицом к окну, за ним клубился серый туман, который они называют «белыми ночами», далеко внизу гремел дурацкий трамвай, а я повторял про себя свою завтрашнюю — нет, сегодняшнюю! — речь...

Откуда же заяц, который спас русскую литературу? — риторически спросил я. И сам себе ответил: «Да не было никакого зайца. Или был, но это не имеет ни малейшего значения».

Я приоткрыл окно, вдохнул серого тумана и закурил. Голова легонько поплыла...

Это высокая история, заторопился я, испугавшись, что утеряю нить и опозорюсь. В жизни человека непременно присутствует Бог, не важно — знает он о том или не знает. И человеку дано слышать Его или не слышать. Но Он всегда рядом и особенно явственно в минуты пограничные, когда человек стоит на перекрестке: направо пойдешь, налево пойдешь... Господь все знает о каждом из нас, предупреждает и протягивает руку. А дальше твой собственный выбор: или ты Его услышишь и поймешь, или нет, но тогда пеняй на себя. Господь знает все потаенные мысли человека и всегда готов ему помочь...

Я вспомнил нашу первую ночь: если она была предупреждением, почему я Его не слышал и не понял?.. Нет, об этом сейчас я не хотел думать, мне надо было разобратся с докладом.

Дело тут в том, быстро говорил я себе, что никто другой не мог бы дать Пушкину такого совета, он не услышал бы и не захотел бы никого слушать, да никто б и не решился давать такой совет.

И тогда Господь послал «зайца», которого на самом деле, по всей вероятности, не было. У Бога сколько угодно таких «зайцев», и Он может выпускать их в любую нужную Ему минуту.

Те, кто видел, как зайцы перебегают дорогу, знают, как это происходит, — скажу я им, — это мгновение, даже перед автомобилем с горящими фарами. Или перед трамваем, — добавлю я, и тут они уже совсем ничего не поймут. А там, на зимней дороге из Михайловского, он мелькнул — и Пушкин получил ответ, совет, сделал выбор, оперся на протянутую руку — и развернул лошадей...

Конечно! Пусть они представляют себе, что едут к девушке, а она ждет где-то за следующим поворотом — разве

что-то или кто-то способны нас остановить, уговорить — отказаться? Да никогда! Но если вы понимаете, — скажу я им, и пусть меня переводят на все ихние языки, которые я никогда не буду знать! — что эта девушка на самом деле вам не нужна, что ваш порыв всего лишь минутная слабость, за которую потом платить годы и годы, сломать себе жизнь... Но вы обещали, она ждет и рассчитывает... Господи, хоть бы спустило колесо или заглох мотор, думаете вы, а девушка поплачет, слезы высохнут... Девушка плачет, шарик улетел! И если в первом случае, когда нет никакого сомнения, только любовь, азарт и легкость — да пусть сотни зайцев, не остановишь! — то в случае, когда нужен всего лишь повод... И тогда ты разворачиваешься...

Да, пусть этот пример не слишком корректен, скажу я им: в случае пушкинского зайца речь шла о чести и верности дружбе. Но разве любовь — не высокий выбор? Соблазн, его преодоление, или — поражение... А поражение может быть высоким или всего лишь чужим, тебе не нужным. Не твоим.

Меня уже несло. Да, писатель обречен на поражение, продолжал я свою речь. Он создает нечто из ничего, из мелькнувшего чувства, ощущения, мелькнувшей мысли. Он создает характер, — как Господь Бог человека из глины. Но он всего лишь человек, а потому созданное им, даже в самом удачном варианте, в самом гениальном воплощении его мысли, ощущения или чувства никогда не будет абсолютно созвучно задуманному. Только он сам знает о своем поражении, и только он один может о нем судить...

Вот что такое творчество, скажу я им, и вот чем на самом деле должен заниматься писатель. Как бы он ни страдал от того, что происходит вокруг — с ним и с тем, что ему дорого, как бы ни гремели в нем его гражданские чувства. Он может выразить эти чувства на бумаге и тем помочь людям, которые способны его понять. Но это его собственный выбор, и он волен, как любой его соотечественник, плотник или доярка, оставить свое дело и заниматься реальной политикой. В этом тоже его свобода. А власть всегда временна, и ее усилия имеют в виду, в лучшем случае, всего лишь сиюминутный успех... Выбери-айте...

Очень напыщенно, подумал я, и мне стало неловко...

— Что с тобой? — услышал я за спиной. — Почему

ты завернулся в полотенца, отдал мне все одеяла?.. Я спала, как мертвая, прости, пожалуйста... Больше такого не будет.

— Хорошо бы, — сказал я, — эта воробьиная ночь оказалась позатейливей первой.

— Правда, прости, я не понимаю, что со мной и почему.

— Пить надо меньше, — процитировал я младшего брата. — Ты помнишь битовского зайца?

— Какого зайца?

— Тогда на твоей выставке, он со своим другом-скульптором предложил проект и демонстрировал золотого зайца. Они поставят его на верстовом столбе в Михайловском.

— Там была толпа, и все говорили хором. Я не разобрала.

— Надеюсь, не золотого, — продолжал я, — золотого унесут первой же ночью. Бронзового в ночь следующую. А медный простоит неделю, и его найдут в скупке. Если повезет. У нас охота на медь — ты не слышала? Провода срезают на десятки километров.

— Ну и что? — спросила она.

— Ничего. Просто заяц бывает нужен, когда не хочется делать то, что ты, быть может, делать должен. С точки зрения нравственного императива. Или не должен. В этом твоя свобода. И об этом — мой доклад.

— Я ничего не поняла, но, наверно, пора вставать.

— Пожалуй, тем более, я как бы и не ложился...

И тут зазвонил телефон.

— Вы собираетесь завтракать? — сосед, московский приятель. — Шведский стол в том самом ресторане, где вчера... Через пять минут.

— Через полчаса, — сказал я.

— Через полчаса я должен вернуться в номер, у нас срочная работа. Тогда увидимся вечером.

— Ты не будешь на моем докладе? — спросил я.

— Я же объяснил — я занят. Мой доклад, кстати, завтра, и мне надо еще и к нему..

Человек работает сутками, а я лезу к нему со всякими глупостями. Мне стало стыдно.

Зато я успею в душ и, быть может, даже побреюсь...

В ресторане — другой интерьер, светло, столики, столики, народу, как на вокзале...

Пива не было видно. Мои коллеги кушали йогурт и пили кофе.

Огромная стойка: салаты, сыр-колбаса, жареная картошка, жареная рыба, жареное мясо, макароны в соусе...

Я онемел. Всю жизнь я хочу есть: папу убили, маму посадили... Первый раз наелся, когда мама вернулась из лагеря, потом одна, вторая, третья жена — но они как бы не по этому делу, хотя порой, но крайне редко, и у них бывали гастрономические фантазии... Последние десять лет я воспринимал еду вообще только закуской. Но если случилось, меня, бывало, не удержать...

— Гуляем по всему буфету, — сказал я и взял глубокую тарелку.

Следовало, конечно, выработать систему, но я не успел, испугался, что все это великолепие мгновенно исчезнет. И принялся накладывать все подряд: салаты, жареную картошку, рыбу и мясо, макароны в соусе и что-то еще.

Когда я шел к занятому ею столику, похожие на морских офицеров официанты глядели на меня с уважением, а иностранные коллеги — с восхищением.

Моя девушка кушала кофе. Даже без йогурта.

— Покарауль миску, — сказал я, — и не торопись с кофе. Я сориентируюсь насчет пива.

Пиво продавали в баре. Я взял три бутылки — «Балтика», третий номер.

— Ты справишься? — спросила моя Анна Каренина.

— Мне нужны силы для доклада. Боюсь спутать зайца с этим, как его... Александром III. Хотя они и не похожи. Помнишь, у Мраморного дворца?

— А может, скажем — ты заболел? Это я виновата, ты не спал всю ночь.

— Ты очень заботливая. И совестливая, — сказал я. — Но я должен отчитаться за билеты и всю эту роскошь.

Нас посадили в автобус. Может, тот самый?.. Я тщательно обшмонал салон, лазил под сиденья — крутых яиц не было. И красной икры тоже.

Я не успел усесться и отдышаться, мы уже остановились. Опять Фонтанка!

У дверей нас ждала Тина, мерцала глазами.

— Я спала, как мертвая.

— Она тоже, — сказал я.

Тина посмотрела на меня с сочувствием.

— А Изольда всю ночь проплакала, — продолжала она, — с утра я ее утешала: убеждала, что ты хороший, но она...

— Я хороший, — согласился я, — мне просто не везет с бабами, у них идеи или обстоятельства. Одной я предложил поехать в Австралию, но она... Ты помнишь, я про это рассказывал. Другую привез в Санкт-Петербург, а...

Тут моя барышня подошла, и я заткнулся.

Дворец, мраморная лестница, большой зал, длинный стол, микрофоны, наши, евро-азиаты и эти. Мы сели втроем.

— Ты правда ко мне хорошо относишься? — спросил я Тину, она сидела слева.

— Я тебя обожаю, — сказала она, — если б я не была ее подругой...

— Тогда принеси, — сказал я, — а то мне сейчас отсюда уже не выйти — вдруг позовут к микрофону?

Тина раскрыла сумочку. Я заглянул. Дамские сумочки очень вместительны.

— Я подумаю насчет твоего предложения, — сказал я.

— Изольда права — ты скотина, — она и впрямь была взмущена. И закрыла сумочку.

— Я пошутил, — сказал я, — от смущения.

На столе стояли бутылки с водой: я налил в один стакан воду, а она под столом — в другой.

— С утра можно и повышать, — сказал я, — иначе бывает трудно разобраться с тем, что ты должен сделать, чтоб отстоять свою собственную свободу. Выбрать. Или — или...

— О чем вы все время шепчетесь? — спросила справа моя Анна Каренина.

— Я пересказываю кое-что из тезисов...

Мне дали слово через час, и за это время мы с Тиной успели повторить.

Наверно, я был не слишком красноречив и едва ли точен. Когда я рассказывал о том, как на зимней дороге из Михайловского в Петербург трамвай чуть было не переехал зайца, переводчик открыл рот и замолчал.

Напротив меня, через стол сидел очень знаменитый московский писатель, мы были едва знакомы, и я не знал, что он тоже приехал. Он реагировал очень живо, смеялся, подмигивал и что-то такое изображал пальцами. Для оратора всегда очень важен конкретный слушатель. Я обращался только к нему и закончил с подъемом:

— Писатель имеет право на высокое поражение, — сказал я, — в этом его подлинное мужество и подлинная

свобода. Они значительно более ценны, чем любые усилия власти, неважно — тоталитарной или демократической, улучшить человеческую жизнь путем увеличения производства нефти, презервативов или «стингеров», — и все это якобы во имя рекламируемой властью Свободы, Демократии, Гуманности и прочей Белиберды. Впрочем, коль ему, писателю, охота, он волен сотрудничать с властью, даже властью становиться. И Бог ему судья, если он оставит письменный стол, поменяет перо на мундир чиновника или эполеты солдата. Это его выбор, его совесть, а он стоит перед своим Богом...

Мне вежливо похлопали, и я направился к своим де-вушкам.

Еще полчаса мы соблюдали приличия, а потом тихонько выбрались из зала.

Я был совершенно свободен!

За нами вышел один из устроителей:

— В три часа обед в ресторане на той стороне Фонтанки...

Кто это сказал, что в Петербурге нет ничего лучше Невского проспекта? Более того, — что в Петербурге он составляет все?.. Известно кто, но не забудьте — когда это было? Сегодня здесь, несомненно, только Фонтанка, и ее более чем достаточно.

Солнце освещало дворцы и особняки — от Аничкова моста до Летнего сада. Мы шли мимо дома княгини Лиговской, бывшего цирка Чинезелли, мимо... И вот уже...

— Обратите внимание, — сказал я голосом экскурсовода, — Инженерный, он же — Михайловский замок, в котором учились Достоевский, Петрашевский и другие, его всегда красят в цвет перчаток фрейлины Нелидовой. Уже двести лет красят. Вам известно — чья она была любовница?..

— Знаток, — сказала моя барышня, — а делал вид, что тебе наплевать на то, что рассказывает младший брат? Все время норовил от него убежать. Надо ж — все услышал и запомнил! Но теперь я заставлю тебя посмотреть самое-самое... Тина, держи его с другой стороны!

Они прижали меня к парапету и заставили заглянуть вниз. Фонтанка втекала тут в Мойку (или вытекала из нее), на той стороне здание Третьего отделения, подальше Шереметьевский дворец, флигель, в котором жили Ахматова и Пунины...

— Не упадешь, не бойся, — твердила моя барышня. — Тина, держи его за ноги!

Я отбивался, как мог — смертельно боюсь высоты... И тут увидел...

На вогнутой каменной стене, сопрягающей Фонтанку с Мойкой, у самой воды поблескивало что-то маленькое и блестящее... Птичка! Медная головка отсвечивала, вроде даже шевелилась — поворачивалась...

— Чижик? — спросил я, — тот самый, о котором...

— Разглядел, — сказала моя барышня, — а сколько раз я тебе о нем...

— Разве ты его уже видела?

— Твой брат обещал завтра утром показать нам город с воды, вот тогда, может, и разглядим получше...

Маленький, беззащитный он стоял на какой-то полочке, весь в сверкающих брызгах, один, посреди всего этого великолепия...

— К Мраморному дворцу! — крикнул я. — Их надо смотреть вместе, рядом — то чудище и это чудо. В них все!.. — Не какой-то Всадник с Шиллером...

— Мы именно так вчера и смотрели, — сказала моя барышня, — это ты...

— Кабы я вчера его увидел, — сказал я, — я бы не говорил сегодня глупости про зайца, я бы им...

Я и не заметил, а мы уже оказались возле Дома ученых. По Неве все так же шел ветер. Мы снова ели холодные пельмени с теплой водкой. Потом... Потом, не понять как, но оказались в Летнем саду.

— Посиди тут, — сказала моя барышня, — вот тебе книжка с картинками, чтоб не заглядывался на скульптуры, а то тебя заберут.

— А вы куда?

— Нам надо на Невский, в один-другой магазин. Ты же не пойдешь с нами? Подарки в Москву.

— А он еще стоит — Невский? — спросил я с удивлением.

Они растолкали меня часа через два — в Летнем саду хорошо спится.

Потом был ресторан на той стороне Фонтанки. Я пришел с двумя дамами, хотя они стеснялись и упирались.

— Вы обе участвовали в дискуссии, — сказал я твердо, — и у вас все права на обед. А кроме того, вы, надеюсь, пришли не с пустыми руками?..

Дальнейшее стало совсем смутным. Я не уверен, но мне помнится, словно бы мы присутствовали на вечере поэзии в Пушкинском доме. Я запомнил знаменитого московского поэта. Он появился на эстраде в шортах, и, поглядев на его волосатые ноги, я заскучал и, кажется, отправился покурить. Питерские поэты были значительно скромнее и симпатичней.

Вообще город мне все больше и больше нравился...

Внезапно, не понять как, но мы оказались у входа в нашу гостиницу. Стояли и курили. Вдвоем. Наступал вечер, верней, еще одна белая ночь.

— А куда делась Тина? — спросил я.

— Ты ж только что с ней прощался? Она поехала утешать Изольду — она плачет, не переставая. Ты очень трогательно Тину напутствовал и был с ней нежен — неужто не помнишь?..

Телефон зазвонил, как только мы вошли в номер.

— Пойдете ужинать? — мой московский приятель был, как всегда, точен и заботлив.

— Мы только вошли.

— Вот и хорошо. Как твой доклад?

— А как твоя работа?

— Норму мы выполнили. И более того.

— Что более?..

— Перевыполнили.

— Я вроде тоже...

— Итак, ждем, коньяк я уже поставил в сумку...

Мы снова сидели в полутемном ресторане. Горели свечи, но цветов не было.

Коньяк сначала смягчал, смягчал, потом начал снижать. Или наоборот.

— Как грустна наша Россия, сказал один гений другому, — напомнил я им. — Причем, здесь сказал. В этом самом городе.

— Ты к чему это? — спросил мой московский приятель.

— Я про чижика, — сказал я. — Мы пьем коньяк и закусываем шашлыком. А он там, на ихней Фонтанке — один, мокрый и маленький.

— Да, пока нам неплохо, — сказал мой московский приятель. — Ты сделал доклад, а я успел двинуть работу. Причем далеко.

— Кому везет — везет, — сказал я.

Она стала кашлять, как только мы вчетвером вошли в лифт. Отчаянно и надрывно.

— Давай, пока не поздно, поищем врача, — сказал я.

— Не надо, это от коньяка — я не привыкла.

— Коньяк хороший, — мой московский приятель очень огорчился. — У меня с ним никогда никаких проблем...

— При чем тут коньяк, — сказал я, — она просто слишком впечатлительная, а мы живем как бы в контрасте — то холодные пельмени, то теневая экономика.

— У меня есть какие-то лекарства, — сказал помощник моего московского приятеля и тоже очень за нас огорчился: помощник был очарователен. — Я сейчас посмотрю, подождите минутку..

Нам выдали лекарства, и мы открыли свой номер.

Все те же каменные кровати. И мерзкая тумбочка.

Она кашляла, не переставая. Очень жалобно.

— У тебя коклюш, — сказал я, — у взрослых это бывает, хотя и редко. Но ты вообще редкое вещество. Хорошо бы покатасть тебя на самолете, говорят, помогает.

— У меня был коклюш в пять лет, — сказала она. — Он дает иммунитет и не повторяется...

Она сидела на кровати, согнувшись, — маленькая и несчастная, похожая на птичку. Под лампой сверкали светлые волосы.

— А на коньяк у тебя иммунитет, видать, отсутствует, — сказал я, — очень жалко...

И подумал вслух:

— Может, у них не только лекарства, но и кипяtilьник? Он хозяйственный мужик, а поскольку они всю ночь работают, то, наверно, кипятят чай и варят кофе. Мы вскипятим молоко, и оно забьет в тебе коньяк.

— Они трудятся над книгой и докладом, — сказала она сквозь кашель и горько усмеянулась. — Всю ночь работают и работают, а мы с тобой... Я никогда не пью молоко, не говоря о том, что его у тебя все равно нет.

— Тогда ложись, — сказал я, — я укурую тебя двумя одеялами, а утром ты отряхнешься — и вспорхнешь...

Я притащил из ванны полотенца, завернулся в них и потушил свет.

Она кашляла и гремела...

Я бежал по зимнему лесу, на сей раз — безо всякой дороги, проваливался в глубоком снегу, падал, поднимался, наткнулся на деревья, за мной что-то гремело, звенело, трещало...

От кого я убегаю? — думал я. Как тот самый заяц в белорусском лесу во время больших маневров: танки грохотали, крушили деревья, над их макушками рокотала одна эскадрилья за другой, меж деревьями батальон за батальоном бежала пехота в белых маскхалатах... А заяц метался и думал, что вся охота за ним и против него...

Но я не был зайцем. Или был?.. От кого я спасался?..

На усыпанной красными ягодами ветке сидел, качался... чижик. Маленький, взъерошенный, с медной головкой. Потом он прыгнул в снег и скакнул ко мне, ближе, ближе... Я его разглядел: он был в мундирчике — училище правоведения! — криво, не в те петли застегнутом, в пуху и перьях. Из коротких рукавов торчали помороженные красные лапки, растопыренные и дрожавшие... Несло перегаром... Может, от меня? Нет, это он явно с большого бодуна.

«Ваше превосходительство, — произнес он пискляво и с хрипотцой, — оставьте меня, зачем вы меня обижаете?..»

Я проснулся в поту, полотенца валялись на полу, за окном гремел, звенел, скрипел трамвай, подбирался к десятому этажу — вот-вот въедет...

На соседней кровати она посапывала, вздыхала, уже не кашляла.

Мадам литература, с тоской думал я, одна только мадам литература... Но, быть может, не во мне все-таки причина — это город путает всех и каждого, кто сюда попадает, однажды он кому-то приснился, и тот, кому он приснился, попытался его воссоздать, построить... И построили, воссоздали — из ничего, из болотного тумана, из нелепых снов... С тех пор город и не оставляет никого из тех, кто сюда приезжает: морочит, закручивает, путает, делает с ними все, что хочет, захочет, и никто не может понять — как, почему, зачем?.. Никто не в состоянии добраться до смысла того, что с ними здесь происходит... Да уж писали об этом, все давно написано — но разве в том дело?..

Спать я уже боялся: приоткрыл окно, курил и глотал клубившийся серый туман...

Наверно, у окна я и задремал. Во всяком случае, очнувшись, понял, как правы те, кто говорит, что жизнь пестра и разнообразна.

В окно било солнце, трамвай внизу словно бы не грохотал, звенел весело — щебетал.

Я обернулся: она только что вышла из ванной, волосы сверкали золотом, глаза сияли.

— Какое утро!.. Видишь, как нам везет? И сегодня мы наконец все-все увидим.

— Ты о чем? — спросил я: все-таки она неожиданное существо.

— Забыл? Твой брат покажет нам...

О, Господи, думаю, а я собирался накрыться освободившимися одеялами и пусть все идет прахом...

Затрещал телефон. Тина.

«Позавтракали?.. Через полчаса я у вас...»

Бреясь, я услышал новый звонок: она болтала с соседом, моим московским приятелем, благодарила за лекарства...

Мы побежали завтракать. Город меня все-таки достал, или все в конце концов в прямом смысле — приедается? Я равнодушно прошел мимо жареной, вареной, разноцветной и благоухающей кулинарии, взял себе чашку чая и позабыл про пиво.

У номера на десятом этаже бродила Тина, стояли ее сумки.

— Я все притащила — не возражаете? Мы ведь прямо отсюда на банкет, а потом...

День приезда — день отъезда, вспомнил я, ну и ладно...

— Изольда начинает успокаиваться, — продолжала Тина, — только всхлипывает. Тебе ее жалко?

— Нет, — сказал я, — таких надо учить, и чем раньше, тем перспективней...

Мы спустились, прошли вестибюль, мимо стоек с сидящими за ними стюардессами, прошли сквозь стеклянные двери, взяли машину — и снова Аничков мост, Клоттовы кони, все та же вечная Фонтанка...

Брат ждал нас у маленькой пристани, в двух шагах от моста. Катерок-пароходик — никого.

— Что-то мало желающих, — сказал я.

— Москвичи нелюбознательны, — ответил брат, — а ленинградцы, в отличие от вас, работают.

— Пожалуй, следует сбежать за пивом, — сказал я, — а то очумею, глядя на твои достопримечательности...

Еще полчаса мы просидели на бортике, курили, пили пиво, жмурились на солнце, а наши девушки поворачивались то одним боком, то другим — как на пляже.

— Разденьтесь, а то тоска смертная, — сказал я, — пусть дикие ленинградцы развлекутся.

Брат сердился. Подошли еще человек десять. Нас прогнали с борта — здесь не положено, загнали внутрь. Курить нельзя.

— Может, ты нас помилуешь, — попросил я, — пойдём лучше в Летний сад, а там рядом...

— Ни за что, — сказал брат, — мне уже хватило твоего московского безобразия и наглого красноречия. Сейчас вы увидите...

— А мимо чижика мы хоть раз проплывем? — спросил я.

Брат удивился, не успел ответить, катерок свистнул, и мы двинулись все по той же Фонтанке. Но теперь по воде.

Внутри было душно, окна закрыты, в уши бил резкий, хрипчатый голос экскурсовода-профи, опохмелиться она явно не успела и порой принималась жеманничать, как снегурочка на детской новогодней елке.

— Справа от нас...

Я немедленно поворачивался налево и отклебывал из бутылки. Как только снегурочка замолкала, брат что-то начинал объяснять моим девушкам, но тут же включалась очаровательная жеманница. Я снова прикладывался к бутылке. Хрипатая не унималась. Она наверняка сейчас курит, думал я, пачкает сигареты жирной помадой, глаза у нее накрашены неряшливо, текут, ей жарко — грудь вываливается из открытого платья... У меня была такая соседка в одной из моих московских коммуналок...

Сколько ж это будет продолжаться? — думал я и вдруг услышал брата: «Вот отсюда — поглядите налево, Обуховскую больницу мы уже прошли, а за тем зданием были казармы Московского полка, они и вышли тем утром... Не сразу, конечно, не так все было просто — саблями рубились...»

Я посмотрел налево и — удивительное дело! — все вдруг увидел и...

Я увидел живой город, он существовал сегодня, как и сто, и двести, и триста лет назад, возникший из ничего — пусть из болотного сна! — по какому-то непостижимо стройному плану... Да нет и быть не может таких городов на свете! Как же это произошло — чьей силой, на чьи деньги... Нет, не понять, что б ни прочел и что бы ни узнал — не укладывается в сознание, в понимание... Но вот он перед нами — живой, разворачивается, поворачивается то одним берегом, то другим...

Значит, Московский полк просто — не просто, но вышел тогда именно отсюда — первыми вышли, с барабанным грохотом по Гороховой, а потом стояли целый день на площади, пока...

Катерок бежал дальше, дальше... На правом берегу Фонтанки вырастали, сменяя друг друга, доходные дома прошлого, конца позапрошлого века — и сегодня жилой район, здесь питерцы всегда жили, а чего-чего с ними не происходило, становилось легендой, высокой культурой, но здесь и сейчас живут, гуляют с детьми и просто так — входят-выходят из этих домов, во дворах и сегодня режутся в домино, пьют на двоих, на троих...

Мы миновали Новую Голландию, вошли в Екатерининский, затем в Крюков канал... Откуда-то отсюда выходили тогда флотские офицеры, матросы, вспоминал я, — Гвардейский морской экипаж, а на площади как раз начали стрелять, тогда моряки побежали — по Екатерининской набережной, по набережной Крюкова канала к Галерной улице, выходявшей на Сенатскую площадь... Слишком поздно! В то же самое время, с другой стороны — вспомнил, вспомнил я! — по невскому льду с полной боевой выкладкой бежала Первая рота лейб-гвардии Гренадерского полка... А Финляндский полк, он-то и мог все решить — тысячи штыков! — так и не вышел. А те, кого все-таки удалось вывести, так и шли, бежали с разных сторон, все ближе, ближе, мимо строящегося Исаакия, к Сенату...

Мы вышли в Мойку — где-то там и Исаакий, обогнули место, где до сих пор непонятно почему милая моему сердцу Софья Львовна вместе с этими... Как же их звали, нет, сразу не вспомнить — прикончили царя-освободителя... А дальше, мимо Марсова поля к Инженерному замку — и все это в цветущей, кипящей, благоухающей сирени... Да, именно тут в белые ночи бродят девушки с безум-

ными глазами... Тот самый петербургский миф, или Ленинград, как форма существования — так, кажется, это сегодня формулируется?

— Ну, брат... — сказал я.

Мне показалось, он услышал, был удивлен, растроган, такого от меня не ожидал. И все простил.

Мы разворачивались, входили в Фонтанку.

— Гляди, гляди! — закричала моя барышня. — Наш чижик!..

Он все так же сидел на полочке — маленький и беззащитный, под солнцем сверкала, вздрагивала золотая головка, я подумал было бросить ему бутылку пива — конечно, он ждал его от меня! — но побоялся, зашибу — он мог бы и не успеть вспорхнуть... Да и окна закрыты.

Неужто мы на самом деле сегодня... уезжаем? — внезапно вспомнил я. А как же: на свете все кончается, у кошки есть конец... Или там как-то иначе?.. А если так — что автор имел в виду?.. Нет, быть не может, чтоб все уже закончилось! Конечно! Три дня, но ведь четыре... ночи?..

Когда-то, в юности, я писал пьесы, одна называлась — «Только день», и мысль была в том, что совершенно не важно, сколько человек живет — три дня или долгие годы. Он успеет съесть три порции мороженого или триста, у него будет одна женщина или... С тех пор утекло много воды: я был знаком со множеством женщин, три из них стали моими женами, а мороженого я уже давно не пробовал. Но...

Оставалась последняя ночь! В скором поезде, и то, что здесь происходило, совершенно неважно, быть может, ради последнего «СВ» все и было задумано?

Кажется, мы еще раз обедали в том же ресторане на другой стороне Фонтанки. Втроем. Перед тем распрощались с братом. Очень нежно. Мои девушки были от него в восторге: «Настоящий интеллигент!». Очевидно, по сравнению со мной.

Потом полетели уже не часы, а минуты. Мы побросали вещи в сумки и расстались с вымечтанным двухместным номером безо всякого сожаления. Но ведь и там что-то было, было, а уж грохот трамвая мне никогда не забыть...

В вестибюле опять разноязычная толпа и гора заграничных чемоданов. Тина металась между своими клиентами и, подбегая к нам, докладывала о происходящем.

— Они боятся поезда и уже заказывают билеты на самолет. Несчастливого корейца, у которого сразу же, еще в Москве, увели чемодан, я вроде уговорила остаться в поезде...

— Зачем? — спросил я.

— У него завтра самолет на Стамбул, в двенадцать часов дня. Я ему объяснила, что самолеты у нас ненадежны, а поезда всегда точно по расписанию. В восемь утра он будет в Москве, а поскольку чемодана у него нет, он и пешком успеет до Шереметьева...

— А зачем ему Стамбул, если он кореец? — спросил я.

— Он там живет, — сказала Тина, — он знаменитый корейский писатель.

— Стамбул, конечно, ближе, — сказал я, — до Сеула он пешком, пожалуй, не дойдет, но в Стамбуле живут турки. Ты куда его собираешься отправить?

— Мне надо, чтоб он добрался до Москвы, а там пусть сам разбирается.

— Бедный доверчивый кореец, — сказал я, и выяснилось, как в воду глядел. Но это не сразу выяснилось.

— Господа участники конференции... — объявила в микрофон очень хорошенькая питерская девушка, я вспомнил, что в день заезда приставал к ней здесь в вестибюле в надежде найти крутые яйца и она мне очень сочувствовала. — Господа участники! Те, кто едут в «СВ» в десять вечера, садятся в автобус с красными полосами, а те, у кого билеты в поезде, отправляющемся в одиннадцать вечера, — в автобус с зелеными полосами. Можете там оставить свои вещи, их после банкета вместе с вами отвезут на вокзал, прямо к поезду. Милости просим принять участие в прощальном банкете...

Вот это культура, организация, думал я с завистью, не то, что наша коллективная каша, сочиненная Клавой — не к ночи будь помянута... И на всякий случай отдал очаровательной распорядительнице наш коллективный билет.

Мы забрались в краснополосатый автобус, нас было мало — только «СВ». Все та же милая девушка представила меня руководителем делегации. Я бросил наши сумки на свободное место.

Автобус тронулся, я не успел ни о чем подумать — и вот уже осточертевшие за эти дни Клодтовы лошади, к счастью, мы отвернули от Фонтанки, чуть проехали по Невскому в сторону вокзала...

Старый питерский особнячок, широкая лестница — толпа... Откуда они набежали, едва ли на всех хватит... Все возбуждены, чему-то радуются и полны надежд. Наш московский приятель повел нас сквозь толпу к некой двери, на которую я бы и внимания не обратил.

— Стойте здесь, а как только откроют...

Он был действительно хозяйственный мужик, мы оказались первыми, а столиков мало, все толпились вокруг большого общего стола, а мы на захваченный нами плацдарм натаскали всего-всего. Было очень красиво и обильно.

Сидели мы впятером, потом к нам подсел очень знаменитый московский писатель, с которым у меня после доклада завязалось нечто вроде близкой дружбы — что-то меж нами пролетело, а Тина, как я заметил, положила на него глаз.

Нам было очень хорошо. И чем дальше, становилось все лучше.

Наш столик оказался рядом с эстрадой, у микрофона один оратор сменял другого — питерцы, москвичи, евроазиаты, американцы и эти. Все говорили о том, как замечательно прошла конференция и что мы не отдали и ни за что не поступимся нашей Свободой и Демократией. Читали стихи и, кажется, пели.

К нам подошел знаменитый питерский писатель с бородой, тот самый, у которого в ночном поезде из Москвы возникали сексуальные фантазии. Тина ему о них напомнила: «Как, мол, сейчас — не возвращаются?». Он решительно отрекался.

— Я два часа растаскивал чемоданы по всему составу, — сказал он, поглаживая бороду, — и со мной вообще такого не бывает.

Я не стал ему возражать, хотя хорошо помнил, как он сидел на чемодане и эти фантазии озвучивал.

— У меня возникла идея, — сказал я своим собутыльникам, — можно бы подойти к микрофону и ею поделиться, но я еще недоформулировал, а потому предложу только вам. Понимаете, в чем дело... Есть какая-то историческая несправедливость в том, что этот город фантастически прекрасен, а наш столь же фантастическая помойка. Что если совершить обмен? Причем, не из столичного хамства, а для выявления духовной глубины всей нашей гигантской территории?

— Что на что будем менять? — спросил мой московский приятель.

— Помните, на месте конного императора у Мраморного дворца стоял когда-то броневичок и на нем было написано: «Смерть капиталу!»? Его увезли, там, где он сейчас, ему, очевидно, и место. Значит, в принципе такой обмен-передвижка возможен?

— И что вы предлагаете? — спросил знаменитый питерский писатель, он почему-то от нас не уходил.

— Я думаю, конному императору место у Кремлевской стены, там, где Мавзолей. Представьте — Красная площадь, а на ней гениальная лошадь и... Вот где ему место, и сразу будет понятно, что такое страна, в которой мы живем, и где нас в конце концов закопают. А то сейчас совсем ничего не понять.

— Императоры были только в Питере, — сказал питерский писатель, — они здесь рождались, здесь их убивали или просто хоронили. А ваш Мавзолей нам уж точно не нужен. Двигайте его на свою свалку. Если когда-нибудь дозреете.

— Выходит, мы обречены на современный скульптурный кошмар, который покроет нас, как саранча, — сказал я, — и ничего нам не светит?

— Надо жить по средствам, — сказал мой московский приятель, очень хозяйственный мужик.

— Давайте вырубим микрофон, — сказал я, — он бубнит в ухо, не дает сосредоточиться, а потому я, наверно, и говорю несообразности.

— Он только что обратился к тебе непосредственно, — сказала моя барышня, — послушай...

— Повторяю... Руководитель делегации десятичасового поезда, выходите вместе с вашими делегатами, чтобы проследовать к автобусу. И счастливого вам пути!..

— Обождут, — сказал я, — здесь близко, а без меня не уедут.

Мы еще выпили, а потом долго прощались.

— Как жалко, что мы расстаемся, — сказал мой московский приятель, — мы бы продолжили в поезде, и ты бы доформулировал. У меня коньяк, а у нас сложилась традиция.

— У тебя есть собутыльники, — сказал я, — твой очаровательный помощник, Тина и знаменитый московский писатель, а у нас, прости, всего лишь «СВ». Но мы, — бес тактно добавил я, — наконец-то останемся вдвоем.

— Прости и ты меня, — сказал мой московский приятель, очень хозяйственный мужик, — но мы едем не с нами, а через час после второго — третьим поездом. У нас тоже «СВ» и мы уж точно будем вдвоем. Я покупал билеты самостоятельно и не участвовал в вашем колхозе.

Таким людям, несомненно, принадлежит будущее, подумал я.

Потом мы пробивались сквозь веселую толпу. Оказалось очень много знакомых, полузнакомых и совсем незнакомых питерских коллег. Мы о чем-то говорили, сокрушались, что не успеем договорить, нам дарили книги с трогательными автографами, и когда мы наконец выбрались на лестницу, у нас в руках оказалась целая библиотечка.

Лестница была пуста, членов своей делегации я не увидел.

Мы спустились и открыли парадную дверь. Автобуса возле нее тоже не было.

Да, автобуса не было, и Невский — на сей раз Невский, а не Фонтанка, — был пуст. Не то чтобы совсем пуст, пустым он, как известно, никогда традиционно не бывает, но двигались совсем не те — чужие автобусы, шуршали троллейбусы и разных марок машины.

— Куда он делся? — задал я вполне риторический вопрос. — Может, тут есть какой-то двор? Наверняка — он не мог загораживать проспект, а потому..

Двора я не нашел и вернулся в особнячок. Мне объяснили, что автобус давно ушел.

— Без меня? — спросил я и не получил ответа.

— Осталось пятнадцать минут, — сказала моя барышня и уточнила: — До отхода поезда.

— Перейдем улицу и возьмем машину. Здесь и пешком пятнадцать минут.

Мы довольно быстро остановили машину.

— По-моему, это свинство, — сказал я, усевшись.

— Тебе говорили, предупреждали, но ты так разошелся с лошадьё и Мавзолеем...

Мы выскочили на площади у вокзала. Автобуса не было. То есть были, были автобусы, но ни одного с красными полосами. Не могли же их успеть переокрасить?..

Я все-таки сунулся в один, другой — или было закрыто, или водители не могли понять, чего я от них хочу.

Оставалось десять минут. Даже меньше. Мы кинулись в вокзал.

— У меня там все документы... — говорила она на бегу.

— А у меня бутылка и ключи от московской квартиры. В дом я не попаду. Впрочем, можно сломать дверь...

На пустом перроне стоял наш поезд. Никто никого не провожал.

«СВ», как известно, в середине состава, а составы у нас длинные. Мы добежали. Из окон торчали головы евро-азиатов, они махали нам руками и что-то лопотали на своих языках. Никаких вещей возле вагона не было.

Я кинулся к проводнику. Никто ему вещей не оставлял.

— Ты можешь хоть чуть по-ихнему? — спросил я.

— Попробую...

Они о чем-то разговаривали. Слишком долго.

— Все очень взволнованы и за нас страдают... — переводила она, — говорят, что водитель спрашивал про наши вещи, но все отказались...

— Что ж они, попугай, вместо того, чтоб страдать, не могли взять сумки?

— А зачем им наши вещи?

— Ладно, — сказал я, — устраивайся, а я еще раз сбегаю на площадь.

— Я не могу без паспорта, — жалобно сказала она, — меня дома убьют, я уже дважды его теряла...

Я сунул ей книги и побежал. За мной кинулась, прыгнув со ступенек вагона, иностранка. Ей было под восемьдесят, она сильно хромала и тащила тяжелую сумку.

— Я вас покажу... — говорила она на бегу, — я знаю автобус, он имеет место там...

Я попытался взять у нее сумку, чтоб ей было легче бежать, но она посмотрела на меня с таким ужасом, что я тут же руку отдернул. Она еле переставляла ноги и меня задерживала. Наверно, из «Красного Креста» или из «Врачей без границ», подумал я, может быть, шведка, во всяком случае, что-то по-ихнему залепила.

— Он не стоит, где место, — сказала она, когда мы наконец выбежали на площадь.

Оставалось три минуты. Обратю я ее уже тащил, но притронуться к сумке она не позволила.

Моя девушка стояла на ступеньках вагона рядом с проводником.

— Я надеялась, ты их найдешь.

— Я тоже. Что теперь?

— Вагон потрясающий. Наше прошлое «СВ» по сравнению с этим — товарняк. Бархатные диваны, и уже предлагали завтрак.

— Что ты решила?

— Знаешь что... — сказала она.

Таких глаз я у нее еще не видел. Они засверкали, порыв ветра рванул золотые волосы...

Господи, какая она красивая! — подумал я.

— Решай-ка ты сам эти проблемы, — договорила она.

Еще какое-то мгновение я смотрел на нее, не мог оторваться.

— Остаемся, — сказал я, — оставь им книги, пусть просвещаются. Да пошли они со своими диванами и завтраком...

Она тут же спрыгнула со ступенек. Евро-азиаты торчали во всех окнах, что-то возбужденно говорили и почти плакали.

— Скажи им, что мы остаемся, что мы на своей земле и для нас это обычное дело.

Она им что-то говорила, они ей возражали, непонятно кричали хором и жестикулировали.

Поезд двинулся. Мы им помахали, они все еще тянули к нам руки из окон — демонстрировали солидарность. И тут я впервые по-настоящему обозлился.

— Профурсетки, — говорил я, скрежеща зубами, — да наша Клава в тысячу раз их лучше — этих красоток и стюардесс! Почему они сюда не приехали?

Она держала меня за руку и смеялась — весело, звонко, счастливо...

— Ты такой смешной, — говорила она, — ты так смешно злишься...

— А если б я не отдал тогда в автобусе наш коллективный билет? — вспомнил вдруг я, — где б они сейчас все были — эти страдающие за нас правозащитники?..

Мы взяли машину и через пять минут тормознули возле особнячка на Невском. Слава Богу, не доехали до Аничкова, а то бы опять Фонтанка.

У тротуара стояли автобусы, из дверей особнячка вываливались питерские коллеги, наши, евро-азиаты и эти. Пьяные, веселые и очень довольные жизнью.

— Господи! — крикнула Тина. — Вы решили остаться? Или не уезжали?..

И тут я увидел питерскую распорядительницу.

— Я всегда знал, что Петербург — чудовищный город, — сказал я ей жестко, — но что его красотки бросают в беде несчастных путешественников...

Она заплакала. Настоящими, горькими, детскими слезами...

Делегаты уже лезли в автобус с зелеными полосами. Краснополосый одиноко стоял в сторонке. Двери открыты, наши сумки валялись у входа.

«И ни одна питерская сука не сообразила оттащить их к поезду...» — бормотал я.

Я распотрошил свою сумку, вытащил последнюю, на ночь припасенную бутылку, сорвал пробку...

Я пил из горла на тротуаре Невского и постепенно приходил в себя.

Рядом плакала питерская красотка. Я опомнился.

— Хочешь хлопнуть? — и протянул ей бутылку.

Она отчаянно замотала головой, размазывая по щекам слезы.

— Твой прокол ничего не значит, — я обнял ее за плечи, — он нормален для такой красивой женщины — вы все такие. Это вас украшает — понимаешь? К тому же, если б не так, мы бы больше не встретились — представляешь, какой ужас!..

Я встал на колени посреди Невского проспекта. Не успевшие забраться в автобус евро-азиаты и наши толпились вокруг.

— Приезжай в Москву, — говорил я, — это не такой уж плохой город, хотя там нет Фонтанки, Мойки и чижика. Но мы встретимся — и мало ли что?..

Она улыбнулась сквозь слезы. Мы поцеловались.

И тут я услышал шепот Тины.

— У меня два свободных купе, одно — ваше. Компенсация за твои переживания...

Дальше был битком набитый автобус с зелеными полосами, все тот же вокзал, перрон, другой поезд. Тина запихивала в вагоны евро-азиатов и этих, за ней неотступно следовал доверчивый кореец, которому предстояло попасть вместо Сеула в Стамбул...

— Я отправила знаменитого московского писателя карулить наше купе и никого туда не пускать, — сказала Тина.

— Ваше или наше? — спросил я, но она почему-то не ответила.

Я видел все не слишком четко. Помню только, что очень знаменитый московский писатель лежал в какой-то невероятной позе: голова к двери, длинные ноги перегораживали купе.

Поезд двинулся.

Вчетвером мы лихо допили мою последнюю бутылку, передавая ее друг другу. Из горла.

— В ресторан, — сказал я решительно, — немедленно. Я угощаю. У нас ведь остались деньги — верно?

Моя девушка нежно улыбалась, смеялась, и я подумал, что она, пожалуй, создана для поезда, а не для гостиницы. И не для «СВ».

Мы шли длинным составом, проходили вагон за вагоном, тамбуры грохотали...

Поезд был, несомненно, другого класса: не ресторан — стоячка, высокие столики, а в буфет длинная очередь. Торговали водкой в розлив, горячей солянкой и всякой несерьезной закуской. Обзор загораживал толстый, чернявый с проседью, с висячими густыми усами, очень смуглый...

— Кубинский писатель, — шепнула мне Тина, — по-нашему ни слова...

— Скажи ему: он похож на пирата из Стивенсона.

Тина перевела.

Пират неожиданно побагровел, что-то быстро наговорил Тине и сжал кулаки. Тина испугалась.

— Он говорит, что твое место на кладбище, и готов помочь тебе туда отправиться... Что делать?

— Он для того сюда и приехал? — удивился я. — Тогда в нашей конференции был глубокий смысл.

Тина что-то принялась ему объяснять, он затих и взял две банки пива.

— Сейчас мы его научим свободу любить, — сказал я.

Мы взяли две бутылки водки, попросили пять порций солянки и что-то, не вспомнить уже, по мелочи.

Солянка на нас кончилась, а потому нам вылили остаток из кастрюли в одну большую миску и выдали четыре ложки.

— Зови своего Стивенсона, — сказал я Тине и взял пятую ложку.

Разговор был сумбурный, не вспомнить, водка и солянка на всех сработали. Стивенсона мы в конце концов расположили, братались с ним, хотя он буркнул Тине, что

такое пошло — нашу солянку, из таких мисок у них едят только свиньи. Потом он совсем разошелся, облизывался на наших девушек, но, разобравшись в ситуации, признался, что мне очень завидует.

— Это тебе изысканный комплимент, — объяснил я своей барышне, — но мне он все равно не нравится.

Потом кубинец исчез, и мы про него забыли.

— Понимаешь, — говорил я очень знаменитому московскому писателю, — мне не удалось на банкете доформулировать свою мысль — микрофон мешал, но на ихней Фонтанке я что-то понял, нечто очень важное для себя и вообще.

— Главное — вообще, — поддержал он меня.

— Дошло! — обрадовался я. — Если мы живыми доберемся до нашего купе, я вам все объясню. Здесь все-таки неуютно...

Как ни странно, мы добрались, хотя это было очень долго, кто-то из нас застрял в тамбуре, скорей всего, застрял я: хорошо помню грохочущий карцер на колесах... В конце концов они обо мне, очевидно, вспомнили и спасли. Я вышел на свободу, моя барышня встречала меня у ворот тюрьмы, у нее были удивительно сияющие глаза, мы нежно целовались и оба были счастливы...

Вообще, как ни странно, эта ночь показалась мне очень счастливой, хотя про отдельное купе для нас Тина даже не обмолвилась. Наверно, там поселился доверчивый кореец из Стамбула. Или у нее что-то не сложилось со знаменитым московским писателем. Всякое бывает.

Но я держал нить и, как только мы утнездились в нашем общем купе, стал ее раскручивать. После нескольких бутылок бывают такие навязчивые идеи.

Водки, к моему счастью, больше не было, иначе едва ли мне суждено было проснуться.

Я обращался к очень знаменитому писателю, чем-то он меня зацепил еще на моем докладе.

— Я понял в этом городе удивительную вещь, — начал я, — но никак не могу ее до... доформулировать.

— Давай утром, — сказал он, — да и как уложить столь важное в одну строку?

— А если попробовать? Как ты думаешь, чем есть стоит и живет эта земля? Хотя бы тот город, в котором мы были, и тот, куда, надеюсь, доберемся?

— Трудно вогнать в одну строку, — повторил он, — тома написаны.

— А если — верой? — настаивал я. — Нет, я сейчас не о православии, едва ли после того, сколько мы выпили, следует... Да ты мне сразу бы об этом и напомнил. Я о другом... Тут, понимаешь, очень сложная ассоциация.

— Тогда о чем? В докладе ты придумал зайца, и хотя он едва ли имеет прямое отношение к теме — там было что-то, о чем можно подумать.

— Не я придумал, а Битов, — сказал я, — и имеет он отношение только к тому, что всегда хочется оправдать собственную несостоятельность. Я не про Битова, а про зайца. Надо было, кстати, заменить зайца чижиком, было бы глубже. Но я его тогда еще не видел. И я не о том.

— Может, будем укладываться, — взмолился мой собеседник, — и девушки наши приуныли...

— У нас впереди ночь, — сказал я, — когда мы еще все так...

Моя девушка держала меня за руку, ее рука была горячая и нежная.

— У меня есть товарищ, — начал я, — я знаю его больше тридцати лет. Славный мужик. Молодой, красивый, азартный — усы, как у этого кубинца, но... Но это совсем разные цивилизации — мы, скажем, населяем Вегу, а он с этой, как ее...

— Альфы-Центавры, — сказала моя барышня.

— Ты так легко ориентируешься в астрономии? — удивился я.

— Я люблю ночью смотреть на звезды, — сказала она.

— А что ты еще любишь делать ночью? — спросил я.

— Не скажу, — она крепко сжала мне руку.

— Хорошо, — сказал я, — пусть Центавра. Сколько надо жарить такую жирную заокеанскую говядину, чтоб получилось хоть что-то путное и съедобное?

— Я предпочитаю баранину, — сказал мой терпеливый собеседник, — такой кубинский писатель вообще едва ли хоть когда-то будет съедобен.

— Вот именно. Мой товарищ, о котором я хочу вам рассказать, тоже, кстати, писатель, — я не терял нить, — но дело в другом. Чего-чего только у него в жизни не было, как его ни жарили и чем только он ни занимался. А сейчас они с женой держат детский дом на Маросейке.

— Тут ты, может, и прав, — сказал знаменитый писатель, — тому кубинцу я бы детей не доверил.

— Я об этом. И вот мы как-то недавно отправились с ним за картошкой для их детского дома в город Калязин. В ту самую Тверскую область, мы сейчас по ней уже, наверно, едем — помните, я вам о ней рассказывал? — обратился я к моим девушкам.

— Ты нам рассказывал, какие там произрастают женщины, а не про картошку, — сказала Тина.

Выходит, она тоже слушала.

— А сейчас я про картошку. У него там — у моего товарища, под Калязином все схвачено, а картошка дешевая. Они туда летом вывозят своих детей...

— Деловой товарищ, — буркнул знаменитый писатель.

— Не то чтобы деловой, а тем более, не разворотливый, но азартный. Сердобольные иностранцы подарили их детскому дому джип «Чероки». Мы поехали втроем, с водителем. Они рулили по очереди — день один, день другой. И пили по очереди. А я бессменно.

— Ну а картошка?

— Погодите, дело не в картошке. Приехали в Калязин, посмотрели церковь — знаете, каланча торчит посреди Волги?

— Известная картинка, — сказала моя барышня, — по телевизору сто раз показывали.

— Верно. Едем в деревню. И мой товарищ рассказывает. Тут, мол, новый священник, церковь только открылась, молодой, хозяйственный, ласковый, бабки не нарадуются — дождались. У него одна слабость — запойный. А как выпьет, залезет на березу и... лает.

Ладно врать, говорю я ему, это в тридцатые годы такие байки сочиняли безбожники. Он промолчал.

Приехали в деревню — и к тетке Тамаре. Встречает, как родных, ведет в избу, ставит на стол щи из квашеной капусты, жареную картошку, бутылку самогона.

Разговор душевный о том, о сем. О картошке. У меня, мол, целый подпол — забирайте.

Мы похлебали щи, выпили, самогон забористый.

«А как новый батюшка? — спрашивает Тамару мой товарищ, — служит?» — «Ой, — говорит, — такой батюшка хороший, жизненный, век бы с ним Богу молилась. Сегодня за воскресной обедней проповедь сказал — заслушаешься...»

Мы выпили еще по одной.

«Ну и как он, — не отстаёт мой товарищ, — больше не лаёт?»

Тамара посмотрела на меня. Чужой человек — как при чужом о сокровенном, о самом-самом... Помолчала.

«Знаешь, — говорит, — уже две недели, считай — не лает...»

— Задумайтесь, — закончил я свой рассказ, — может, тут-то нам и удастся хоть что-то понять? И о том городе, из которого мы только что уехали, и о том, куда, надеюсь, доберемся. И о самих себе, кстати. Да и о чем-то вообще.

— Мудрено, — сказал знаменитый московский писатель, — сейчас, правда, едва ли удастся понять, а вот утром — глядишь, и разберемся.

Не зря он такой знаменитый, подумал я, мне бы так ловко этим фольклором не закончить. А он — надо ж, сумел поставить точку.

Девушки расположились внизу. Мы забрались наверх. Сколько еще оставалось той последней ночи?

Я проснулся от того, что мы стояли. Как-то очень прочно, давно. Возле Москвы, что ли?..

В купе темно, шторы задвинуты. Все спали. Я щелкнул зажигалкой: восьмой час. Так мы же вот-вот приедем! Надо их подымать, а то в последний момент начнут метаться...

Будить не хотелось, жалко. Меня еще в тюрьме научили — никогда не буди. Но там понятно: спит, а срок идет.

Я тихонько спустился, нащупал ботинки, открыл-прикрыл дверь. В коридоре тоже тихо, все двери задвинуты.

Совсем светло!.. Возле вагона маячила проводница.

— Подъезжаем? — спросил я.

— Стоим, — сказала она, — уже пять часов стоим и еще неизвестно. Бологое.

— Как... Бологое? Полдороги?

— Подъехали ночью и встали. Там что-то случилось. Слыхали, какой ночью был ветер?.. Наверяд слышали, я видела, когда вы пришли — не до того. Хороши были...

— Только мы стоим? — с надеждой спросил я.

— Все поезда стоят. Один за другим.

— А тот, что перед нами отошел — за час?.. — вот что мне надо было знать!

— Сказано: все стоят. Там что-то с проводами. От ветру.

Подошел мужичонка с большой сумкой.

— Пива не желаете? Свежее.
— Сколько стоит?
— Пять рублей бутылка. «Балтика», третий номер, свежее.

— Чего так дешево — украл, что ли?

— А ты прокурор?

— Сколько у тебя в сумке?

— Десять бутылок.

— Давай с сумкой, а то тебя заметут.

Я вернулся в темное купе, прикрыл дверь, поставил сумку. Она звякнула.

Присел у нее в ногах. Потом нашарил на столе открывалку. Бутылка пискнула. Я глотнул свежего-светлого.

— Я слышала, как ты выходил, — сказала она в темноте. — Где ты был?

— На Фонтанке, — сказал я, — видишь, пью... Это Бологое, опаздываем уже на пять часов. И наш поезд, тот, в котором у нас с тобой супер-вагон, тоже стоит. Представляешь, — могло быть еще пять лишних часов! Это сколько ж минут — если пять помножить на шестьдесят? И все были б наши...

— Бедный чижик, — сказала она.

ДЕДУШКИН
СОН

Уже много лет, практически каждое утро начинается для меня скверно, хотя когда-то я просыпался с улыбкой. Так ли было на самом деле, я не знаю, мне говорила об этом мама — значит, в раннем детстве, а потом кто-то еще, с кем мне удавалось просыпаться. Но и это было очень давно, уже не вспомнить, кто мне об этом говорил. Но что-то такое было.

Последнее десятилетие я с трудом продираю глаза, состояние мое бывает ужасающим, и я всякий раз понимаю, что если в считанные минуты не окажусь там, где меня могут спасти, следующего утра мне попросту не дожидаться.

Ситуация эта знакома многим моим приятелям, и дело тут всего лишь в том, что вечером мы перестали употреблять напитки, существующие только в дикой и живой природе: так, скажем, когда-то мама давала мне на ночь молоко с медом, потому я и улыбался, просыпаясь, а когда перешел на нечто, вырабатываемое с применением более сложной технологии, не имеющей к дикой и живой природе никакого отношения, все мгновенно изменилось. Технология эта на самом деле не столь уж сложная, хотя по неведомым причинам обходится налогоплательщику безумно дорого, просто все, что он, налогоплательщик, имеет, крадет или как-то зарабатывает, на поддержание этой технологии и уходит. Какая по утрам может быть улыбка после употребления вечером, а порой и полночи, продукта этой самой технологии? Живым бы остаться.

Да, все эти проблемы существовали для меня давно, я к ним притерпелся — обыкновенная житейская ситуация и проблемы вполне заурядные, все с ними, так или иначе, но сталкиваются. Я хорошо знал, что меня может спасти, а потому торопливо, приведя себя в некий приличный вид, отправлялся...

Что тут объяснять, каждому понятно, все через это проходят. А какой еще может быть выход? Делать запасы,

скажем, с вечера?.. Это нереально. Бегать я бывал не в состоянии, кое-как спускался с лестницы, в любую погоду, главное, не поскользнуться: упадешь — не встанешь, и так, шаг за шагом, продвигался к месту назначения...

Тяжкая ситуация, но такая заурядная, что и говорить неловко. Можешь — не можешь, идешь — куда деться, ноги сами ведут, как лошадь в это самое... Добирался...

Тут не забыть еще один момент — сны. Глаза, откроешь — где ты? Какие-то обрывки, словно бы повторяющиеся, черно-белые, цветные, с чем-то связаны — а с чем?.. Нет, не понять. А другой раз — сюжеты, да такие реальные, такое порой показывают — мать моя, мамочка! Не вспоминаешь, забудешь, а они снова лезут, обрастают подробностями — то же самое... Нет, другое, просто похоже. Но зачем, почему, откуда все это? Опять что-то я не смог, не сумел, кому-то что-то обещал, должен, не отдал, с кем-то что-то не так вышло... *Я опоздал. Мне страшно. Это сон.*

Так было или не было?.. Вон самый нескончаемый мой сон — *тюрьма*. Да писал я, писал об этом — вот это *сон!* Да быть того не может, чтоб со мной на самом деле! Огромные камеры, битком набитые людьми — на обшаче до восьмидесяти, ста человек: грязно-коричневая «шуба» на стенах, забранная решетками, а снаружи загороженные ржавыми «ресничками» окна, они и зимой не пропускают воздуха, а если жаркое московское лето... Разноцветное месиво, скопище людей, совершивших самые дикие, бессмысленные, невообразимые преступления, а порой перед законом неповинные или всего лишь распушенные... И так месяц, два, три, шесть, двенадцать... *Нельзя дышать, и твердь кишит червями...*

Сон, конечно, сон. Но ведь на самом деле — реальность, *правда?* Более того, русская тюрьма — это вообще некая метафора нашей жизни. Та же самая российская жизнь, просто доведенная до абсурда, до бреда, до несомненной нереальности. *Ад*, созданный руками человека, освободившегося от веры, царя, отечества, строящего *рай* на земле... Это шестнадцать лет назад, когда я там был, мы все еще его — рай, таким строили. А сегодня — *что* сооружаем?

Та же самая наша обыкновенная жизнь, показанная как бы под неким увеличительным стеклом, жестко и точно, безо всякой идеологии или романтической сентиментальности. И сами стены, и мычащая разноцветная толпа, и дикие бессмысленные преступления, и циничный пра-

вовою беспредел. Прошлого не было, будущего не будет — вот она, настоящая жизнь.

Что ж это — сон или реальность?.. Я, *видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...* Но разве я сейчас об этом? Я о том, как мне справиться с тем, что сегодня, сейчас, этим утром... Я и так задержался: стал шнуровать ботинки и зачумал — сплю или обычное дело?..

Мадам литература, думаю, ну как от нее отвязаться... Ладно. Хватит. Я о другом.

Обычно, добравшись, я стоял у пивного ларька, тянул из кружки пиво и ждал, когда произойдет чудо. Оно приходит после второй кружки, первую пьешь с наслаждением, но и с трудом, зубы стучат о край и еще десять лет назад я глотал пиво вместе с кусками стекла, зубы у меня были крепкие, а потому редко удавалось вернуть кружку в сохранности. Последние годы я прикасаюсь к ней с нежностью — целую ее, это правильно и в высоком смысле: не кусай грудь матери своей, сказано нам, но есть тут и более простое объяснение: у меня начались проблемы с зубами, а потому кружку мне, пожалуй, уже не прокусить.

То есть я хочу объяснить, *как все это началось* — да не о бытовухе я говорю, Бог с ней, действительно, со всеми происходит, а то самое, настоящее, может и драматическое, я уже как-то писал об этом... Но была ли в тех моих версиях правда? Не знаю, думаю, все было не совсем так, вернее, совсем не так, да и что такое *правда*? Во всяком случае, сейчас она видится мне другой.

Итак, в тот раз — теперь я помню это твердо, о том и повествование, япил вторую кружку, закрыл глаза, зная, что когда, допив, глаза открою, *оно* и произойдет. Оно и произошло, но совсем не так, как я того ожидал. В первое мгновение я был настолько ошарашен, что тут же зажмурился, а когда глаза открыл...

Да, когда я их снова открыл, то увидел, что стою напротив железнодорожной платформы, мимо только что прогрохотал поезд, я глотнул горячий пыльный ветер, а на платформе было написано...

Господи, подумал я, но ведь я помню, что заснул у себя дома, в центре Москвы, на Тишинке, и если даже спяну свалился где-то еще, то ведь проснулся несомненно в своей квартире... Как же! Я только что чистил зубы собственной щеткой... Впрочем, все щетки одинаковы — чья ж это была щетка?..

Итак, в тот раз — не когда-то, а в тот раз! — я стоял у пивного ларька, рядом со мной толкались мои всегдашние — или похожие на них, собутельники, а напротив платформа и написано на ней было «Кратово»...

Почему — Кратово, с какой стати вдруг — Кратово?.. Да, есть, есть у нас в Подмоскovie такое место, мне оно хорошо знакомо, я прожил там множество лет — зимой и летом, захватывал весну и осень. Да я с рождения знаю этот поселок, я и родился... Нет, все-таки, я буду ближе к истине: родился я на Молчановке, у Грауермана...

Такая, кстати, странная история: куда ни кинь, большинство моих друзей-приятелей начали свою жизнь непременно у Грауермана, причем не только мои ровесники, но и те, что моложе лет на тридцать-сорок. Поразительное место, да и дом вроде небольшой — трехэтажный... Но именно тогда, в тот раз, стоя у пивного ларька, я представил себе великое множество запеленутых младенцев — девочек и мальчиков, их выносили и выносили в разноцветных конвертах и одеяльцах, а потом, спустя время, они становились дяденьками и тетеньками, разбредались по нашему гигантскому городу, где-то мы друг с другом пересекались, любили, дружили, ссорились и мирились... Кто ж истинный отец города, почему нет ему памятника? Как же, есть, стоит по сю пору, не забыть-узнать, что там в нем сегодня, на этом кошмарном Новом Арбате...

Ну, хорошо, с местом своего рождения я в тот раз кое-как разобрался, но сейчас *что* меня забросило в Кратово и зачем, может, не случайно, а те, что рядом — пьют, базарят, тоже что ль оттуда, от...

— Слышь, отец, — прервал мои глубокие размышления высоченный, под два метра, бородатый мужик, пиджак и штаны были у него в зеленой краске, глине и желтых листьях — такая палитра! — где-то рядом ночевал, — у тебя не найдется на кружку, я тебе завтра отдам.

— Я не местный, — сказал я, — завтра меня тут не будет.

— Тогда ближе к вечеру. Я крышу красил одному еврею, он со мной не рассчитался. Вечером подойдет.

— И ты ему поверил? — спросил я.

— А куда он денется? У меня ключи от его дома, если что, я ему так там разрисую — мало не покажется... Да пс с ним, разберемся. Слышь, а может, и тебе какую-никакую работу? Я все могу: хочешь забор поставлю-покрасшу или

какая столярка, рамы или чего другое? А может, тебе крыльцо поправить — хочешь с балясинами?

— Нет, — сказал я, — не нужно с балясинами.

— Ну какая-то работа всегда есть, я тут одному такой камин заворотил, он от него не отходит, крыши нет, сидит у камина хоть в дождь, хоть...

— Нет, — сказал я, — зачем мне камин, у меня ни земли, ни дома, хотя бы и без крыши. Когда-то было дело, жил-поживал и в дождь, и под снегом.

— Так о чем базар, — не отставал мужик, — давай дом поставлю? Я тебе так скажу, ты слушай сюда. Сейчас мы по пиву ударим и у того еврея кусок земли оттяпаем, а я тебе там такие хоромы заверну... Нет, ты не подумай, что я за ради халявы, у меня баба архитектор, она и проект нарисует и материалом обеспечит, а все остальное я беру на себя... Договорились?

Я посмотрел на него внимательней: красивый мужик, волосы сзади схвачены ленточкой, как у художника, борода нечесаная, запущенная... Нет, скорей, похож все-таки не на художника, а на фольклорного разбойника с большой дороги... Впрочем, кто его знает, но едва ли он ночевал здесь, у пивного ларька: красил крышу, заляпался, на крыше и переспал...

— А как ты ее оттяпаешь — землю? — заинтересовался я.

— Проще некуда, — сказал свалившийся с неба мой благодетель-разбойник. «Хочешь, чтоб твой курятник в одиночестве не сгорел?» — это я ему врублю, моему еврею. Он, само собой, не хочет. Тогда, мол, делись землей... А у него участок — полектара, лес непролазный, нехоженые места, нога человека не ступала, он только вокруг крыльца ходит, а старуха его и вовсе на терраске сидит, кофий пьет, не спускается. Им ничего не надо, а ты чего-ничего ему подбросишь...

Какая-то была в нем странность, в этом мужике, не похож на обычного моего собутыльника у пивного ларька: шарфик, что ли, меня смутил? Шарфик был явно из дорогого магазина.

— Хорошая идея, — сказал я, — но тут одного пива не хватит разобраться.

— Вот и я о том, — воодушевился мой новый знакомец, — начнем с пива, а потом...

Вот тут она и подошла. В этот момент. То есть на самом деле она шла мимо, но об этом я узнал позже. Она шла прямо к пивному ларьку, и мне показалось...

День был сумрачный, сентябрь, уже летели листья, низко над нами свинцовая туча, вот-вот польет — но вдруг, как только она подошла, брызнуло солнце...

Я протер глаза.

Она была в джинсах, и они были ей к... К чему могут быть джинсы? Едва ли к лицу — а как сказать иначе, чтоб было, скажем, прилично? Короче, они ей шли и ее украшали.

— Давайте к нам, — сказал я, — мы с другом решили еще по кружке, он вчера пошабашил, разбогател, а у меня такое удивительное приключение, что не понять и не объяснить.

— Что за приключение? — она вытащила сигареты и закурила.

— Ну как вам сказать... — я даже растерялся, никак не ожидал, что такое приличное существо в джинсах притормозит у нашего пивного ларька; чем-то мы ее, видать, зацепили. — Как вам сказать, чтоб вы... Сегодня утром я думал, оно у меня последнее, а сейчас понимаю, все только начинается — разве не так? Должен был полить дождь, а нам подарили солнце, мне не с кем было перемолвиться, но я встретил друга, а когда из ниоткуда возникли вы...

— Я с электрички, — сказала существо, — чего удивительного? Приехала по своей надобности...

— Хотите, я расскажу откуда вы и куда? — спросил я, чувствуя, что волна подлинного вдохновения поднимается выше, выше...

— Валяйте, мне спешить некуда, я приехала пораньше, потому как...

— Слышь, — оборвал ее мой новый друг в перепачканных штанах, я насчет пивка...

— Оно и кстати, — сказал я, — познакомьтесь с моим старинным другом, у него сегодня тоже событие и по этому поводу, да еще в такое прекрасное утро, мы втроем... Как вы насчет того, чтобы на троих?

Она засмеялась... Как она смеялась!.. Сияли, смеялись ее глаза, губы, под джинсами смеялось... Хорошо, на ней джинсы, подумал я, а если бы у этого ларька она оказалась, скажем, в короткой юбке...

— Иван, — сказал мой приятель, и протянул ей перепачканную зеленой краской лапу.

— А я ... — сказала она, перестав смеяться, неожидан- но очень серьезно...

Вот это, последнее, меня тогда и сразило... К сожалению, я не могу по вполне понятной причине назвать ее подлинное имя, но поверьте, оно прекрасно... Да, именно так я тогда и подумал: «Какое прекрасное имя!» И тем не менее, хотя, как вы несомненно догадались, именно она и является героиней этой истории, я не смогу его произнести... Да, оно из самых удивительных русских имен. Заменять его я тоже не стану, все в моем сочинении тогда изменится и будет ложью...

Она была похожа на странную птичку, я назвал ее про себя «Пичугой». Или, если пожестче — «Птахой».

— Что ж, у меня есть время, — сказала Пичуга-Птаха, вытащив руку из перепачканной лапы Ивана, — я приехала на день рождения к школьной подруге, но так давно не была за городом, что буду рада погулять.

— Все сходится, — сказал я, — сейчас Иван сбегает в магазин и мы втроем...

— Зачем в магазин, — возразила она, — то есть, я хочу сказать, зачем *сейчас* в магазин? Я приехала на праздник, а подарок купить не успела, захватила бутылку «лимонной» — мы с подругой другую не пьем. Но ведь здесь в магазине есть «лимонная»?

— Всегда, — не моргнув глазом, вдохновенно соврал Иван, едва ли в Кратово хоть когда-то завозили «лимонную», — мы выпьем вашу, а потом...

— Отлично, — она открыла сумочку: обыкновенную дамскую сумочку — как в ней уместилась бутылка?..

— Ваня, — сказал я, — у тебя на самом деле ключи от того дома?

Иван покопался в одном кармане штанов, в другом он копался так долго, что я начал сомневаться — чешет, что ли? Потом он плюнул и вытащил ключи из рваного пиджака. Позвенел ими.

Я забрал у него ключи.

— Все сходится, — сказал я, — и поверьте, эти совпадения не случайны. Двадцать пять лет назад вы родились на Молчановке, у Граурмана — верно? А сейчас этими ключами мы откроем его — этого самого Граурмана, дом, крышу которого Иван вчера покрасил, и разопьем на троих вашу бутылку. Дальше будет видно.

— Разве он жив, — спросила она, — я имею в виду Граурмана? Я родилась двадцать девять лет назад, вы немного ошиблись, спасибо, но, действительно, на Молчановке —

как вы догадались? Правда, я всегда думала, это просто старинное название, как «Елисейев»?

— Грауерман — вечен, — сказал я, — как солнце, луна и звезды, а как бы без него происходило бесконечное воспроизводство народонаселения в нашем древнем городе? Мы все оттуда — я, вы и мастер на все руки — Иван.

— Я егорьевский, — сказал Иван, ему явно нравилась наша беседа, — мы там в натуре посидим — у этого, как вы его величаете... Стаканы у него есть, а пошуровать, мы еще чего-ничего отыщем. А если он станет возникать, я его так разрисую...

В конце концов мы добрались: калитки не было, или была, но мы ее не искали, пролезли сквозь пролом в заборе, открыли дверь — захламленное, не убранное после лета дачное жильё. Сидели на кухне, я разлил по стаканам «лимонную», а Иван раскопал в разломанном сундуке древние консервы, наверно, они были получены Грауерманом еще по ленд-лизу — из стратегических военных запасов. Американская тушенка! Наша барышня очень смеялась, когда Иван ловко вскрывал банки топором, к ним не притронулась и закусывала пожелтевшими перьями лука с грауермановского огорода и сморщенными яблоками — Иван собрал их под старой яблонькой.

Что было дальше — не вспомнить, не писать же о zaseвших в моей памяти *подробностях*, мама, вспоившая меня молоком и медом, внушила мне нечто этому противящееся, чего порой недостает авторам замечательной современной прозы. Да и зачем, разве в подробностях суть? Помню только, что Иван бегал и бегал в магазин, было нам хорошо, чем дальше — все лучше, и Птаха на день рождения к школьной подруге так в тот раз и не попала.

Мне и до сих пор не понять, как я оказался в Кратове, есть вещи необъяснимые, алгебре не поддающиеся, думаешь, думаешь, в конце концов плонешь — да Бог с ними, было, случилось, а как, зачем, почему — стало быть, так и должно было...

Встречались мы с Птахой каждый день — утром, днем, вечером, но наступал час, минута — и она исчезала. Как в сказке про Золушку.

У меня есть часы; висят на стене, большой медный маятник туда-сюда. Когда-то били, потом бить перестали, но тикают и показывают верно. Завод на неделю. Мы купили их с моим товарищем тридцать лет назад в лавке старьев-

щика на Часовой улице. Были в Москве когда-то старьевщики. Часы, как сейчас помню, стоили пять рублей, но нам не хватало на бутылку, товарищ, в ней особо заинтересованный, торговался свирепо, старьевщику надоело, и он уступил. Три рубля стоили часы.

Так вот, как в истории с Золушкой: стоит большой и малой стрелке выпрямиться, образовать вертикаль — Птаха исчезает. Нет ее. Только облачко остается, дыхание, дуновение.

Я стал придумывать выход из этой безнадежной ситуации. Мне нужно было время, целиком и полностью — пласт времени. Проще всего было бы сломать часы... Нет, это не решало проблему. Но на самом деле, хотя это близко уже к тем самым подробностям, которые мама моя упоминать не разрешала, мне нужно было не просто время, а *ночь*. Та самая ночь, когда луна и звезды. На черном небе и под ресницами. Ночь, которая, как известно, пахнет лимоном и лавром.

Последнее не обязательно, попробуй вырастить лимон и лавр на грядке в нашем, простите меня, климате. Ничего, кроме петрушки с укропом. И на том спасибо.

Впрочем, когда ночь, а под ресницами звезды, всегда пахнет лимоном и лавром. Не укропом же, пусть на твоей грядке и урожай. Да, когда ночь... Нет, лучше помолчу, здесь начинаются те самые подробности, а я их намерен избегать.

Но — избегай не избегай, они же существуют — подробности, живут, дразнят воображение... Только ли воображение?

Я догадываюсь, скорей, понимаю, знаю, что литература ра живет и развивается по собственным законам, связана со временем и традицией. Новое время — и вот она новая традиция. Когда-то был, скажем, Карамзин, а потом, через Сологуба к Вите Ерофееву. Большой путь. Но литература литературой, традиция традицией, но ведь — как бы мягче сказать? — и *воображение*, о котором я уже упомянул, тоже существует и во времени утоньшается или, напротив... Вот, скажем, есть на Западе блистательные Генри Миллер и Чарльз Буковски — и о них я уже, помнится, упоминал, а у нас все тот же Витя Ерофеев. Что ж, надо жить по средствам — кому дано, а кому нет. Но если говорить серьезно — разве мы тут сильно оплошали?

Фолкнер, отвечая как-то на вопросы сильно надоевшему ему журналисту — кто и как оказал на него, Фолкне-

ра, особое влияние, кто ему важен из писателей, признался: а я, мол, их — писателей, имен не запоминаю, я помню героев, характеры. Есть, скажем, у одного русского автора герой — Федор Павлович, человек уже немолодой, вот это, несомненно, характер. Его я запомнил — зачем мне писатель? Разумеется, слухавил Фолкнер, не мог не знать имя автора, но ведь и на самом деле не Ивана же с Алешей ему было запоминать, даже не Смердякова — головные герои, выдуманные — идея. Хотя мог бы, пожалуй, вспомнить и Митю... Но если подумать о Федоре Павловиче — разве весь Миллер с Буковски в нем не разместятся?.. Пусть простит меня Витя Ерофеев: такого героя он не написал.

Я о том, что мама моя, несомненно, знавшая Достоевского и, думаю, порой смущавшаяся откровениями Карамазова-старшего, понимала, что глубина проблемы, она именно в этом, взломавшем традицию еще полтора года назад — карамазовском *безобразии*.

Но я не совсем об этом. Я даже не о страсти. В конце концов страсть всего лишь нечто находящееся на нижнем этаже, скажем, сознания. Я о любви, в которой все сразу, все здание — от подвала-погребца до крыши с петушком на коньке. От мерцания глаз до, говоря словами Мити Карамазова, — некоем *инфернальном изгибе*... Как ты это объяснишь?

Никак не объяснить. Но ты умираешь — да не от страсти, Бог с ней — от счастья и нежности, от того, что сердце — именно сердце... Есть такое понятие в анатомии — или это всего лишь поэтический образ, метафора, нечто из Шиллера? Так вот: сердце останавливается и ты ловишь открытым ртом исчезающий воздух — а его нет.

Но разве это все? Есть еще и близость душевная: у тебя никогда не было никого дороже и сокровенней, все пополам, да не пополам — ты готов отдать все, что есть и быть может, ты играешь только в одни, ее ворота, ты всегда адвокат в этом процессе, даже когда сознание застилает боль, ярость, бессилие и в этом своем помрачении ты уже... Нет, ты никогда не сможешь стать прокурором.

Но и это еще не все. Самое трудное здесь — *правда*. Мы же всегда, пусть чуть-чуть, но подвираем, хитрим или лукавим, боимся ли быть искренними, смешными, комплексуем... Правила игры.

А тут никакой игры не было. С самого начала, с самой первой встречи, когда это странное создание *зачем-то* — за-

чем, почему? — притормозило у пивного ларька, вступив в беседу с двумя явными алкашами, не понимавшими, зачем они сами в тот раз там оказались... Притормозила, пошла с ними в какую-то нежилую дачу, отдала купленную на праздник бутылку... Нет, не понять. Впрочем — было ли это?

Она всегда говорила только правду. А я всегда знал, как это невероятно трудно — правда, а потому хотел именно лжи, понимал, что вранье, но ведь оно оставляет надежду — а вдруг правда? Но если ты не просто понимаешь — знаешь, что эти самые мерцающие глаза не лгут, лгать не могут, а потому в ответ на твой прямой и бестактный вопрос эту столь же прямую правду выговаривают... Но ты же ее хочешь — правду? Хочу?.. Да у меня сердце от нее вот-вот лопнет... *Не знаю, решена ль загадка эги заgrabной, но...*

Но это все потом, потом — разве так вот сразу объяснишь...

Понимаете, в чем тут было дело?.. Ночь и день — время принципиально разное. Днем все просто, а потому школу всегда можно прогулять, хотя бы и контрольная работа, в университет и того легче не ходить: наступит сессия — сдашь или провалишься, не беда. Да и работой можно манкировать, особенно если личное для тебя выше общественного. Но это днем — школа, университет, работа. А ночью? Как прогулять ночь? Тут уже не личное сталкивается с общественным, когда выбор прост — общественное подождет! Здесь одно личное противостоит другому. Попробуй выбери.

Надо было искать принципиально иной выход. То есть решать эту неразрешимую проблему с другого конца, как бы наоборот — выбирать не личное, а именно общественное. Ему всегда приоритет.

Птаха служила в музее, а там работа, как известно, дневная — кому ночью придет в голову ходить в музей? Во всяком случае, я таких не встречал.

Предположим, Птаха получает командировку, думал я, на сколько-то дней в места весьма или не слишком, но отдаленные: поезд туда-сюда, день отъезда, день приезда, и работа на все дни. Нормально, комар носу не подточит. Обман, само собой, и в конце концов опять в пользу личного. Но ведь можно и совместить, придумать настоящее дело? Но, как говорится, на стороне. Пусть день будет занят, а ночь твоя — как хочешь, так и распоряжайся. И все официально...

Погоди, остановил я себя, но ведь что-то такое уже было — и командировка, и поезд туда-сюда, и комар носу... Когда было, где я это видел — какие-то обрывки, не соберешь: четырехосный скоростной вагон, трамвайный круг под огромным окном, пропавшие крутые яйца, автобусы, автобусы, автобусы...

Нет, мне было сейчас не до того, чтобы склеивать и собирать никак не складывающиеся в какой-то сюжет обрывки, я вспомнил, что в Кратове — а я верил в высокую неслучайность нашей там первой встречи, хотя и не мог понять, как я там оказался... Неважно — там все и началось! Именно в Кратове у пивного ларька Иван обмолвился, что у Грауермана можно оттяпать кусок земли, а уж дом поставить ему, как два пальца это самое. В тот раз, когда мы сидели на даче, он дал мне какой-то номер телефона, не его, само собой, не было у него, он сказал, телефона, но чей-то, через кого в крайней нужде можно связаться. Я начал связываться, неделя ушла, я слезно просил ему передавать и однажды, когда уже отчаялся и понял: ничего не выйдет, — он позвонил сам.

«Здорово, — говорит, — об чем базар?» — «Приезжай, — говорю, — очень надо».

Самое удивительное, что он приехал. У меня была «лимонная» и четыре бутылки пива. Мы выпили.

— Так ты зачем мне стрелку забил? — спросил Иван.

— Помнишь, — говорю, — ты что-то такое высказывал насчет земли у Грауермана: ее якобы можно оттяпать и соорудить сараюшку с печкой? Мне очень надо.

— Какую сараюшку, я тебе дом отгрохаю, двухэтажный, с камином, и лестницу с балясинами.

— Нет, — говорю, — я тебе уже объяснял, балясины мне не нужны. Мне чтоб была дверь, а ее чтоб можно закрыть, и тепло, если зима. А больше ничего. Но как быть с землей — она в Кратове неведомо чего стоит?

— Значит, так, — говорит, — у тебя пивка больше нету?

— У меня четвертинка, — говорю, — я ее себе «на постельку» сохраняю. Меня товарищ научил — Юра Давыдов, знаменитый писатель, он всегда оставляет.

— Себе оставляет, а другим не дает?

— Никогда, — говорю, — для него святое, он без этого с утра работать не может.

— Ну а ты? — спрашивает.

— Чего я?

— А ты можешь работать?

— Я могу, — говорю, — я не такой знаменитый, мне не обязательно.

— Об чем тогда базар? Давай четвертинку и мы все решим.

Мы выпили четвертинку.

— Слушай сюда, — сказал Иван, — сегодня у нас что — среда?

— Наверно, — сказал я, — но не уверен.

— Почему не уверен?

— Водка, — говорю, — с пивом, потом четвертинка... Нет, не уверен.

— Хорошо, будем считать — среда. Важно не то, какой день, а как мы его назовем. Не возражаешь?

— Пожалуй, — согласился я, мне было безразлично.

— Значит, в следующую среду... Это когда ж будет?

— Через неделю, — сказал я, — хотя и не убежден.

— Ты сколько классов кончил? — спросил Иван.

— Шесть курсов, — сказал я, — у нас на заочном в университете было шесть лет обучения. А ты сколько?

— Чего сколько? — спросил Иван.

— Сколько курсов университета?

— Какого университета?

— Ну института? Ты где вообще учился — сколько курсов?

— А тебя это ебет? — спросил Иван, — чего и сколько я кончил? Мы с тобой базарим за землю и как на той земле дом поставить. Ты меня зачем позвал — «лимонной» травиться и мою биографию изучать? Мое время денег стоит.

— Прости, я не знал, — говорю.

— Чего не знал?

— Что у тебя время дорогое, мое вообще ничего не стоит.

— Ладно, — говорит, — на первый раз я тебя прощаю за бедность.

— А во второй раз что будет? — спросил я.

— Съем, — сказал Иван, — у меня не заржавеет. Ладно, проехали. Через неделю встречаемся в Кратове, у пивного ларька, я захвачу свою бабу, а ты притаранишь водку. Пиво мое. Лады?

— Какую еще бабу? — спросил я.

— Ты что, совсем плохой? — сказал Иван. — Я ж тебе объяснял прошлый раз: у меня баба архитектор, она тебе

проект изобразит, а с этим самым, как его... хозяином... Она с ним в момент все решит. Он сразу отдаст землю — двадцать соток тебе хватит?

— Мне и пяти достаточно, — сказал я. — Мне чтоб только сараюшку с печкой поставить. Я не привередлив.

— У тебя мозги от «лимонной» съехали, — сказал Иван, — моя баба сараюшки не рисует, она такой дом поставит — про все забудешь, а я рядом баньку сооружу, бассейн выкопаю — или плохо после баньки занырнуть? А на берегу пиво холодное.

— Да у меня денег нет, как ты не поймешь — я не по этому делу.

— Это ты не поймешь, а со мной спорить не советую, я не зря к тебе приехал, мое время дорогое — тебе это ясно?

— Ясно, — говорю, — а дальше что?

— А дальше мы встречаемся у пивного ларька, идем в дом, раскручиваем хозяина — он моей бабы до смерти боится, почти как я, она с ним чего хочет сделает. Короче, ты покупаешь у него двадцать соток за ничего, десять сразу продаешь за настоящие деньги — в Кратове на землю серьезная цена. Сечешь?

— Не совсем, — говорю.

— Очень ты темный, хотя и шесть курсов кончил, если не врешь. Ты пойми: баба моя рисует проект, я начинаю строительство — у тебя же деньги, которые ты получишь за десять соток по настоящей цене?

— Ну, предположим, — сказал я.

— Ну и все — какой еще базар? Я начинаю стройку и ты въезжаешь. Я тебе под ключ сдам. Усек?

— А сколько тебе времени потребуется, — спросил я, — чтоб под ключ?

— А тебе сколько надо?

— Даже и не знаю... Месяца два, три... Или это нереально?

— Договорились, — сказал Иван, — через неделю встречаемся... Ты один приедешь или с этой своей «лимонницей»? Она хорошая, кстати, деваха, компанейская. Ты тогда ее сразу, как говорится, расположил, я даже удивился. Возьмешь ее?

— Нет, — сказал я, — в этот раз приеду один, для нее будет неожиданная радость.

— Заметано, — сказал Иван, — через неделю у пивного ларька, а еще через два месяца заезжай. Под ключ отдам.

Живи там со своей «лимонницей» душа в душу. Лады?..

Тут мне приходит пора объясниться, а то можно неверно понять. Собственность меня на самом деле никогда не интересовала, а в той моей ситуации — тем более. Причем тут собственность, если я боролся со временем, и зачем мне дом, хотя бы и с баней-бассейном? Это никак не могло решить мою проблему. Если бы всего лишь так, мне было бы достаточно и однокомнатной квартиры на Тишинке. Дело было в том, что речь шла не вообще о доме, а о доме в Кратове.

Это особый поселок. И совсем не потому, что я прожил там всю свою жизнь, исключая рождение у Граурмана и еще какие-то незначительные подробности, а в том, что у этого поселка особая судьба. Если не ошибаюсь, о Кратове — или о подобном месте, написал свою знаменитую повесть покойный Трифонов. То же самое. В начале тридцатых отдали в местном сосновом бору сколько-то много гектаров старым большевикам, героям гражданской войны, нарезали каждому по полгектара, понастроили им двухэтажные дачи, они въехали, и их тут же, ну, через год-два, одного за другим и всех вместе прямо оттуда, с собственных их цветников повезли на Лубянку, а затем шлепнули. Потом забрали их жен и старших детей. Через двадцать лет выяснилось, что вышла ошибка. А где те недолгие хозяева? Известно где. Кой-какие вдовы все-таки вернулись, кое-кто из детей... Поселок стали населять сильно постаревшие дети и средних лет внуки с правнуками. Потом время полетело еще быстрее, внуки-правнуки поприватизировали дачи-участки, кто-то как жил при царе Горохе, так и продолжает жить в разваливающихся дачах, они время от времени выгорают, а кто попустрей приватизированную собственность начали продавать... Вы поглядите, какие замки вырастают среди тех, все еще живых сосен?.. Это уже современная история, хотя и началась она все с того же самого Граурмана.

Но я-то тут при чем со своей *борьбой за время*? Почему я дрогнул, когда странный этот мужик стал меня уговаривать, зачем мне возвращаться туда, откуда я когда-то ушел и уже с концами? А дело в том, что барышня моя, из-за которой сыр-бор, — я уже говорил: служила в музее и была...

Да, это я быстро сообразил из разговоров и общения с ней — не только же мы пили «лимонную», закусывали чем Бог пошлет и это самое? Меня с первых же дней поразил ее

азарт, укорененность в своем деле, которое у меня прежде, до нее, вызывало только тоску и оскомины... Музей? *Вот кушетка поэта...* Но когда я стал вслушиваться в то, как она говорит о своей работе, как радуется найденным, открытым документам, письмам, фотографиям — свидетельствам, когда стал бывать на организованных ею вечерах и выставках-вернисажах — живая жизнь культуры, история! Что поделать — дарование, талант, а они хотя бы в чем, хоть и в этом самом... Это уже не говоря о том, что... Ну как тут сказать: *вся статья, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвется...*

Тут и родилось у меня: подарю-ка я ей музей и одновременно решу свою проблему. Убью сразу двух зайцев. Это всегда заманчиво — *зайцы...*

В памятном по детству кратовском сосновом бору — музей! История страны, *время* — в сосновой капле! Десятки, сотни судеб — исковерканных, изломанных, забытых: деды, отцы, жены и дети, герои и изуверы, палачи и их жертвы... Письма, документы, фотографии, живые рассказы, оставшиеся вещи — знаки времени... Маленький поселок, сколько-то гектаров, живые еще сосны и вырубленный вишневый сад... На зависть московскому «Мемориалу».

Но разве такой музей создашь за день-другой? Стало быть, *она* выправляет командировку, причем вполне официально, ее *отпускают*, не на день, не на два-три — на месяц! Сколько в месяце ночей? Тридцать. А сколько часов в каждой ночи — восемь, тридцать на восемь... Почему восемь? А если зимой — ночь в восемь уже начинается, стало быть, с восьми до восьми, множим двенадцать на тридцать... Нет, я никак не мог сосчитать, получалось что-то много. Но это, действительно, не простая работа: сначала сидеть в конторе — списки, потом ходить по домам, по дачам, а как их застать: раз придется — нет, другой, третий... Тут и за два месяца не управиться.

Вот зачем мне нужен был домик с печкой. И дверь с замком.

В следующую среду, в назначенный час я стоял у пивного ларька, напротив кратовской платформы и тянул вторую кружку. Чуда не происходило. Я взял третью. Трогать захваченную с собой «лимонную» не стал, сбегал в магазин и купил четвертинку. Закусил пирожком с требухой. Ивана не было.

Может, мне вообще все примерещилось, я же никак не могу понять, как очутился тогда здесь в первый раз — было ли все это на самом деле?..

Он возник, когда я уже собирался распечатать «лимонную».

— Виноват, — говорит, — нестыковка, а сейчас нормально. Давай по пиву, и отправимся.

Мы выпили по кружке. Оно хорошо ложится, если до того переложить четвертинкой, а еще до того пивом... Думаю, и привезенную мною бутылку мы тогда сразу и оприходовали...

Дом Грауермана я не узнал, я уже вообще не совсем понимал, зачем меня сюда в тот раз снова занесло, и говорили мы с Иваном о чем-то постороннем. Я о музее в сосновом бору, а он почему-то о том, как надо натаскивать легавых собак.

Помню, что трещала печка, пахло мясом с пряностями, а за столом...

На плечи мне кинулась собака — это, как только мы вошли, ирландочка облизала, сбила очки, и я долго ползал, пока нашел их за печкой.

— Куда вы делись? — строго спросила возникшая за столом дама, это когда я кое-как выполз из-за печки... — У меня все перетомилось. Садитесь. Я вас не стала дожидаться...

Стол был накрыт на три персоны, посредине бутылка и у каждой тарелки по граненому стакану. Не дождалась она нас в том смысле, что бутылку уже распечатала.

— Дела, понимаешь, — сказал Иван, — сперва то, потом сё. Вы познакомились? Это заказчик, клиент, знаменитый писатель. А это моя жена Масик — гениальный архитектор. Сейчас выпьем, а там будет видно...

Видно совсем ничего не стало. Мы пили и ели, в какие-то моменты я приходил в себя от того, что ирландочка лихо слизывала с моей тарелки или прямо с вилки куски перетомившегося мяса. Потом я опоминался и мне казалось, что здесь я уже когда-то был... Конечно, в тот раз, когда мы выковыривали тушенку из военных запасов Грауермана. Потом...

— Так все-таки как насчет проекта, простите, но хотелось бы узнать поподробней... — сказал я неожиданно для себя и удивился, что удалось выговорить такую длинную фразу.

— Да, Масик, тащи бумагу, видишь, клиент волнуется, — поддержал меня Иван.

— Какую бумагу? — спросила дама.

— Ты ж сегодня целое утро... — сказал Иван.

— Целое утро я томила мясо, — сказала Масик, — а если ты имеешь в виду *тот* проект, то вон он, на том столе... Нет, на полке.

Помню, я долго разворачивал рулон, на нем оказались реки и горы, я опознал Байкал — он всегда бросается в глаза. Как не узнать: трижды мой путь пролегал по его берегам, четвертый, в обратном направлении, я летел самолетом.

— Переверни, — сказал Иван, — она на карте рисовала, погляди на другой стороне.

Я перевернул. Большой забор из кирпича... Очень знакомый. Множество зданий — очень красивых и тоже очень знакомых: церкви, нет — соборы, дворец, площадь, очень знакомая пушка и колокол... Наверно, я что-то спутал, может, это была банька с бассейном?

— Очень красиво, — сказал я.

— Видите ли, — говорила Масик, лихо опрокидывая граненый стакан, — мода и раскрученность в современной архитектуре значат очень много, больше, чем прежде. Но это не страшно, не надо бояться. Если в мастере будет внутренняя культура, она уберезет его от безвкусицы и пошлости. Вообще-то мы, русские, индифферентны к среде обитания — вы понимаете, что я хочу, сказать?... Европейцы любят себя гораздо больше, чем русские, а нам на себя наплевать. Но, тем не менее, дом — это не просто стены и крыша — это уклад, твое, так сказать, отечество...

Дальше я не помнил *ничего*...

Я проснулся от тишины. Я был накрыт цветастым одеялом из лоскутков, под головой была цветастая подушка — тоже из лоскутков, я был без штанов, сквозь сосны в окне проглядывало солнце.

Я нащупал очки, обычно я, на всякий случай, запикиваю их под кровать, там они и оказались. Надел. Но это не прояснило ситуацию.

Надо было начать с самого начала. Значит так: я стоял у пивного ларька, тянул вторую кружку и ждал, когда произойдет чудо... Нет, я ждал Ивана. Потом сбегал за четвертинкой. Потом...

Я нашел штаны, натянул их, увидел ботинки, влез в них и открыл дверь.

За чистым столом на кухне сидела Масик в очках, пила кофе и читала толстую книгу.

— Доброе утро, — сказал я, — простите, пожалуйста, я вчера...

— Бывает, — сказала Масик, — мужики ноне слабые, а вы человек нервный. Рукомойник во дворе, под сосной. Вам чай или кофе?

— Как вам сказать... — начал я.

— Понятно, — она, не глядя, открыла холодильник, нащупала и вытащила непечатую бутылку. — Много не дам, мне работать, а то тут с вами...

Те самые сосны, тот самый смолистый воздух — детство, юность, мечты и надежды.

Я вернулся в дом.

— Вам чего-нибудь горячего закусить или так? — спросила Масик.

— Мне так, — сказал я, — простите за беспокойство.

Она была круглая, мягкая, с живыми и одновременно твердыми глазами. Очень самостоятельная.

— А Иван еще спит? — на всякий случай уточнил я.

— Да вы что! Он давно уехал.

— Как... уехал? Куда?

— Встал чуть свет, забрал нашу красавицу — и на поезд. За Вышний Волочок. У него там натаска, сами видели — собака молодая, но она же охотник, и если ее научить, в смысле, натаскать...

— Когда ж он вернется — к вечеру? — спросил я, понимая, что до вечера мне тут не дожить — бутылка перед носом.

— К какому вечеру?.. — Масик явно удивилась. — Он недели через три вернется, а может, и через месяц — вы знаете где Вышний Волочок? А это еще дальше, за Волочком, там поля, луга... Одним словом, очень хорошая натаска. Он у меня слабенький, Ванечка, ему непременно отдохнуть, вот мы и сочинили такой отпуск...

— Можно я выпью, — сказал я, — у меня голова поехала. Она налила стакан.

— Давайте, сразу оттянет.

Я выпил, вроде стало оттягивать.

— Ну а как с проектом? — вспомнил я.

— С каким проектом?

— Вы вчера показывали, я правда, простите, мало что запомнил, но очень интересно.

— Вон вы о чем! Это удивительная история. То есть интересно-то только в перспективе... Вы имели когда-нибудь дело с новыми русскими?

— Скорей, нет, — сказал я.

— А я имела. Но это наплевать. Скучно, хотя бывает опять же, так сказать, перспективно. А вот женщина — новая русская, это, я вам скажу, — неведомо что. Короче, покупает такая дама пять гектаров за Воскресенском, в прелестном месте — лес, речка, угодя... И принимает решение построить Кремль...

— Как... Кремль? — изумился я.

— Натурально. На гектаре. Сорок четыре объекта, в масштабе, разумеется, ну чтоб было понятно — Иван Великий в два-три раза выше меня. Представляете? И все остальное соответственно. Такой Дисней-ленд. Это сейчас модно в Америке, вообще на Западе. Скажем, под Сан Марино построили Венецию с каналами, Пизанскую башню и многое другое. Строят такие, как бы сказать, — заповедники, воспроизводят места, знаменитые своей архитектурой, историей, вообще культурой. Гуляют, приводят детей — познавательно и роскошно.

— А деньги? — спросил я. — Какие ж это могут быть деньги?

— В том, разумеется, и дело. Но если они у нее есть? А потом станут платить туристы, иностранцы, вообще посетители. Она считает, все окупится. Но это не моя забота. Я делаю проект, а Иван построит — он чего хотите может построить. Хотя бы и Кремль.

— А сараюшку с печкой соорудит? — спросил я.

— Какую сараюшку?

— А он разве вам не говорил — я затем и приехал?.. Мы оттяпываем у вашего Грауермана двадцать соток, ему не нужно, десять продаем за хорошие деньги, вы делаете проект, а Иван ставит дом. Мне нужно небольшой — по деньгам. И чтоб быстро. Мы с Иваном обо всем уже договорились, я думал, вчера и сам Грауерман подъедет, мы бы все сразу обсудили и решили.

— Какой Грауерман? — спросила Масик.

— Ну а как его... Вы же у Грауермана родились? — спросил я, стакан водки после вчерашнего, несомненно, начал свою разрушительную работу.

— Конечно, — сказала Масик, — на Молчановке. Но ведь он давно умер?

— Пожалуй, — согласился я. — То есть, вполне вероятно, если, так сказать, в историческом аспекте. Но я имею в виду вашего здешнего хозяина.

— Льва Давыдовича?

— Какого Льва Давыдовича?

— Здешнего хозяина и нашего большого друга зовут Лев Давыдович. Человек очаровательный, ему давно за восемьдесят, он свое отмотал по лагерям, жена его — Раиса Моисеевна поменьше мотала, но теперь она лежащая. Мы их опекаем, поддерживаем дом и все другое...

— Это его с Троцким, что ли, перепутали, потому и посадили? — механически спросил я.

— Думаю, и так бы посадили. А может, и перепутали. Важно, что он выжил и вернулся. Так вы у него хотите «оттупить» землю?

— Простите, — сказал я, — но Иван посоветовал, а я думал таким образом решить свои проблемы...

— Проблемы? Ваши проблемы?! Иван?.. Он сказал, что приведет друга, познакомит меня с замечательным человеком и якобы писателем — я потому и мясо затамила... А вы вон что задумали? Да вы просто... Я и слов не нахожу!..

— Нет, я не то чтобы... — залепетал я, трезвея.

— Да я убью вас вместе с вашим Иваном! Вы с ума, что ли, оба походили — у такого человека... Мерзавцы! Вот Бог, а вот вам порог, и чтоб больше я никогда вас здесь...

2

Наверно, снова утро, подумал я. Конечно, утро. Ночью скверно не бывает, ночью ты счастлив: спишь, а срок идет. Какой срок? Я же не в тюрьме — дома?.. А как же: мой стол, сто лет назад купил у товарища — для него слишком большой, а я о таком мечтал, под зеленым сукном, прожог сигаретами тут и там за столько лет, всякое за ним было... Книги в шкафу, на полках, читать их не обязательно, поглядишь другой раз — и вроде перелистал. Картины, фотографии — с каждой что-то такое... Дом? Но разве дом — это стол, книги, картины-фотографии — пусть с тем и другим то и это, дом, как сказано — отечество... Кто это сказал, причем недавно — вчера?.. Нет, не вспомнить. Ладно, пусть отечество, а все равно — тюрьма. Слава Богу, срок вроде кончается. А дальше что?

Дальше — свобода. От чего? От дома, стола, книг, картин-фотографий...

Думай не думай, сто рублей — не деньги.

Я встал, ополоснулся, убрал постель. Если повезет, вернусь, противно, когда не убрано — сарай. Привычка к порядку. Не то чтобы к порядку, порядок он и в тюрьме, а чтоб вошел — и хорошо. Едва ли хорошо, просто, чтоб мерзости не было. Мерзости запустения. Оброшенности... Вон оно слово — *оброшенность*... Чье слово? И того не вспомнить, но как емко и... точно:

Пожалуй, можно выходить — а дойду ли? Куда деться, надо, без того никак. Надо.

Я кое-как спустился с лестницы, лифт опять не работал, открыл дверь в подъезде. Слава Богу, дождя нет, а все равно сыро, грязь, она мне сейчас ни к чему, ляпнешься — и не встать.

Тут дело было в том, что они полгода назад начали стройку перед самым выходом к месту моего назначения: перегородили, поставили забор, а в обход — лишних десять минут, на них у меня утром сил не достанет. Забор проломили в первый же день, они натянули металлическую сетку — и сетку прогрызли. А прямо за сеткой котлован. Доску кинули, главное вниз не глядеть, глянешь — и...

В прогрызанной сетке на проволоке висит, зацепился, карман, видать, от куртки, трепыхается, как флажок. Кто-то оставил, дернулся — и полез дальше. А если в кармане деньги? Едва ли, а были, их сразу проверили...

Я пролез без потерь. Доска на месте... Вон оно — вторую кинули — пройдем! Главное, не глядеть вниз. Доски качаются, на том конце бетонный выступ, доски на нем держатся, мокро, вот-вот соскользнут...

Эх, не удержался — глянул... Метров десять вниз, не меньше. Я закрыл глаза, чуть постоял, двинулся, не торопясь, шаг за шагом.

Вон и тот край... Тут, чтоб доски не сбить, надо перешагнуть, нет, шагу не хватит — прыгнуть, а у меня сейчас плохо с прыгучестью... Помоги, Господи... Оступился — конечно, оступился! — от страха упал — не надо было глядеть... Лежу, одна нога на выступе, другая болтается невдомо где...

— Слышь, дед, мы на тебя бутылку поставили — выползешь или улетишь...

Не видать, кто такие, а где-то рядом.

— Петро!.. — кричат. — Лови деда, сейчас к тебе пожалует...

— Давай!.. — глухо снизу, — я его тут оприходую...

Кроссовки рваные, ближе, ближе — у самой головы.

— Давай руку, а то и вправду улетишь.

Я поднялся.

— Благодарю... Давно не прыгал.

— А ты тренируйся. С койки. Тут не советую, мы случайно оказались — перекур. Дойдешь?

— Премного благодарен, молодые люди, достойная смена, помирать не страшно.

— А ты не торопись, успеешь...

Желтые куртки, каски, веселые, спокойные — а кто такие, нет, не понять.

А ведь правду сказал, куда я лезу, вон и ноги дрожат, а думал, уже ничего не страшно.

Я свернул на улицу, здесь нормально, чистый асфальт, машин мало, рано еще, а мне в самый раз. Вон оно — место назначения.

Достаю деньги — и в окошечко. Прилавок обычно мокрый, суешь деньги в пивную лужу, а тут..

— Налей, — говорю, — сперва одну, а потом повтори...

— Ты куда пришел? — говорит из окошка, голос другой, незнакомый. — Мы не наливаем, да и чего тебе?

Я заглянул: блондиночка, глазки намазаны, платье модное, открытое, видно, чего посторонним видать не обязательно... Или не туда сунулся?..

— У вас теперь в бутылках, что ли, в банках?

— Протри очки, — говорит, — какие тебе бутылки...

Я снял очки — заляпаны грязью, это когда упал...

Чистенько, вроде даже перекрасили... Blend-a-med, Fairy, Camay, Tide, Libresse... .. Тьфу — прокладки...

Я огляделся...

— Переехали, что ли? Я вчера был...

— Где ж ты вчера был? — говорит из окошка. — Мы уже неделю... Ты, дедуля, не по адресу.

Я снял очки, протер еще раз. Сколько ж меня тут не было? Неделю, говорит. А вчера я тогда где был?..

Я повернулся от окошка на шаги за спиной... Этот, сразу видно, — из моих постоянных: седоватая щетина, неделю точно не брился, штаны заляпаны — тоже, что ль,

прыгал? Здоровенная сумка с бутылками. Поставил, вытер лоб, потарахтел спичками.

— Закурить не найдется?

— Найдется, — говорю, — а как мы теперь с пивом?

— За тем углом, — говорит, — переулочек, пробежишь метров двести, еще за угол — и магазин.

— Магазин мне не надо, — говорю, — в магазине того нету. Да и двести метров мне, пожалуй, не пробежать.

— Чего тебе надо — того нигде не найдешь. Отменили. По просьбе трудящихся. Им запах спать не дает.

— Как так отменили — быть того не может?

— У нас всё — может. А со мной не спорь: моя территория — от Бутырки до Тишинки. Бутылки собираю — сечешь? Все бутылки в этой, как бы сказать — акватории, мои. Лесная улица, переулочки — и на этой стороне Тверской, до Тишинки.

— Большой начальник.

— Какой-никакой, а начальник. Живу я здесь — понимаешь? И очищаю территорию. По силе-возможности.

— Погоди, — говорю, — но возле Бутырки-то всегда был ларек? Пусть на Тишинке закрыли, а на Бутырке?

— А ты давно был на Бутырке?

Я подумал.

— Пятнадцать лет назад. Не то чтоб был — проездом. Это когда этапом шел с «Матросской тишины» — на Пресню. Они нас во двор завезли, на Бутырке, еще поднабибли — и пошел дальше. А ты бывал? Нет, я не про ларек, а...

— Слушай сюда, — говорит, — у тебя деньги есть?

— А как же, — говорю, — мне за так не дают.

— Разливного мы с тобой не найдем, не рассчитывай понапрасну, да ты, я гляжу, и не ходок. Давай деньги, я слега за четвертинкой и пива на сколько хватит.

— Какого пива?

— «Балтика», — говорит, — третий номер, светлое. Годится?

Где-то я его пил недавно, вспомнил я, или приснилось?.. Как же: светлое, свежее — десять бутылок. Где ж это было...

— А ты быстро? — спросил я.

— Пять минут — и я здесь. Найдем местечко, посидим. Хотя бы на стройке.

— На стройке я уже был, — говорю, — у меня там от высоты голова катится.

— Ладно, — говорит, — чего базарить, что мы, место не найдем?

— У меня сотня, — говорю, — разменяешь?

— Зачем менять, мы на всю наберем. Я тебе бутылки оставлю, чтоб не дергался. Да я тут человек известный, не сбегу.

— Что известный, — говорю, — сразу видать.

Я отдал ему сотню, он бросил мне под ноги сумку с торчащими из нее бутылками. И побежал.

Шустрый, подумал я, мне со старта так, пожалуй, не рвануть...

Я оттащил бутылки подальше от благоухающего разноцветного окошечка, к забору, присел на них — они тут же подо мной поплыли. Никогда не сидел на бутылках, неожиданное, надо сказать, ощущение.

Впрочем, все в то утро было — или казалось? — неожиданным, что-то во мне сдвинулось, сломалось... Что уж такого особенного случилось, разве оно такое первое, Бог даст — повторится, главное, чтоб он не слишком задержался... Нет, тут в другом было дело.

Значит так, решил я, закурю-ка я пока еще одну...

Закурил. Голова сладко покатилась. Хорошо...

Вид у меня, надо думать, был очень живописный. Я представил себя со стороны: сидит такой пожилой господин в очках. Достойный господин. А то, что штаны и ботинки малость заляпаны... Ну мало ли — климат, погода-природа, она способствует некоторой, скажем, небрежности — обычное дело, особенно утром, когда ноги не так твердо шагают — пока еще разойдутся. Обычное дело.

Какие могут быть ко мне претензии по части, как бы сказать — этикета-приличия? Рубашка чистая, я всегда утром надеваю — на дело иду. Мог бы, конечно, чем-то еще себя приукрасить — чем?..

У меня есть товарищ, тоже писатель... Верней, я — тоже писатель. Он человек знаменитый, не мне чета — книги, переиздания, заграничные путешествия, премии... Хороший мужик. Очень. Доброжелательный, открытый, компанейский. Пьющий. Крепко пьющий. Не потому хороший, что пьющий, а потому пьющий, что хороший. Это разница. Мы с ним как-то загуляли — день, вечер, полночи. Безо всякого повода, случайно встретились. Оно бывает особенно хорошо, если без повода. Чистая ситуация, легко и бездумно. И говорили о серьезном — не просто

пьяный бессмысленный треп. И что-то поняли друг о друге. Отличная была пьянка.

А утром у нас с ним важное мероприятие. Общественного назначения.

Я приковылял с трудом. Слава Богу, без приключений. Нельзя рисковать, когда впереди нечто высокое, тем более, общественно значимое. Вхожу в залу с такой вымученной, якобы светской улыбкой, а он — навстречу. Я его даже и узнал-то не сразу: открытая улыбка, свободные жесты, поворачивается на каблуках, пританцовывает... Костюмчик на нем — только из магазина, сверкающая белая рубашка, усы подстрижены, бабочка какой-то совсем невиданной расцветки — из южных стран... Я даже растерялся. А это, мол, что такое? — спрашиваю. А у меня, говорит, их шестнадцать штук — бабочек. Я как-то получил гонорар в Лондоне — неожиданно свалился. На все и купил. Не на все, на самом деле, у них там больше не было, в ихнем магазине. Бедная страна — Англия. Они у меня значатся по именам, эту я называю «Чу-чу»... Ты просто Набоков наших лесов, говорю, он тоже бабочек собирал. У Набокова они под стеклом, говорит, на булавках — музей-коллекция, а у меня для жизни. Не сравнить. Музей — дело доходное... Давай, мол, для начала по чуть-чуть....

Ой, думаю, мне сейчас только про *музей* не хватает, вспомнил — и сердце куда-то свалилось. В животе тикает.

Не буду я про музей — о своей сиротской жизни пора думать. Один я опять остался на всем белом свете. Шел по улице малютка, посинел и весь... Какая долгая улица, думаю, нескончаемая...

А три дочери, вспомнил я вдруг — какой же я сирота? А шесть внуков? Пять на самом деле, шестая внучка. Маленькая, беленькая, с ясными глазами — четвертый год, а вокруг три малых — старшие братья: под два метра, ботинки 45—46, она посреди них, как в лесу бродит, а они ею в лапту играют, перекидывают. Вы чего, говорю, очумели, угробите девчонку... А ты, мол, помолчи, не мешайся, ты, дедушка, пожил, тебе все равно... Умные ребята, современные, юморные и сестренку любят, это уж несомненно.

Погоди, вспомнил я, я ж и того более — прадедушка? Как же, мне позвонил как-то один из зятьев, тоже современный малый, с юмором. Поздравляю, говорит, по радио сейчас сообщили, ты у нас прадедушка. Это в каком же смысле, спрашиваю, не понял. А в самом прямом, говорит, прав-

нук у тебя родился. Не понять, говорю, твою метафору. А это, мол, не метафора, а реальность. Ну хорошо, говорю, пусть и родился, хотя сразу не сообразить, откуда ему взяться, это случается, возможно, но я не такой знаменитый, чтоб по радио болтали о моих семейных обстоятельствах. Ты-то, мол, не знаменитый, понятное дело; говорит, это не тебя, а твоего другого зятя поздравляли, а он самый-самый. Или забыл? Это он стал дедушкой, а ты, стало быть ... И по телевидению его поздравляли. По известному каналу...

Вон как, значит, я уже прадедушка? Шустрые ребята, ничего не скажешь. Как же это я оплошал, позабыл о такой грандиозной своей фамилии? То же мне, сирота казанская. Но ведь ощущения-то у меня не протокольно-анкетные, они из глубины организма?.. Нет у меня той самой родственной шишки. А потому у других — всё цветки, а у меня, у сиротинки — обгорелы пеньки...

Ну хорошо, пускай сиротинка, но этот-то почему так долго отсутствует ... Где он?

Я встал со своего насиженного места и посмотрел на сетку с бутылками. Завязана она была крепко, а бутылки все равно подо мной раскатились. Штук тридцать, а может, сорок... Ну да, акватория у него большая — отсюда до...

Батюшки, думаю, какой же я олух, а считаю себя битым мужиком, на «Матросской тишине», вишь, учился в университетах, всю тюрьму прошел — от спеца до общака, во всех камерах побывал за двенадцать месяцев, пересылками хвастаюсь, а того не понял...

Бутылки водочные, ни одной — пивной. А водочные, как известно и малым детям — у внуков бы спросил! — ныне идут по гривеннику — три-четыре рубля красная цена за всю эту сумку, а я ему... Да если бы и пивные, они по рублю. Где ж моя сотня?

Погулял, думаю.

Я выворотил карманы, один за другим. Мелочь. На кружку мне уже не набрать. А где они — кружки, он же сказал — отменили?..

Ну и лопух ты, братец, а еще Бутыркой хвастался...

Значит, и этого у меня сегодня с утра не будет. Может, хорошо, так надо, а то какое-то, как говорится, междометие: готов был, не раздумывая, хоть головой в прорубь — в Мальмстрем, но сначала все-таки пивком переложить... Нет, пусть будет чистая ситуация — прямой дорогой туда и чтоб ничего с собой...

Ладно, пока закурим, сигаретами, слава Богу, запасся — чтоб слаще летелось...

Голова уже не плыла. Светлая. Правду говорят мои мальчишки: дедушка пожил, ему...

— Живой еще? Там, понимаешь...

Я гляжу на него, не узнаю. Быть того не может — вернул? Зачем? Или и он такой же лох?

В руке у него пакет. Большой. А в нем...

— Нормально, — говорит, — мы сейчас в натуре посидим. Отоварился по полной. А чего с тобой — вроде сбледнел, или чего не так? Заждался?..

И вот мы сидим в каком-то дворике-скверике — очень ностальгически-патриархально. Никого. Рано еще: служивый народ исчезает через подворотню, зачем им в скверик, бабушки-детишки, наверно, только поднимаются, им еще кашку варить-есть. Тишина и деревья не совсем облетели. Скамейка широкая, мы ее пакетом застелили — скатерть у нас, бумажные стаканчики, «Балтика», третий номер — где ж я ее пил совсем недавно?.. Банка с огурцами. Он хлеб режет — и не заметил, откуда него ножик выскочил, а нож серьезный, не шутка. Из кармана тащит бутылку — «столичная»...

— Давай, — говорит, — для разгона. Или ты сперва пивом?

— Как скажешь, — говорю, — а я вроде перетерпел. Могу чего хочешь. Главное — дождался. Гуляем?

— Нет, — говорит, — тебя лечить надо, я на тебя как глянул тогда у бывшего пивного ларька... У тебя все на личности написано, хотя и очки.

— Ишь ты, — говорю, — прямо профессор по части бытовой психологии.

— Жизнь научила, — говорит. — Не будем время терять...

Он разлил по стаканчикам. Мы выпили.

— Теперь огурчик, — говорит, — и хлеба ломоть. Или ты сперва пивом?

— Ты откуда свалился? — спрашиваю. — Прости меня, я про тебя плохо подумал.

— Да я видал, мне смешно стало, как ты задергался. Это бывает с нашим братом. Научили. А там, понимаешь, товар принимали, потому задержка... Ты давно с «Матроски»?

— Пятнадцать лет, — говорю, — а другой раз приснится — вроде, еще там.

— Это нормально. Особенно по первости. А в каком там корпусе?

— Да я ее всю прошел, каждый месяц таскали-переводили.

— Долго проторчал?

— Всего два с половиной года. Вместе с ссылкой, а не забыть. А ты и там бывал или твоя только Бутырка?

— Давай лучше еще по одной, а потом пивом переложим... У меня, понимаешь, сегодня... Давай за мою мать, сегодня ее день. Мы тут с тобой посидим, я бутылки сдам — и на Ваганьково.

— Как звали? — спрашиваю.

— Людмила Николавна, — говорит, — враз померла. Сегодняшнего числа. Но у меня, как бы сказать... сегодня и еще... Такой, понимаешь, день — совпадение. Мать померла, а я родился.

— Это как понять? — спрашиваю.

— Еще по одной, — говорит.

Мы выпили.

Очень хорошо было во дворике. Как же я его не знал до сегодня, никогда не видал, а рядом со мной. Ходишь туда-сюда одной и той же дорожкой, а что рядом, за соседним домом, не знаешь. Пустая она, городская жизнь, ничего-то мы настоящего не замечаем... А тут так все славно завязывалось, разговор такой: я ему говорю, говорю, он мне — а я слушаю или сам о своем?... Я ему могу, что хочу, он мне неизвестно о чем — такая беседа, без конца и без края...

— Так что за день такой, — спрашиваю, — это кроме памяти матери, я того не понял?

— У тебя, — спрашивает, — нет брата-адвоката?.. Похожи. Очки и... Но он, как бы сказать, покультурней, за пивом утром не бегает, хотя водочкой не брезгует — как без того?

— Нет, — говорю, — у меня брат живет в Питере и он по другой части. А чем же я на него похож, кроме очков?

— Даже и не сказать. Но я, как тебя увидел — и день этот самый... Не зря, думаю, в такой день и чтоб с ним встреча... Я, понимаешь, от вышки ушел — никто бы меня, если б не он. А зачем я ему? У меня ни денег, ничего, а всё против меня.

— Кто ж такой? — спрашиваю. — Я знаю московских адвокатов.

— Зачем тебе? Тебе, я вижу, не адвокат нужен, а баба,

чтоб утром из дома не выпускала. Но разве нас удержишь?

— В том и дело, — говорю, — давай лучше про адвокатов, про бабу не надо.

— Хорошо, — говорит, — сейчас по пиву, а потом... Ты не сомневайся, у меня и вторая есть.

— Как же это ты на одну сотню развернулся?

— У меня были, я на чужие не охотник.

Мы выпили пива. Становилось лучше и лучше. И небо прояснело, туман поднялся, заголубело в паутине...

— Андрич его по батюшке, — говорит, — хотя, как и ты — той же нации. Такой, я тебе скажу, человек... Ладно, я тебе всё расскажу, у меня день такой и я хочу поговорить, а мне не с кем... Есть, есть, но это вечером. А сейчас я тебе...

— Давай еще по чуть-чуть, — говорю, — а то я от пива чумею.

Мы выпили еще по стаканчику. Хлеб был свежий, душистый, и огурчики хрустели.

— А может, свернем тут — и на Ваганьково? — говорит. — Там бы и посидели? Полчаса — и там.

— Нет, — говорю, — хотя и у меня там могилка. Людмила Николаевна, первая жена, год прожили... Нет, давай здесь, от добра добра...

— Здесь так здесь, — говорит. — Я, понимаешь, всегда думал — так на роду написано: если чего накатит — не уйти. Это ведь как бывает: над кем судьба шутит, а кому написано... Ты вот, к примеру, получается, сам напросился, тебе не обидно, кто тебя тянул...

— А ты откуда знаешь?

— Так ты ж только что рассказывал?

— Разве? — удивился я. — Мы вроде обо мне пока что еще ничего...

— Как ничего?... Ты ж мне всю свою, так сказать, биографию описал?

— Да быть того не может?!

— Описал не описал, короче, тебе не обидно — сам напросился. Да видал я таких, мало, но были. На себя не тянули...

Чего ж я ему успел наболтать, думаю, — мы ни о чем таком... Но когда одну бутылку прикончишь, пивом переложись раз, другой... Выходит, я уже давно сам с ним болтаю, а чего ему изложил? Правильно, что меня в шпионы ни разу не вербовали, я бы сразу всю их малину...

— Ты мне лучше скажи за того адвоката, — продолжает он, — говоришь, таких знаешь — зачем я ему был нужен, от меня, сам понимаешь, какая польза?.. Ладно, слушай...

Я закурил. Век бы сидел на этой скамеечке, слушал чужие истории, водочку пивом... А чего мне еще теперь надо? Дедушка пожил. Поговорить да послушать.

— Меня мать из лагеря принесла... — начал он. — Тогда другая была зона, после войны. Статья у нее знаменитая — указ от седьмого-восьмого, до расстрела. Жрать нечего, дети помирали, она из колхоза раз притащила, другой... Увезли. И дети померли. А через пять лет воротилась и меня родила. Про отца не знаю, не говорила. Вон откуда пошло — кем он был, что на меня повесил, за какие его грехи я ответчик?..

— Ты никак в Бога веруешь? — спросил я.

— Может, верую, а может, нет. Ну а как, скажи, понять?.. Первый раз меня из ремеслухи забрали, драка в общаге, чужие ребята пришли по нашим девкам, а я сосунок, у них между ногами. Один сел на меня, крутит, ломает, я, видать, сомлел, он меня за волосы и об пол, а мне под руку гвоздь попался, двухсотка... Вогнал ему в горло по шляпку... Ты чего не пьешь-то — пей!

— Ты налить позабыл, — говорю.

— Не в обиду, — говорит. — Хорошо. Малолетка и есть малолетка. Вышел. Мать жива, мы из Раменского района, под Москвой. Работаю, девка у меня... Да какая девка, что с ней делать не знал... Это ты рассказывал — ученый...

— Да чего я тебе рассказывал — молчу да слушаю?

— Ну тогда слушай дальше. На Новый год было. Пьянка, патефон, свои ребята, девки, тоже общага. А за стеной шабашники, с юга. Заваливаются уже ночью, мало своего, не хватило. Что с нами, сопляками — расшвыряли, как котят, кореша поразбежались, гляжу, мою крадю прижали. Я-то не знал за что подержаться, а они ученые, схватили... Выбегаю, как был, без шапки — и домой. У нас сосед, отставной военный, охотник, билет у него был, двустволка. Влетаю к нему, они уже спят с женой, ружье на стене, сорвал, и коробку с патронами... Он брал меня с собой на охоту, недалеко ездили. Я у него вообще часто, он и матери помогал, по соседству. Хороший мужик. А тут пока прочухался, штаны надел — разве меня догонишь?.. Распахиваю двери в общагу, ничего не вижу — чего я тогда соображал? Они от меня, как тараканы

по углам, а я из двух стволов. Заряжаю и палю, заряжаю и палю...

— Ты выпей, — говорю, — не таракхи так... — что-то мне муторно стало от его рассказов: зачем мне про это — или он обо мне?..

— Да ладно тебе, — говорит, — дослушай, пойми... Опять вышел. Не скоро, правда, а что мне — молодой, мать ждет... Года три крутился вокруг Москвы, прописали, живу себе, специальность у меня сварщик. Денежная. Пью помаленьку. Сижу дома. А тут собрался в Москву — кореш у меня с зоны. Комнатушка, жена, двое пацанов. На Плющихе. Привез бутылку, у него бутылка. Сидим. Комнатушка три на пять, а квартира большая, майор отставной занимает три комнаты — жена, собака. А я этих собак терпеть не люблю. Овчарка. Позвонил, зашел, собака гавкнула — но не к нему ж, думаю...

Через час заходит майор: не очень, мол, шумите. А какой от нас шум? Жена кореша уложила пацанов, сидим, курить выходим на кухню... Опять заходит, без стука, как хозяин. Поздно, мол, чего он тут сидит, пусть сваливает, кто такой, где прописан? Я молчу, знаю, мне бы на него не глядеть, я таких майоров видал и откуда он сразу понял, не мой сосед-охотник, тот фронтовой, израненный, а этот боров боровом, такие на каждой зоне, трясет, как вижу. Но тут — не мое дело, верно? Кореша дело, а он с ним тихо, отбрехивается, вижу, боится, затравил он его: двое детей, стирка, ясное дело, выживает, закон всегда на их стороне, хотя б у тебя прописка и дети, а если еще меченый...

Короче, слово за слово, только бы, думаю, не встречать, водку допили, я бы и сам ушел, полтора часа ехать, пока до вокзала, до дома... А тут заело — чего мне уходить, я у кореша — законно!.. А он в раж вошел, видит, молчим, боимся, на бабу кореша начал гавкать: на кухне развела грязь, блатные ходют, курют — разгоню и из Москвы выкину...

Он и сам был вроде пьяноват, хрен его знает, я его не нюхал. У меня в сапоге ножик, я не переодевался с работы, заскочил в магазин за бутылкой и на электричку. У меня всегда в сапоге, чтоб отмахнуться в случае чего... Давай документ, майор говорит, а то я ментов вызову. Я и вытащил... «документ». А когда вытащил, посмотрел на него, на рожу да на брюхо — тут меня и затрясло... Распотрошил по самые эти... Да зачем я тебе всё это...

— Налей, — говорю, что-то и меня затрясло, — чего ж мы с тобой натворили, брат...

— А как же, — говорит, — вон оно, когда на роду написано — а как ты от того уйдешь?.. Да ладно, дай я договорю... Вышка, само собой. Год сижу на Бутырке, дожидаясь. Полтора года. Чего тянут, не понять. И вот приходит тот самый — Андреич. Кто ему дал наводку, от кого услышал — зачем, чего ему от меня надо?.. Разговаривает со мной. А я уже и себя-то не помню и что говорить — не соображу, да и о чем рассказывать, все ясней ясного? Короче, разговариваем. Я говорю, он слушает. Вопросы задает — простые и в самую эту. Я ему отвечаю, как есть. Может, в последний раз говорю — чего мне? Но ему-то — зачем? Рецидивист, третья ходка, и всё по мокрухе...

— Осталось там еще? — спрашиваю, меня все еще трясло: как стало трясти после первого его сюжета, так и не перестает — а почему, про меня, что ли, разве у меня мокруха?

— Так мы вторую только начали, — говорит.

— А я думал, первая, не отличить.

— Они у нас все одинаковы — погляди в сумке...

Мы еще выпили, он помолчал.

— Верховный суд... — говорит. — Я ничего не помню: как привезли, заводили, как зачитывали... Мать сидит в зале, а этот Андреич... У него слова... они, как камни падают, катятся, я таких не слышал слов — и судья того не слышала. А я всё никак не пойму — зачем ему это надо?

— Чего надо? — спрашиваю.

— Меня от вышки спасать — зачем я ему?.. Я вот сейчас тебе рассказал, и ему говорил, а он то же самое своими словами — всё так, но... Я гляжу на судью — баба старая, битая, всякое видала-слыхала, и она как бы не в себе. И прокурор слушает, рот разинул... Да что прокурор, мне конвой, когда еще обвинительное зачитывали — мы, говорят, тебя в воронке кончим, как повезем, до тюрьмы не доедешь. А тут и они притухли...

Через день приговор. Привезли, читают. И когда я услышал, что ушел от вышки, что пятнадцать лет паяют, что я живым уйду... Нет, не сказать. Я гляжу, адвокат мой сел, очки снял, протер, за грудь хватается, я к нему кинулся, меня конвой скрутил... А мать в тот же день померла. Не выдержала. Чего не выдержала — что я живой остался?..

— А ты его потом видал? — спросил я.

— А как же, — говорит. — Когда вернулся, год мне ско-
стили — четырнадцать мой, к нему сразу. У меня шкатулка
для него была — год резал. Меня всё продать ее уговарива-
ли, много чего сулили. Привез. Он тут недалеко, на Ленин-
градке. Большая квартира, картины, книги, хорошо живет.
Не такой, конечно, уже стал, не дергается, но был рад, что
я пришел, это я понял. Посидели у него на кухне, жена на
двух тарелках подавала. Выпили. Разговоры, а я все равно
не понял, зачем он за меня, а спросить побоялся. Но ведь
спас?

— Да знаю я его, — говорю, — верно, на Ленинградке
живет. А тебе чего от него надо — зачем, почему? Он, мо-
жет, не для тебя, для себя... Да и профессия — понимаешь?

— Нет, не понять... Ладно. Ничего мне не надо. Просто
сегодня день такой — поговорить.

— А как ты в Москве оказался, где живешь — у кого?

— Кореш устроил, тот, у кого случилось. Пацаны вы-
росли, здоровые мужики, не такие, как мы с тобой — но-
вые, машины держат целый парк, бизнес у них. Они мне и
прописку сделали, и однокомнатную квартиру купили —
своя теперь. Я к ним сегодня. Вечером завалюсь.

— Вон ты какой, — говорю, — а бабой почему не обза-
велся, чтоб она тебя по утрам не отпускала?

— Бабу я сам отпустил, — говорит.

— Это как понять — отпустил?

— А мне чужого не надо, — говорит, — помог, чем
мог — и гуляй.

— Все равно, не понял, — говорю.

— У меня, — говорит, — и третья есть, бутылка, я на ве-
чер припас, но когда он еще будет — вечер?

— Мне, пожалуй, хватит, — говорю, — а то я здесь на-
всегда, не встать... Разве по чуть-чуть...

— Да я тебя отведу, если что...

Мы выпили.

— Я, понимаешь, — говорит, — как получил квартиру,
въехал — а поверить, что моя, не могу. Да не в том дело, что
сортир, ванна, балкончик... За Бутыркой дом, утром слы-
шать, как во двориках перекликаются — понимаешь? Жи-
ву, а все не верю — моя, что ли? Полгода живу, отошел, бу-
тылками промышляю. Приехал кореш с зоны, неделю от-
мокал. Из Твери мужик. Поговорили, погуляли. Пошел его
проводить, выпили, само собой. Поезд ушел, выхожу к ме-
тро, на площадь. Ночь, тепло, летом было. Постою, думаю,

покурю... Дом-то меня все равно ждет — мой дом. Народу немного, поздно, а метро еще открыто, туда-сюда, к поездам спешат. Подходит такая — с подбитым глазом: бабу, мол, не надо? Какую еще бабу? Выбирай, говорит, молодую, постарше, да хоть и я сгожусь... Нет, говорю, я друга провожал, видишь, курю... Опять подходит: так тебе две, что ли, надо — и для друга?.. Я поглядел — да их тут море! Ходят, покуривают — да не такие, как на Тверской, эти за бутылку, за пачку сигарет!.. Стою, разговариваю, одна за другой подваливают, сигаретами угощают... Гляжу — менты тут же крутятся, кипит жизнь. Ночная. С одной разговаривался. Хорошая баба, она мне сразу показалась. Работала медсестрой в больнице. Ночная работа, дежурства, других подменяла, деньги нужны, мужик пьющий, ребенок... Квартира у них в Орехове-Борисове. Ну, она одну ночь не пришла — на работе, другую — подменяла, третью... Приходит. Ах у тебя дежурства, говорит муж, знаем мы... Что там было, не мое дело. Но не такая, чтоб терпеть. Ушла и с концами. Сперва где-то по подругам, а потом на вокзал. Я и взял ее к себе. На Бутырку.

— Да ты что? — говорю.

— А что? Хорошая баба. Отмокла, отошла, кухню мне побелила, обои переклеила. Спокойная, но, как бы тебе сказать, — невеселая. Я с ней — и так, и так. Не разговоришь. Почти полгода. А ей хуже и хуже. Заскучала. Конечно, какая со мной радость, да и старый уже. Но тут, гляжу, не в том дело... Да откуда мне понять, разве кого поймешь, а тем более — бабу? Она со своим мужиком лет пятнадцать, девчонка у них, он не отдает — гуляющая. Ушла от меня, где уж она была, не знаю. Через месяц вернулась, но — мается, хотя, вроде бы, и я ей уже не чужой... Нет, что-то со мной у нее не получалось. Сидит у меня на Бутырке — а как бы ее нет, наверно, там, в Орехове-Борисове, а может, еще где... Если б раньше, когда меня так не перекрутило, я бы знал, что делать, я бы ее не отпустил. А тут...

— Налей, — говорю, — зачем у нас бутылка стынет?

Мы выпили.

— У меня от твоих рассказов голова совсем поехала, — говорю, — даже не понять. Может, это всё не с тобой, а со мной?

— Куда тебе, — говорит, — я тебя вижу, ты... Ладно, посиди пока, покемарь, а я бутылки сдам — в соседнем дворе берут. И за тобой. Дождись.

— Да куда я денусь, не подняться...

Он ушел, а я никак не пойму — где я и почему?.. Пятнадцать лет... нет — четырнадцать, адвокат с Ленинградки, баба за пачку сигарет... Какая баба — да я ее знать не знаю! — какой вокзал... Нет, погоди... Чего годить — мало, что ли? Чего мало?.. Но я и знать этого ничего не знаю, какое всё это ко мне имеет... Весь этот бред, кошмар — гвоздь, двустволка, нож, вокзал, пачка сигарет... Ничего такого я никогда... Разве я сейчас, ночью, утром — о том? А вся наша жизнь, неожиданно подумал я, не тот ли самый бред и...

Когда бы грек увидел наши игры... Это кто сказал — где, какой «грек»... А чем наши *игры* круче — всего лишь гаже? Преувеличение, думаю, а может — *предошущение*?.. Нет, там такое было, бывало, да хоть у греков, а потом у этих, как их, а потом... Стоит ли мериться — и чем? Грязью, мерзостью, злодейством... Время, думаю я, то самое, которое я хочу преодолеть — зачем, как, каким образом, за что ухватиться, оно, как горная река: сначала сочится, капает, журчит, льется, плещет, катит, а потом — ревет...

Не подходите к ней... *Не подходите к ней с вопросами...* Он и не подходил, думаю я, это она... *Он* — это кто?.. — думаю я. Я-то спрашивал и спрашивал, а он — *отпустил*. Нет, это *она спрашивала*, вспоминаю я. Конечно! Вот в чем было дело — *в ней*... И он себя предал...

Почему? — думаю я. Почему он все-таки себя предал, всю свою жизнь, то, зачем на свет родился, на что променял — просто забылся, устал?.. Еще бы — конечно, забылся, *когда спал на ее коленях* — забудешься. Но ведь не сразу он предал себя, сопротивлялся — раз, другой, третий: хитрил, лгал, усмехался — пусть попробуют со мной... А потом сдался, больше не смог.

Он был судьей в Израиле два десятилетия в те древние времена, вспоминаю я, стало быть, не просто соловей-разбойник. Назорей с рождения, избранник до рождения: Ангел явился его неплодной матери и сказал, что она родит сына и будет он спаситель народа, бритва не коснется его головы и никто ничего с ним не сможет поделаться. Никто, кроме него самого.

Почему же ничто не могло его научить — зачем тогда опыт? Первая его женщина — жена, филистимлянка предала его, он так бездарно попался. Но ведь ничему — ничему не научился! Всего лишь отомстил. Человек, двадцать лет вершивший суд среди своего народа, разорвавший од-

нажды льва, как козленка, расшвыривавший филистимлян — десятками, сотнями, а когда снова полюбил Далиду... Открой мне свою тайну, просила она, когда он лежал у нее на коленях — и не из любопытства просила, которым якобы так грешат девушки, а по прямой корысти — за серебро... Нет, он еще сопротивлялся, солгал ей раз и два, и три, и каждый раз понимал, что она его предаст, продает. Усмехался, знал, справится — самоуверенность, убежденность в собственной силе и неуязвимости? И наконец — открылся... Вот он когда устал и стал бессилен — когда спал на ее коленях, когда темное и слепое затопило ему рассудок... В те самые мгновения, а не когда стоял у столба в медных цепях с выколотыми глазами, выставленный на посмешище: назорей от рождения, спаситель народа, могучий и неукротимый — Самсон.

У столба он уже был другим: волосы начали отрастать, и сила к нему вернулась. Его научили. Чему?.. Теперь бы он *отпустил* ее, странно думаю я, но когда спал у нее на коленях...

Мерцающие под ресницами глаза, затмевающий сознание запах плоти, клей, меняющий все представления о добре и зле... Бедная моя мама с ее запретами!..

Какой ужас, подумал я — мальчик, однажды обьевавшийся мороженым в Третьяковке, узнавший на Волхонке, что никогда не смогу дружить с девочкой, а потом год за годом, шаг за шагом бредущий, пересекавший эту гигантскую территорию — пешком, в машине — грузовой, легковой, в поезде — в общем вагоне, в «столыпине», в «СВ», самолетом — в наручниках и «бизнес-классе»... Какая долгая дорога, нескончаемая... А было ли всё это?

Я вспомнил, как впервые влетела мне в голову — в раннем-раннем детстве, мысль о путанице реального с нереальным. Наверно, мне было лет пять, едва ли шесть. *Было не было?*

Я проснулся в своей кровати, она была с сеткой, значит, верно, всего лишь — пять лет. Утром солнце било в окно, проникало сквозь листву дерева, росшего у самого дома, толстый, как прожекторный сноп света, луч прорезал комнату, в нем плясали пылинки, кружились, не в силах выскочить за пределы луча. Я помнил это совершенно отчетливо, так же, как то, о чем тогда так странно думал. Наверно, я сплю, думал я, это сон: моя комната, кровать с сеткой, пляшущие в солнечном луче пылинки, а то смутное, неопределенное, что виделось во сне — и есть то, что

происходит на самом деле. Быть может, думал тогда все-таки другими словами, я и сейчас вспоминаю об этом приблизительно и едва ли точно. Но именно так: реальность, это сон, а сон...

— Не ушел?.. — слышу я.

Во как — снова вернулся!

— Спасибо за хлеб-соль, — говорю, — Бог даст, повидаемся... Постой, как бы тебе сказать... *Всё движется любовью...*

— Давай-ка я тебя провожу, — говорит. — Двигается... Тебя, гляжу, совсем задвинуло, опять не туда полезешь — улетишь.

— Да ладно, — говорю, — не последняя зима на волка.

— Да уж ты волк — заяц... Тебя нельзя отпускать, ты где живешь?

— В Кратове, — говорю, — как привезли из роддома, из этого, как его... Так там и живу. Ну, увозили туда-сюда, бывало, а так всегда.

— Это какое ж Кратово, — говорит, — Раменского района? Так мы, получается, земляки?

— Получается, — говорю, — по всему земляки, но мне до тебя не дотянуть. Ты очищаешь территорию, собираешь, а я ее замусориваю. А время у каждого свое — одно собирать, а другое — разбрасывать. Заблудился я, понимаешь... А Кратово, сам знаешь, недалеко, сорок километров по Казанке. Сосны растут.

— Хорошо, — говорит, — пусть Кратово. А тут как оказался в такую рань?

— Сам не пойму, видишь — заплутал. Зато тебя встретил.

— Так ты сам-то доберешься?

— Не первый раз, — говорю, — не бери в голову, земляк, повидаемся, теперь знаю, где тебя искать.

— Пусть так, — говорит, — тогда не болей не кашляй.

— Ну а не здесь, — говорю, — мало ли что и как, а там у нас время будет, поговорим.

— Нормально, — говорит, — чем еще там заняться — пива не дадут, хотя и в бутылках. Одни разговоры...

Садись, покатай это яблоко да на серебряном блюде.

РАССКАЗЫ



ХОРОШО ГУЛЯЛИ!..

1

Летом тяжело в Москве: духота, потное безумие приезжих, бьющих тебя чугунными чемоданами и пудовыми сумками, бесконечно отупляющие маршруты, сладкая с мыльным привкусом вода в режущих глаза красных автоматах, тающее в липких пальцах мороженое... Но это для отпускника — что его гонит по переходам и жарким адом пышущим магазинам? А для человека служилого, работающего, втискивающегося, как в кисель, в липкий от тел автобус где-нибудь в Орехово-Борисове, чтоб потом полтора часа прыгать из метро в трамвай — на Преображенку, да еще в Строгино!.. И будто в невероятном сне, сквозь заливающие потом глаза вдруг увидишь мерцающий мираж из другой жизни: прохладную речку, почувствуешь из ушедшего навсегда с миром детства запах влажной осоки под корявой, нависшей над водой ивой, еще ниже вязкий — по грудь — ил, а выберешься, шагнешь дальше, бухнешься с головой — и вынырнешь у того берега с заросшим неполотою картошкой полем, а за ним на бутре лесок, ткнешься носом в зеленый, всегда прохладный мох, раскинешь руки...

Я потому и согласился сразу, не подумав, не успел подумать, да что мне за дело, что там будет и как: «У Коли день рождения, сорок лет, юбилей, а ему грустно, одиноко, с семьей сами знаете как, поедемте, вы ни о чем не заботьтесь, я все куплю, и билеты, я знаю, у вас нет денег, не нужно, но он будет так счастлив, да и одной мне неловко...»

Господи, подумал я, да будь он неладен, этот город с его колбасой, хоть на день вырваться, очнуться, неужто в самом деле возможно, о чем мечталось, снилось, что ушло навсегда, а ведь есть, существует, не может не быть... Я положил телефонную трубку. Сядем в поезд, подумал я, и он будет счастлив...

Тут была закавыка, конечно, но я ж говорю, что не успел подумать, у меня мозги были расплавлены от сумас-

шедшей жары. Закавыка была в Розе Рафаиловне и Коле — мне-то зачем влезать в их дела?.. Это верно, но с другой стороны — у Николая день рождения, юбилей — неужто сорок лет! А как же, плотные были годы, много чего успел, за него больше успели, но сейчас-то ему, верно, одиноко, грустно, он будет счастлив, а я увижу то, чего вроде бы и нет на свете...

Но это я потом принялся размышлять, на другой день, утром, часов шесть было, как выбрался на улицу... Суббота, пустой чистый город, без машин, прохлада неведомо откуда — едем! Это я уже в метро сообразил, сижу себе, просторно, прохладно, не зря сказано: кто рано встает, тому Бог подает! Будто не по дурацкому, хотя и гуманному делу еду да еще в ненужную мне кашу — а уже не здесь, уехал, и то самое, о чем мечталось — началось...

У меня и верно денег нет, пустой, как бы я поехал, если б и вспомнил, что ему сорок лет, да и какой юбилей — в чем душа жива другой раз не понять... Батюшки, вспоминаю я, и хотя прохладно, народу никого, а жарко становится — там же его жена должна быть, Валентина, а у нее с Розой Рафаиловной...

А что она к ней вяжется, думаю я, эта Валентина, на нее поглядеть, на Розу Рафаиловну... Но дело не в ней, думаю, не к ней мы едем, а к нему, к Николаю...

Я его, пожалуй, лет пять знаю, постарше казался, как встретились, а ему, выходит, аккурат, как мне сейчас, было. Так не сравнишь его жизнь с моей: в моей беде кто виноват? — да никто, сам и виноват, кто мне велел с работы уходить, жену оставить, копался бы сейчас в своей клубнике — или уже отошла, июль на дворе? Пусть отошла, там этих разных ягод... Да и речка, вспоминаю я, что теперь миражом оборачивается, всегда под боком, хоть спи в ней, когда с женой неохота. Ну охота мне с ней спать или нет — до того, как я понимаю, никому нет дела. Но — не заладилось, а верней сказать, клубника, конечно, хорошее дело, особенно если с молоком — в глубокую тарелку, зальешь ее холодным, чуть ложкой придавил, чтоб порозовело, и... Это мне хочется, чтоб так выходило — принципиальное расхождение, разные идеологии, мироощущения: у вас клубника, а у меня — свобода, скажем... Да ну, какая там свобода — *новая жизнь* мне открылась, а в ней все не так: что у вас хорошо, у меня теперь... Плохо, что ли?.. Нет, не так примитивно, иначе, по-другому: мне

нужно перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь, от себя отказаться, умереть и — воскреснуть... Нужно. Но способен ли я на это?.. Да, пожалуй, мне только хочется, чтоб так было, а на самом деле проще: встретил Татьяну и все, что нагородил: дом построить, дерево посадить, сына родить — все пошлостью обернулось, советским китчем. Конечно, пошлость, только не понять, почему она теперь миражом блазнится, эта пошлость, тарелкой клубники в молоке или речушкой в осоке — может, устал, жара мозги плавит, а если еще проще — слабоват?.. Ну едва ли все-таки так примитивно — разве случайность, что я ее встретил, случайно все, что было со мной, с нами, что нашел я в себе силы расстаться?.. Это путь, а я в самом начале, новая жизнь, а я слишком мало о ней знаю, не готов, тут что ни день — наука...

Вот тогда я с Николаем и встретился. Мне податься некуда, а ему всегда — некуда, у меня беда — от клубники с молоком отказался, характер показал, жизнь выстраиваю на гранитной основе принципа, а он в те года, когда я сопляком желторотым из класса в класс перешагивал, в университет протискивался, вступить не вступить в комсомол — как с голыми руками на штыки, он в те розовые шестнадцать — уже по пересылкам, потом свое это самое средне-высшее тянул, а разве в том дело, за что ему впаяли?

Битый мужик вернулся, мы встретилась, когда он прописку себе организовывал, куда только ни нанимался, поближе к Москве, конечно, хотя и не в колбасе у него было дело. Москва, пусть и режимная, все знают, а издали думается, легко затеряться — кто ты такой, чтоб особый интерес вызвать, это в любой провинции — торчишь, как гвоздь в башмаке, глаза мозолишь. А ему и хотелось — затеряться, пусть позабудут, разобраться, себя понять, а уже знал — только в толпе. Где еще побольше толпу найти, как не в Москве — десять миллионов. Но ведь как просто придумано: паспорт, ЖЭК, работа — хитрая сетка, а на любую рыбешку.

Думается, он тогда и пить начал, раньше-то где ему было, если с шестнадцати лет спецобразование получал на казенных харчах.

Какие все-таки люди разные, думаю я, для меня свобода была — сил набраться и все, что на песке нагородил, бросить, за Татьяной кинуться по первому слову (да если

б хоть *слово* было, то-то обернулась мне эта свобода!), а для него она в том самом *доме*, хотя твердо знал: песок — не фундамент. Конечно, покоя хотелось, тишины, своей крыши и четырех стен, двери с замком, а ключ чтоб у него в кармане.

Надо ж, думаю я, такой битый мужик, а его только ленивый не обидит. У этих звонарей нюх особый на его деньги, он им и так отдаст, поставит — гуляй рванина! Но ведь они пьют с ним, а потом двое — за руки, а третий по карманам шарит. Да не то здесь удивительно, что он выбрать не умеет с кем пить, а то, что через неделю — гляжу, они опять вместе и опять за его счет. Да что звонари, где б ни жил — мусора тут же выделяют, будто отметина на нем, хотя не провинция, десять миллионов и интереса для них в нем никакого, а выходит — есть интерес! «Смотри, мол, Коля». — «А что мне смотреть, все нормально, работаю». «Сегодня нормально», — говорят. И верно, на завтра получит деньги, еще до магазина, рассказывает, не добежал, глянь — мусор: «А ну-ка давай сюда», — и в подъезд. «Ты что, — говорит Коля, — уж не на мокрое ли дело?» — «Поговори у нас...» — и всю получку выгребают.

Тут кто б не запил, а ведь он, хоть и пьет другой раз неделю, но работает — и столяр, и плотник, и слесарь. Глаза у него хорошие становятся, грустные, с усмешкой и что-то бормочет, будто и кусок дерева у него под руками живой. И не дорожится, хотя бы и за обед, все равно деньги до утра не доживут.

Конечно, ему бабу было нужно, сразу все проблемы, он это знал, но и тут закавыка: мне не понять, что они в нем сразу видят — или тоже нюх особый? — только где б с ним ни оказались, пусть там жигулисты, артисты, фарца или чин какой в кожаном пиджаке — все бабы у него, у Коли. Но ведь и бабы какие по нынешним временам: если девчонка — тут и говорить не об чем, зачем она, а те, что посерьезней, за тридцать — у них свои проблемы, своя химия: день-два, а на третий — будь здоров, Коля, мне не семнадцать, а с тобой гнезда не совьешь.

Тогда Валентина и объявилась. Ну, не мое дело, да и откуда мне знать, как и на чем у них сладилось, я и на венчании был, и обед-ужин после церкви; две года прошло, ихний Лешка мой крестник, а уже давно замечаю, нет сомнения — сбежал бы, вроде как я, когда б у него силы на то были. Так нет уже сил. Добили мужика...

Мне выходить на следующей — три вокзала, а в голове все какая-то ерунда про Николая. Как он прошлым летом, такой же июль, только жары этой не было, дожди — заходит ко мне утром на пост. Пост — клетушка под лестницей: топчан, стол с двумя телефонами, как у большого начальника. Утром самое время: служивый народ разбирает ключи, приятели-алкаши до вечера не заглянут, тишина, можно читать, записывать всякую ерунду, о том о сем вспоминать... Заходит, стянул кепку, закурил, а пальцы дрожат. «Плохо, Коля?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — нормально. Вчера было, а сегодня нормально. Я думаю за ягодами — у тебя нет какой-никакой посуды?» Нашел ему ведро, уборщица тряпки отмачивала, отскребли содой. «Это дело, — говорит, — пока полное не наберу — не вернусь». — «Ты что, — говорю, — это ж Москва». — «Это для вас Москва, — говорит, — а для меня — Россия. Ты не сменишься?» — «У меня вечером сутки заканчиваются». — «Порядок, — говорит, — жди».

И верно, еще не стемнело, вваливается: исцарапанный, рожа красная — и ведро на стол, на телефоны. Поднял лопухи, а оно полное — земляника, черника, малина — запах в моей клетушке, дух захватило.

А тут сменщица, старушонка с двумя внуками. «Во как поспел, — говорит Коля, — наваливайся, ребяшня...» — «А я, — говорит сменщица, — варенье варить любительница». — «Вот и ладно, — говорит Коля, — а то у нас таза нету. Сдавай ключи, потопали». Нашарили мы с ним два с полтиной по карманам, еще до закрытия успели...

Рано-то рано, а здесь народ гудит, как муравьи, вон она куда Москва перетекает — уикенд. Ладно, рассосутся, нам далеко, часа два, что ли, я не был никогда, а наслышан про тамошние чудеса — подышим!.. Какая жизнь нескладная, думаю, простое дело за город вырваться — проблема, да я с тех самых пор, как... Да, с тех самых пор и не был, все боялся чего-то упустить, опоздать — а что успел, да ничего. Ну так-то тоже едва ли стóит, чему-то я все-таки научился. Внутреннее от внешнего отличать, скажем. Последний прокол в этом образовании и был у меня с Татьяной, научила, век не забуду. На том и спасибо ей... Стоп, а этот что тут делает?..

— Здорово, Женя, — говорю,

— Стало быть, правильно, — говорит, — а то у меня голова не варит, я уж думал, не тот вокзал.

— А тебе какой нужно?

— Нам вместе, — говорит, — Коле сорок лет.

Вот так номер, думаю, это она перестраховалась, что ли, или ей меня одного мало?

— Тебя Роза Рафаиловна выдернула? — спрашиваю.

— Боюсь не доеду, — говорит, — сейчас бы пива глотнуть...

Подобрала бригаду для спасения... Может, сорваться, пока не поздно, там такая будет речка-осока... Но как подумал, что обратно ехать, два дня глотать духотищу, денег нет, уже договорился, чтоб меня подменили...

— У тебя ничего такого нету? — глядит на меня жалобно, глаза потухшие, а тоже орел был — «Женя-диссидент»,

— Нас везут как представителей общественности, — говорю, — мы должны быть на высоте момента, а потому сухой закон до наступления банкета.

— Не доживу, — Женя крутит головой: бледный, помятый — персонаж, только из какого произведения?

Из романа об утраченных иллюзиях, думаю. Тоже, кстати, выбрал в свое время свободу: бросил работу, а ведь карьеру начинал, родители проклинали — сторож, вроде меня; ночи напролет споры-разговоры, Россию спасают, уезжать не уезжать, монархия-демократия, евреи, теодиица, Фаворский свет... Как же, и мы с Колей сживали на ихних сборищах: дым коромыслом, звенят стаканами... «А вы как, Николай Степанович, думаете?» — они уважительно к Коле, при нем, все-таки сиделец, постарше, с детства крещен, не то что эти сосунки. «Я думаю, — говорит Коля, — или бормотуха, или про Фаворский свет. Да вы уж выбрали, ты никак, Женя, за пятой бутылкой побежал? Ладно, налей и мне... Устраивает такой ответ или еще чего разъяснить?» Замолкали, хотя и видать: злятся, он строго с ними разговаривал, и стрезва об этом не любит, не то чтоб за бормотухой. Эх, Коля, Коля, думаю.

— Ты где теперь живешь? — спрашиваю Женю.

— У одного жлоба, — говорит. — Профессор кислых шей. Квартира, машина, денег куры не клюют. Роза Рафаиловна, кстати, и устроила. Утром мне кофе варит, вечером рюмку коньяка и рокфор. Темнота. Ничего не волокет. Неужели, спрашиваю его, вам не стыдно платить партийные взносы, лучше б бедным отдали или зекам...

— А с кем бы ты тогда коньяк пил? — спрашиваю.

— Я с ним не пью, — говорит, — я ж тебе сказал: рюмочку под рокфор. Я пытаюсь его совесть разбудить, он же человек, не может быть, чтоб совести не было, верно? Если хочешь, он должен быть благодарен, что даю ему возможность реально ощутить свою вину перед всем, что вокруг происходит. У него квартира, машина — а у меня?.. Я ему Евангелие читаю, он его никогда в глаза не видал.

— Рисковый ты малый, Женя, вдруг проймешь — и он с тобой местами поменяется?

— Нет, — говорит, — с ним лет пятьдесят надо работать, у меня терпения не хватит. Болото... Где ж она, на поезд опоздаем?

— Ты давно Колю не видел? — спрашиваю.

— Месяц назад он приезжал за продуктами, мы с ним пять дней гуляли. Я его до поезда провожал. Видишь как, работает голова — вспомнил вокзал.

— Продукты ташил?

— Какие продукты, его нельзя одного оставлять, к нему всегда вяжутся, а здесь милиция у каждого столба. Я ему мешок самиздата сплавил. За мной уже полгода ходят. И еще Роза Рафаиловна кобеля добыла.

— Какого кобеля?

— Черного, — говорит, — молодой еще, глупый, а уже с телка. Его там побили, Колю, ну Роза Рафаиловна и добыла ему для самозащиты. В деревне, мол, нельзя без собаки.

— Это для кобеля, что ли, самиздат? — спрашиваю.

— В том и дело, — говорит, — что кобеля надо кормить, а у них мяса и на Пасху не бывает. Может, правда, Валька его перевоспитает, он сено начнет жрать. Коля теперь возчиком в совхозе, бочку с водой возит, отщипнет для своего кобеля, поделится с рысаком.

— Если за тобой ходят, — говорю, — зачем ты ему мешок ташил, да еще на вокзал, где у каждого столба... Теперь за ним будут?

— Ну — или будут, или нет. Он согласился. Не мальчик.

— Если пять дней гулять, он бы и не на такое согласился.

— Трус в карты не играет, — говорит.

— Дураки играют, — уточняю.

— Что-то ты в последнее время очень стал разумным, — прищурился он на меня.

— Научили, — говорю, — с дураками дело иметь — самая наука.

— Я бы с тобой поговорил, — вздыхает, — но у меня и глядеть на тебя сил нет.

— С вами безопасно, — говорю, — когда еще у вас силы будут. Только на это самое хватает...

— Ой, ребятки!.. — слышу. — Простите меня, бежим — вон поезд, три минуты осталось...

Картина, конечно, достойная кисти... передвижника. Но сейчас у меня времени нет рассматривать. Хватаю сумку, вторую... Господи, как она все это дотащила, у меня плечи затрещали...

— Не туда!.. — близоруко щурится. — Вон, кажется, платформа... Нет, другая...

— Нам какой поезд? — спрашиваю.

— Поезд?.. Женья, что же вы?..

Женья настолько переполнен презрением ко мне, что не шелохнулся, пока мы мечемся перед ним по платформе. Сплювывает, руки в карманах.

Она бросает свои сумки.

— Что с вами, Женья, вам плохо?

— Ты бы сумки взял, артист! — кричу.

— Поезд перед вами, — говорит.

Проходит мимо меня к поезду. Хватаю и ее сумки, вламываемся в последний вагон, еще б полминуты — остались. Двери задвигаются...

— Погодите!.. — кричит Роза Рафаиловна. — Я хотела воды купить, лимонаду для Варвары Никитичны...

Женья на меня обернулся, ухмыляется, простил, стало быть. Ого, даже лапу протянул за одной сумкой... Протискиваемся в вагон.

— Как обидно, — говорит Роза Рафаиловна, — все успела, а тут...

— Не огорчайтесь, — говорю, — в деревню лимонад не возят. Они квас употребляют.

Удивленно на меня глянула, ничего не сказала. Сумки я распихал по полкам, на крюки, в проходе можно стоять, через полчаса-час начнут рассасываться, сядем. За окнами еще Москва, все те же дома, башни, краны, пустыри с железным хламом, хотя бы скорей зелень — лес?! Уже не могу дышать спертým горячим паром. Пар, не воздух, а в

нем смрад, город копил его год за годом, выдавливал неестественность дикого человеческого скопища, объединенного... Чем объединено это скопище — заботой о куске хлеба? Да кабы так, все было б не так, здесь иная общность, она опутывает ложью, вскормлена и вспоена ложью, в ней исчезает, тонет, захлебывается все простое и ясное: уважение к старости, боль перед беспомощностью инвалида, сострадание к нищему, сочувствие к бездомному псу или копающейся в отбросах кошке; так элементарен в этой вавилонской печи кровавый ад бойни, перемалывающий на колбасу жалко мычашее стадо, — не дай Бог взглянуть в глаза под увенчанным рогами лбом: безнадежный, загнанный в глубь существа ужас... А рядом пошлость современной застройки, убогий крикливый сервис... Миллионы и миллионы людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом торопливо выходят утром из подъездов, пряча в карманы ключи от так мучительно, чаще к зрелости выбитому жилищу, кидаются в один, второй, третий транспорт, а в конце дня тупые от усталости, бессмысленно прожитых часов, обвешанные сумками, кошелками, пакетами, забираются в тот же, обратным ходом следующий, распаренный за день транспорт, вываливаются у своих подъездов, поднимаются к себе — к своим плитам, телевизорам, погружаются в окостеневший в своем уродстве быт, поглощают пищу... Разве это хлеб, который человек призван зарабатывать в поте лица? Его путь от колоска так бесконечно далек, что невозможно представить за ним поле, где он колосится, а порошок, ставший молоком, добыт в какой-то мрачной шахте, оно не могло быть подарено человеку странным реликтовым существом с колокольчиком на бурой шее... Господи, как я ото всего этого устал и как мне это все надоело!..

Розе Рафаиловне предлагают место — малый в маечке «Marlboro» отправился покурить.

— Женя, садитесь, — говорит она, — у вас измученный вид.

— Он не любит *сидеть*, — говорю, — верно, Женя?

— Еще не вечер, — огрызается он, — это мы еще узнаем, кто из нас любит, а кто нет.

— Так вы не сядете? — щурится она.

Подталкиваю ее к освободившемуся месту.

— А кроме лимонада, — спрашивает Женя, — вы ничего не позабыли?

— Вы имеете в виду выпивку?

— Именно ее, — говорит.

— Как же, — улыбается Роза Рафаиловна, — я понимаю, вы все народ пьющий: шампанское, коньяк, водка, сухое вино. Вот только лимонад...

— А пиво? — у Жени глаза ожили.

— Да, конечно, две или три бутылки.

— Две или три, — говорит Женя, — разницы никакой, а Николаю нельзя пиво с водкой. Он впадает в отчаяние.

— Что ж я наделала! — вздрагивает Роза Рафаиловна.

— Мы этой беде поможем, — говорит Женя, — давайте бутылку...

Ну, мне на это смотреть не обязательно, пойду покурую. Выбираюсь в тамбур.

Поезд со всеми остановками, народ валит мимо меня к выходу, всем охота на травку. Того же самого всем охота, что и мне, а стало быть, не все еще потеряно, я-то живой покуда, ну и все остальные — живы; давят нас, опутывают, перемальывают на колбасу, у каждого своя история и каждому дано в ней выстоять или пропасть. Но это уже от тебя самого зависит — пропадешь ты или нет. У каждого своя история, варианты в ней бесчисленны, а суть одна. Она всегда была одна. Это только со стороны кажется, что твоя ситуация уникальна, нет — одни и те же искушения, две тысячи лет назад нам о них сказали, кто ж виноват, что не слышим... Разве я о том жалею, что у меня клубники теперь нет, что женщина, которую так любил, одна она и казалась светом в окошке — где она? Мне время жалко, что не вернуть, сил, растраченных неведомо на что. Зато опыт, собственный, не из книжки. «В чем же он?» — спрашиваю я себя. В знании того, что мне не нужно, или в сострадании к тем, кто того не знает?..

Возвращаюсь в вагон. Он наполовину пуст. Женя расположился вольготно, один на скамейке, возле него две опорожненные бутылки из-под пива. Открывает третью.

— Твоя, — говорит Женя.

— Спасибо, я и так в порядке.

Сажусь возле них. Теперь я могу ее рассмотреть. Розе Рафаиловне под шестьдесят, а может, и шестьдесят исполнилось. Я никогда не видел ее такой нарядной: светлое платье, новое, туфли на высоких каблуках, волосы коротко подстрижены, седина ей к лицу, нос большой,

еврейский, унылый, зато глаза хорошие, живые, заинтересованные...

— Вот ты послушай, — говорит Женя, — Роза Рафаиловна убеждена, что образование дает человеку свободу, что стоит просветить наш несчастный народ, рассказать ему о тайне атома и общественном договоре — и все сразу полюбят друг друга, оковы тяжкие падут, черные «волги» станут общенародным достоянием, как и красная икра, и все мы, взявшись за руки, закружимся в очаровательном хороводе.

— Вы передергиваете, Женя, — спокойно возражает Роза Рафаиловна, — я ничего не говорила о народе, я не умею мыслить такими категориями, я говорю о Коле... Он так хочет учиться...

— А вы считаете, его мало учили? — спрашиваю.

— В том и дело, — говорит Роза Рафаиловна, — я первый раз встречаю человека, у которого была бы такая тяжелая жизнь, он мог бы озлобиться, всех и все возненавидеть, пропасть, а он... Да я не знаю человека добрей и... если хотите — талантливей, отзывчивей на все хорошее. Ему нужен покой, тишина, возможность получить настоящее образование. Он столько страдал, ему просто не везет.

— То есть создать для него уникальную ситуацию, — Женя отхлебывает пиво, — пусть он потихоньку превращается в свинью и плюет на то, что происходит рядом.

— Ну почему все надо валить на одни плечи — хватить с него!

— Потому что злость нужна, а не отзывчивость неизвестно на что. Для чего его учили столько лет, тогда и процесса никакого — напугали, залез под кровать, сиди тихо?

— Ну а вы хотите, чтоб его снова посадили? — взволнованно говорит Роза Рафаиловна.

— Вы меня про меня спрашиваете или про него?

— Мы говорим о Коле, — пожимает плечами Роза Рафаиловна.

— Если вы так к нему хорошо относитесь, — говорит Женя, — и так убеждены в его неведомых мне дарованиях, то надо бы не дом ему покупать, чтоб он корни пускал в почву, которая уже и картошку не родит, не то чтоб гражданина вырастить, а зарегистрировались бы с ним да получили вызов, благо вы еврейка и у вас мужа нет. Вам это ничего не стоит. И мотать отсюда пока не поздно. Зачем ему здесь торчать — *зачем он здесь?*

— Бог с вами, — Роза Рафаиловна покраснела, — я действительно еврейка, но для меня, как и для Николая Степановича, не может быть другой страны, или, как вы говорите, почвы.

— Да в чем она, эта почва?! — злится Женя. — Для вас и для... Николая Степановича? Или вам не надоело... Да ну, и говорить неохота... У него — Валька, что ли, почва, или теща, которую вы лимонадом хотите потчевать?

— Валя, как мне кажется, не совсем то, что для него нужно... — Роза Рафаиловна подбирает слова, — Но это мое мнение, я могу ошибаться, а он ее, наверно, любит... Вы его друг, лучше знаете. Он верующий человек, они венчаны...

— Черт бы вас побрал, гуманистов! — машет руками Женя, — вам на голову... а вы утираетесь. Да кому эта доброты нужна, какой от нее прок? Ну зачем вы ему дом купили, у вас у самой, я знаю...

— Мне это было легко, — говорит Роза Рафаиловна, — я получила большую сумму за перевод, мне сейчас не нужно, а дом подвернулся — просто повезло. Вы сами только что сказали — рядом люди страдают, вот я и помогла тому, кто рядом. Что в этом плохого?

— Безнадега, — Женя глядит на распотрошенную сумку с торчащими бутылками, в промасленной бумаге, видно, куры, еще что-то... — вы до самой смерти ничего не поймете, как ваш друг, к которому меня на жительство определили. Дом купили, помогли тому, кто рядом... Чем хуже — тем лучше! Неужто до сих пор не ясно? Полякам мяса мало, — они уже готовы на баррикады, а у нас и картошка кончится, мы еще сто лет лебеду будем трескать. Вот, может, когда лебеды не станет, опомнимся.

Силен, думаю, хорошо хоть народу мало, никто не слышит, а то бы не доехать...

— Но у него ребенок, — не сдается Роза Рафаиловна, — как же можно об этом не думать?

— Ребенок должен вырасти гражданином, а не лакем, который за картошку или кусок мяса свободу продает... — режет Женя. — Зачем вы меня тащите, Роза Рафаиловна, дайте одну бутылку — я, пожалуй, обратно поеду.

Она беспомощно смотрит на меня, в карих глазах слезы:

— Коле сегодня сорок лет, я думала — напомним его друзьям, устроим ему праздник, он вас так ждет, я послала телеграмму, что мы едем...

— Да что он сделал за свои сорок лет, — горячится Женя, — с чем мы едем его поздравлять? Отсидел в лагере, так не он же сел, его посадили — в чем там был героизм? Для меня он, если хотите, Коля ваш, символ такой бессмысленной пассивности — фронда с бутылкой в кармане, не пассивность, что ли? Хуже!.. Ты что усмехаешься? — глядит на меня с вызовом. — Да, я тоже пью, но я дело делаю, для меня христианство — не бегство от жизни, не мечта о тишине и собственной конуре с курицами, мне другое веселит душу — голову положить за других. Да какое у него право это свое бессилие на других вешать — на ту же Вальку, пусть она стерва, на Розу Рафаиловну, пусть она от чистого сердца или, простите меня, от глупости... А взамен что? Эгоизм, бессилие... Да я ни разу не слышал от него ответа на роковые вопросы — чему его научили? — а мы за них готовы...

— Что вы говорите, Женя!.. — Роза Рафаиловна всплескивает руками.

— Вы думаете, зло — это метафизика? — голос Жени набирает силу. — Оно реальность, оно именно в такой пассивности и бесовском эгоизме, самая питательная среда, это только кажется, если ты не укоренен в социуме, то и не участвуешь в строительстве так называемого счастливого будущего. Участвуешь! Так же, как ваш профессор, кстати, только с другой стороны. Непросыхающие слезы жены — кем бы она ни была — участвуешь, непросыхающим пьянством — участвуешь!.. Вон оно зло, которое стало реальностью, а не книжным термином. А что ему самому от того плохо — разве его извиняет, поздравлять его с этим, им восхищаться?

— Что же вы тогда... — начинает Роза Рафаиловна и не может продолжать.

Ах ты гад, думаю.

— Женя шутит, — говорю, — он любит обострять ситуацию, а на самом деле добрый, отзывчивый человек и очень любит детей, красную икру и... курятину. А лебеду трескать не хочет даже за ради свободы. Он и пиво пьет от смущения, от скромности, а самому коньяк охота, хотя ему и пива пить не следует. Это, Роза Рафаиловна, от комплекса неполноценности. И Россию он любит, эмигрировать не собирается — кому он там нужен? Болтает незнано что, чтоб про него, не дай Бог, не так не подумали. Верно, Женя?

— Тьфу, — плюется Женя, — дай сигарету, я на вас глядеть не хочу.

— Он еще молодой, — говорю, — необмятый, вы на него посмотрите, Роза Рафаиловна. Румянец, как у девушки, хотя сколько лет уже лимонад не употребляет, каждый вечер рюмку коньяка под рокфор, хотя давным-давно на коньяк не зарабатывает. Это свидетельство душевного здоровья, детскости, хотя пора бы давно мужчиною стать. Стоит ли обращать внимание на его слова, когда они для него ничего не значат, он еще не знает или позабыл, что за каждое праздное слово следует наказание, за него отвечают, да уж спросят, Женечка, за каждое словечко спросят, не сомневайся...

Женя выхватывает у меня сигареты. Он по-настоящему обозлился, на лице действительно полыхает румянец, желваки вспухли, светлые глаза сощурились под чистым лбом, волосы ежиком... Как бы в драку не полез.

— Ты дождешься у меня, — говорит.

— Спички не забудь, — говорю ему в спину.

Не обернулся. Знаю я таких, это город корежит людей неутолимым тщеславием, жадной первенства, путает правду с истиной, силу со слабостью, сострадание подменяет якобы трезвостью... Она сами себя забывают, себя самих не понимают, стесняются, а пройдет сколько-то лет — где оно, свое, ничего не осталось.

— Устала я, — говорит Роза Рафаиловна, — может, он прав, чем к людям лучше, тем им хуже.

Странный она все-таки человек, думаю. Я не очень хорошо ее знаю, видел раз десять, все как-то случайно, а она ко мне всегда по делам обращалась: кого-то найти, кому-то что-то отвезти. Я и дома у нее побывал, тоже не в Москве живет, в дачном поселке, там такое несчастье — поздний больной ребенок, мужа нет — бросил ее, какое-то запустение, а никогда о себе. «Что же ее с Николаем связывает?..» — думаю. Но ведь она больше года с ним возится: дом нашла, деньги дала на покупку, прописку выхлопотала... И за что ее Валентина невзлюбила — ревность, что ли? Наверное, а как иначе понять такую доброту, в чем-то должна быть корысть — зачем он ей сдался, пропащий, спившийся, простой мужик, а она женщина образованная, у нее своя, другая жизнь...

— Женя, конечно, в чем-то прав, — говорит она вдруг и глядит на меня карими беспомощными глазами, — ви-

дите, как он расстроен, нервничает... Только я не могу понять и принять такой правды.

— Сколько людей, столько и правд, — говорю, — какая ж тут правота — разве это истина?

— Правда — не правота... — смотрит на меня с недоумением, — а истина — это что?

— В том и загвоздка, Роза Рафаиловна, — говорю, — но мы это, к сожалению, умозрительно понимаем, а надо бы сердцем. Пропащий, пьющий мужик, мучает жену и тещу, не думает о ребенке, дела не делает, а жатва созрела... А я, к примеру, пью, но себя и свое дело не забываю, жену с тещей и ребенка не мучаю, всего лишь бросил. Но тот грех когда был, покаялся в нем, давно простили. Конечно, я лучше, а если к тому же по первому звонку отправился к этому пропащему на юбилей, хотя и за чужой счет, но проявил внимание, от своих занятий отказался, планы в угоду этому никому ненужному юбилею изменил, а если б еще и жену не бросал, и у меня было б пятеро по лавкам, то и упрекнуть не в чем — чем же я не хорош, почему бы собой не погордиться и не высказать свою правду, если кто не понимает?

— Какая все-таки христианство — жестокая идеология, — говорит Роза Рафаиловна.

— Христианство не идеология, — говорю, — а то, о чем я вам сейчас сказал, тем более — не христианство.

— Но вы же... то есть и Женя — христиане?..

— Зачем мы будем о Жене, — говорю, — я о себе.

— Господи, — вздыхает она, — значит, и вы так же думаете?

— Ну, что я думаю, это едва ли интересно, — говорю. — В Евангелии есть такое место... У Луки, глава седьмая. Спаситель пришел в дом некоего Симона, тот Его пригласил. Они возлегли у стола, в дом набилось много народу — посмотреть и послушать Учителя. И среди них всем в городе известная своими пороками женщина, блудница. Народ сторонился ее, к ней было зазорно прикоснуться, хозяин дома был смущен ее присутствием в такой важный для него день, а Спаситель, *услышавший их мысли*, предложил им притчу... Вы помните ее?

Роза Рафаиловна пожимает плечами:

— Мне трудно читать эту книгу.

— Понятно, — говорю, — мне тоже бывает, трудно. Но это моя проблема. У одного заимодавца было два

должника, — сказал Спаситель, — один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, обратился Он к Симону, — который из них более возлюбил его?..

— Не понимаю, — удивляется Роза Рафаиловна, — это естественно, само собой разумеется... Что вы хотите этим сказать?

— Это не интересно, — повторяю я, — да и что я бы мог сказать? Но в этой притче, как и в других, впрочем, рассказываемых Спасителем несчастному, заблудившемуся народу. — существо христианства, которое, как вы уже по этой притче можете судить, никак не идеология, а жизнь во Христе. А мы, так называемые христиане, об этом забываем. В отличие от вас, Роза Рафаиловна. А потому я тоже никак не могу понять — зачем вы тащите нас на юбилей Николая Степановича, зачем накупили ему и его жене, которая вас терпеть не может, кучу продуктов, а перед этим дом в деревне — в чем тут ваша корысть, а, Роза Рафаиловна?

2

Мы идем проселком, реденьким лесом, слева просвечивает поле, справа лес погуще, кусты, но тоже все кажется, вот-вот откроются какие-нибудь постройки. Почему-то никак не наступает ожидаемое мною отдохновение: духота, как в городе. Или я так устал, измучен, да и дурацкий разговор в поезде выбил из колен. К тому же пока мы двинулись этим проселком, метались по раскаленной, заплыванной привокзальной площади, искали автобус, пока выяснили, что один только что ушел, другой сломался и не пойдет совсем, а третий будет часа через два, не раньше, да и то неизвестно, пока, наконец, решили добираться своим ходом и выясняли маршрут, к тому времени больше всего хотелось никуда не идти, лечь где-нибудь на загаженную, заплыванную землю, под грязную лавку...

Где ж она, прохлада, шелест листьев, вымечтанная речка в ивах, цветы и птицы?.. Редкие сосны, духота от раскаленных стволов, пожухлая по обочинам трава, поникшие кусты; ташу две сумки с булькающими бутылками, одну всучил Жене — мрачный, злой, плетется где-то сзади, еще одна, полегче, у Розы Рафаиловны, она никак

не решится снять туфли, колко без привычки по такой дороге. Я весь мокрый, смахиваю пот со лба. Идем уже минут сорок, почему-то темнеет, а вроде совсем рано...

Мы не разговариваем, да и какой разговор в такую жару. Три человека, которых свело неизвестно что на проселочной дороге в реденьком сосновом лесу. «Кто мы такие?» — думаю я. Ну, кто я такой, мне известно, а о чем думает Женя — просто злится, хочет скорей выпить или размышляет над тем, что наговорил, ему неловко, он не дурак да и с Колей они друзья, раздражен с похмелья, наболтал невесть что, а на самом деле... О чем думают люди, оказавшиеся в той же ситуации, что и ты? Но если он пришел к той же ситуации собственной дорогой, то и ситуация у него другая, для тебя это, скажем, ситуация, а для него — времяпровождение ...

Сколько человек — столько правд, думаю я, а истина одна. Но откуда мне известно, что именно я знаю истину, вот ведь не могу понять Розу Рафаиловну, а с точки зрения истины — где ей место? Да уж никак не на этом проселке... Это с точки зрения моей правды, поправляю я себя, а с точки зрения истины нам всем место... Лучше о себе думать, тут легче не ошибиться: коли я все о себе знаю — зачем я-то тут с этими сумками?.. И безо всякой видимой связи и логики я вспоминаю Татьяну, наше последнее свидание, разрыв и все, что было перед тем, счастье такое же душное, как этот день, как эта дорога под соснами — без прохлады и шелеста листьев, без пения птиц и луговых цветов... Духота греха, думаю я. Как все просто с точки зрения истины, почему-то только задним умом понимаешь, что есть грех, а что... Да и то если тебе повезет — ткнут носом в собственную мерзость. Какая ж это свобода — пожалели, показали, а сам бы нипочем не отказался, не выбрал... Сам или не сам, думаю, но — пожалели, показали, простили грех! Да и какой грех — всего пятьдесят динариев, пустяк, больше не брал, а у него — пятьсот!..

Духотища, сил нет, надо бы Жене подсунуть, здоровый малый, пусть бы тащил, что потяжелей, ему и веселит душу — голову отдать за других, пусть бы отдал... Ничего не придумать глупей этой прогулки на никому ненужный юбилей... Пятьсот или пятьдесят динариев, думаю. В том и дело, что парадокс здесь, который нашими куриными мозгами не понять, что пятьсот или пятьдесят — разницы

никакой, ты все равно преступник закона, а потому деваться некуда, мало ли много — не твоего ума дело, за-должал — плати, подыхай на этой идиотской дороге...

Роза Рафаиловна впереди не выдерживает, сбрасывает на ходу одну туфлю, хромает за ней, запихивает в сумку, стряхивает вторую и оборачивается ко мне:

— Ой, как хорошо босиком!..

Каких только людей нет у нашего царя, думаю, ну что я про нее могу понять — ничего! Шестьдесят лет, тяжкая жизнь, что у нее впереди? Шлепает босиком, хотя не умеет, вон как ноги ставит, надолго ли хватит; выволокла двух великовозрастных болванов, поить их, кормить, порадовать третьего, рискует нарваться Бог знает на что — или ей это в голову не залетает? Силы девать некуда, дурная, неизрасходованная энергия, доброта, любовь, глупость?.. У кого из нас больше долг, у кого меньше — что мы об этом знаем? Если нечем отдать — простит, только попроси, а фокус здесь в другом: который из нас больше *возлюбил* Его!..

— Далеко еще, — спрашиваю, — вы должны знать эту дорогу? — голос у меня хриплый, хватаю горячий воздух, как рыба.

Она останавливается подождать меня, теперь косолапит рядом, поджимает пальцы на ногах, не решается наступить на подошву.

— Я тут не ходила, — говорит, — мне объяснили: сейчас лес должен кончиться, а там будет поле. Еще с полчаса, наверное, и — Берендеево! Коля заждался, Валя сердится, что задержались, я хоть просила, чтоб она не хлопотала, я сама все сделаю, приготовлю, но знаете — хозяйка... Давайте сумку...

И тут над головой треснуло, будто сосна разломилась, наверху прошумел ветер и опять стихло... Вон она откуда — духотища, темнота! И лес, верно, кончился, впереди поле, где-то за ним вроде бы деревня, не понять, так почему-то надеялся, церковь будет светить нам на том берегу поля — нет, никакой вертикали... Здоровая туча, ровный, кроваво подсвеченный край заглатывает голубизну уже над самой кромкой леса, над нашими головами, вдали — над полем сверкает, в деревне, видать, льет, потому ничего не разобрать, а не гремит...

— Ну, барин, беда, — говорю Жене, он подошел, — буран, теперь держись, подставляй за нас свою голову...

— Переждем, — Женя бросает сумку под дерево, — куда опаздываем, сейчас такое начнется... Давайте, Роза Рафаиловна, на одну бутылку чтоб стало полегче...

Роза Рафаиловна мгновение смотрит на него, туча ее не волнует, хватает его сумку, кидается ко мне...

— Вы как хотите, — говорит, — я не могу ждать, они уже нервничают, да и... Нет, даже лучше, вы пока отдохнете, а я побегу, приготовлю...

Гляжу на Женю с любопытством.

— Чего? — удивляется Женя. — Да мы вас не пустим, вы что, грозы не знаете в чистом поле?

Она рвет у меня сумку, лицо стало решительным — вязать ее, что ли?

— Пойдем, Женя, — говорю, — даже интересно, я тоже не знаю грозу в чистом поле. Конечно, страшновато без покаяния...

Перебрасываю ему забулькавшую сумку, хватаю у нее Женину.

— Вперед, Роза Рафаиловна, авось помилует!

Уже темно, ветер рвет на Розе Рафаиловне новое платье, сзади затрещало дерево...

— Бежим, — кричу, — в лесу хуже!..

Ну, у меня таланту не хватит рассказать: небо над нами расколосось, выбитая колесами дорога перед нами загудела, и уже не понять, сверху бьет или... — и небо рухнуло на нас...

Я сразу ослеп, оглох — град, что ли?! — только мелькнула мысль: уж больно крепко, долго не может быть эдак... Двигаюсь наугад, светлеет впереди платье Розы Рафаиловны, оглядываюсь на Женю, не видать... И опять небо расколосось огнем — и так ударило... Бросаю сумку, догоняю Розу Рафаиловну, схватил ее, обнял, дрожит, стоим рядом.

— Переждем! — кричу ей в ухо. — Лучше стоять, свалимся куда-нибудь...

И тут Женя ткнулся сзади в меня.

— Идиоты, — говорит, зубами лязгает, — ну я припомню этому... Степановичу...

— Господи помилуй, — думаю вслух, — прости нас, дураков окаянных, всю жизнь блудили, про Тебя не помнили, а как дошло до шкуры...

Неужто три часа назад я ехал в метро, лениво пере-сматривал свою жизнь, мечтал о речке-прохладе, в поез-

де поглядывал в окно на улетающий назад гигантский город с колбасой и сервисом, слушал доморощенную болтовню, высказывал собственные глубокомысленные соображения?.. Мы стоим, застряли посреди чиста поля, съезжились, дрожим, уцепились друг за друга — три человека, ничего неспособные понять друг о друге, три козявки, червяка, которым *показали*, кто они такие. Вокруг все вздыбилось, польхает, рокочет, трещит, ломает с тяжелым грохотом, дождь ли град лупит нас по головам, душит, прикрываю лицо, твердая, как асфальт, дорога под ногами стала вязкой — если не убьет, не потонуть бы...

— Господи, помилуй, — думаю я вслух, — благодарю Тебя, показал, научил, если оставишь в живых — не забуду...

Сколько мы так стоим — минуту, пять, десять минут — час? Роза Рафаиловна шевельнулась под моей рукой:

— Вроде светлеет, — слышу, — пойдёмте.

Поднимаю голову: верно, посветлело, ветер крутит, швыряет в нас остатки дождя, над головой только черные ключья, впереди над деревней совсем очистилось, а за нами... Да, было б нам в лесу, благо что редкий, а проредело, вся опушка, как на лесосеке, и отсюда слышать: рокочет, трещит, стреляет...

Я широко крещусь:

— Ну, Роза Рафаиловна...

У нее глаза замороченные, разве о том думает, что *показали, предупредили*...

— У меня же пирог в сумке, — вскрикивает она, — книги, что теперь с ними!..

— Стоп, — говорю, — я ее где-то потерял.

— У меня твоя сумка... богомолец, — бурчит Женя: ишь ты, проявил заботу.

Вид у нас... Платье Розы Рафаиловны в грязи, облипало — головешка обугленная из ведра, Женя... — петушок общипанный, прямо в суп его, с лапшой, да и я, надо думать, хорош.

Ползем по грязи, ей хорошо босиком, Розе Рафаиловне, а мы в своих корочках...

Уже деревня, вода бежит по канавам — ручьи! — больше ни звука, будто вымерло, а как миновали первую избу, петух закричал. Ну — сбилось, о чем мечталось — Берендево!

Глядят, небось, из окон, как же, такое кино здесь не часто показывают.

— Ну вот, — оборачивается на меня Роза Рафаиловна, улыбается счастливо, — видите, как хорошо — добрались! И они не сердятся, поняли, что нас гроза застала...

Да уж куда лучше, думаю, у меня сейчас только об том и забота — сердятся они или нет.

Роза Рафаиловна толкает калитку — болтается без запора, ну да — сапожник он всегда без сапог...

Что-то грохнуло, загремело, я задрал голову — опять, что ли?! Небо чистое, откуда бы?..

— Роберт! — вскрикивает Роза Рафаиловна, — здравствуй, милый...

У меня на мгновение в глазах потемнело: здоровенный кобелина, черный, кровавый язык вывалился, белые клыки, гремит толстой цепью, рыкает, аки...

Хватаю Розу Рафаиловну, выволакиваю назад, стоим втроем с этой стороны заборчика — ну кино!

— Роберт, Роберт!.. — недоумевает Роза Рафаиловна.

— Погодите, — говорю, — «Роберт», сейчас хозяева появятся, хотя бы и спали — услышат.

Цепь длинная, кобелина рывкает у самой калитки, становится на задние лапы, шерсть на загривке дыбом, и тут замечаю: хвост у него пушистый, торчком и — виляет...

Открывается дверь в избе, выглядывает старуха.

— Варвара Никитична, — игриво кричит Роза Рафаиловна, — помогите, испугались Роберта!..

Старуха глядит на нас: хмурая, платок на самых глазах, тонкие губы поджаты — и захлопнула дверь. Нет ее.

Роза Рафаиловна беспомощно озирается. Женя хмыкает:

— «Не ждали», — говорит, — бродячий сюжет из нашей классики.

Роза Рафаиловна рвется из моих рук:

— Пустите, он не тронет, это же...

И тут на меня накатывает злоба: вся эта дорога, разговор в поезде, гроза в чистом поле, «кино», в котором мы зрители... Распахиваю калитку, в глаза бросается полено, хватаю его и иду на эту скотину, я, наверно, страшнее.

— Ах ты, подлая тварь... — я даже зубами закрипел.

Пес поджимает хвост, гремит цепью, пятится, неожиданно поворачивается и трусит к конуре, мелькает в ней хвостом, перевернулся и вывалил морду с красным языком.

Перевожу дух, бросаю полено:

— Прошу вас, дорогие гости!

Идем через двор: темная поленница, чахлая грядка, цветочки, нет сомнения, град был — все побито, в грязи... Изба высокая, крыльцо, одна перилина оторвалась, висит; поднимаемся, открываю дверь, темные сени забиты хламом, толкаю вторую дверь...

— Здорово, хозяева, — говорю, — что ж не встречаете?..

Большая комната в четыре окошка, перегородка доверху не доходит, там вторая половина, печь в полизбы, вдоль нее широкая лавка, а на ней...

— Коля! — кричит Роза Рафаиловна, отталкивает меня, несчастные сумки брякнулись у порога...

Голова нашего юбиляра свесилась с лавки, одна рука на полу, вот-вот свалится...

— Что с ним, Господи?! — Роза Рафаиловна уже на коленях перед лавкой. — Он жив?

В углу под темным образом в окладе широкий стол, на нем грязная посуда, порожняя бутылка, огрызки...

— Опоздали, — говорит Женя, — поезд ушел.

— Да помогите кто-нибудь!.. — Роза Рафаиловна чуть не плачет. — Что с ним?

Подхожу к лавке, поднимаю Колину руку, голову. Спит. Пьян, конечно, не добрался до кровати, вон она — пышная, с подушками, зачем она ему да и кто б его туда затащил?..

Во второй половине — там, видать, кухня — гремят кастрюли.

— Валентина — ты где там? — говорю.

Кастрюли грохочут не по-нашему, не понять. Шагаю туда: печь давно протопили, лавка, на ней ведра... ага, газовая плита... Старуха возится с чем-то.

— Валентина уехала, что ли, — спрашиваю, — вы не получали нашу телеграмму?

— Как же, телеграмма, — старуха не оборачивается, — как глаза продрал, за бутылку. Я тут не хозяйка, ничего не знаю.

— Варвара Никитична, — встречает Роза Рафаиловна, — куда его можно переложить, нельзя же так, человек — не...

— А ты кто такая, что он для тебя человек? — старуха распрямляется, в руках сковорода. — Пришла, ни здоровствуй ни прощай, а туда же...

— Господи, — говорит Роза Рафаиловна, — вы что, не знаете меня?

— Я никого тут не знаю, — говорит старуха, — не хозяйка.

— Пусть лежит, — подает голос Женя, — я ему ботинки снял, еще чего под голову...

Затаскиваю на вторую половину сумки:

— Вынимать, что ли, Роза Рафаиловна?

— Да, да, конечно, — Роза Рафаиловна совсем уничижена. — Видите, Варвара Никитична, мы хотели отпраздновать ему день рождения...

Сумки внушительные, старуха явно смягчается.

— День рождения, — ворчит она, — у него что ни день — рождение. В дому хлеба-сахара нету, ребенок криком, а ему все...

— А Валя-то когда будет? — не унимается Роза Рафаиловна.

Старуха не отвечает.

— Нам бы переодеться, — говорю, — в самую грозу угодили. Есть у него штаны-рубахи, рабочее должно быть?.. — А сам вытаскиваю и вытаскиваю из сумок, ставлю на лавку: бутылки, свертки, пакеты, коробки...

Минут тридцать прошло, едва ли — час, у Розы Рафаиловны второе дыхание, энергия — турбину крутить, она и нас с Женей завела, даже старуха сдвинулась, гляжу: рубит зелень, яйца, картошку выдала; отправился чистить во двор, возвращаюсь — мать моя матушка! Стол под хрустящей белой скатертью — она и скатерть приволокла из Москвы! — салаты в мисках, помидоры, консервы, разных сортов колбаса, румяные куры, бутылки, а посередине стола именинный пирог сорок свечек — уж чем она его клеивала, я по кускам вытаскивал из сумки...

— Сейчас картошку сварим, — говорит Роза Рафаиловна, оглядывает стол, как полководец, — и вроде все.

— Пора будить его светлость, — буркает Женя.

— Погодите, — говорит Роза Рафаиловна, — может, Валя подойдет.

— Не большой барин, — вмешивается старуха, — люди убивались, а он дрыхни, — и Колю за ногу.

— Отвали, — говорит Коля, глаз не открывает.

— Вот аспид, — удивляется старуха, — ему стол на крыли, из города притаранили, а он...

— Чего надо? — Коля садится, глаза закрыты. — Сказано, не поеду.

— Да куда тебе ехать — во мужика Бог послал! — не отстаёт старуха. — Приехали.

Коля открывает глаза, смотрит на нас, на стол, вскакивает с лавки.

— Вот так номер, — говорит, — когда ж вы?..

— Ты лучше скажи, когда ж ты, — говорит Женя, — не мог дожждаться?

— Да мне в голову не пришло, чтоб вы... — Коля чешет затылок. — Ну, важно...

— А телеграмму вам не приносили? — спрашивает Роза Рафаиловна.

— Телеграмму?.. — Коля смотрит на старуху, та суетливо отворачивается и семенит на вторую половину.

— Ладно, Коля, — говорю, — приглашай к столу, а то мы пока до тебя добрались...

И вот мы сидим за столом, на нас все сухое, я подпоясал штаны веревкой, босиком, Женя засучил рукава — локти рваные, на Розе Рафаиловне что-то розовое с воланами, зажгли свечки на пироге, за окном все еще день, Коля во главе стола, рядом Роза Рафаиловна, мы с Женей через стол.

— Садись, мать, — говорит Коля.

— Я не голодная, — ворчит старуха за перегородкой.

— Я говорю — садись! — у Коли голос прозвенел.

Старуха садится на самом краешке, вот-вот вспорхнет.

— А это никак мне?.. — спрашивает Коля.

Возле него на столе стопа синих книг — десять томов. Поминал его лихом, когда вытаскивал из сумки один за другим — вон она главная тяжесть! — оттирал варенье, тесто, как же, ототрешь, блестит на обрезах...

— У нас как-то зашел спор с Николаем Степанычем, — Роза Рафаиловна смущена, вспыхнула, как девочка, — я плохо знаю историю, а он знает... Был бы Ключевский, говорит, я бы вам сразу доказал. Вот, Коля, и Ключевский...

— Давайте выпьем, — говорит Женя, — а то я заплачу.

— Может, все-таки подождем, — вздыхает Роза Рафаиловна, — я чувствую, Валя вот-вот...

Старуху сдуло с лавки, а Коля берет бутылку и сдирает пробку.

— Вам водки, Роза Рафаиловна?

— Да, конечно, шампанское мы без Вали не станем открывать.

Я поднимаюсь со стаканом в руке и вдруг чувствую — волнуясь.

— Мы очень трудно добирались до тебя, Коля, — говорю. — Сначала разногласия нас чуть было не погубили, потом жара пыталась остановить, наконец, гроза — а мы посреди нее... Мне даже показалось, знаешь, может, мы все трое... спятили — где мы, зачем?..

— Какая гроза? — спрашивает Коля. — У нас уже месяц дождей нет.

— Ему гроза, — подает голос старуха, она снова приехала, держит рюмку, — ему крыша обвалится — хоть бы что, налет глазища. ..

— И вот мы здесь, — продолжаю я, — а почему мы здесь? Я об этом, Коля, себя всю дорогу спрашивал. Предупреждали нас, знаки несомненные — что они значат? И вот сейчас, мне кажется...

— Еще не вечер, — говорит Женя, — не торопись.

— И вот сейчас мне кажется, — упрямо продолжаю я, — мне... приоткрылось...

— Мы здесь, потому что Николаю Степановичу сорок лет, — улыбается Роза Рафаиловна, — все очень просто. О жаре и грозе мы давно забыли. Как хорошо! Поздравляем вас, Коля, будьте счастливы...

— Я все-таки договорю, — я ставлю стакан на стол.

— Давай, давай, — говорит Коля, он очень серьезен, — слушаем.

Я пытаюсь поймать ускользающую мысль...

— Ладно, — говорю, — это не для тоста. Мне открылось, а я поднимаю стакан с водкой. На этом нас и ловят, на такой путанице, простых вещей не понимаю, а туда же... Верно, Роза Рафаиловна. Этот бред, который мне... который я ощутил в чистом поле, под опрокинувшимся на нас небом, он, наверно, и есть реальность, а, Коля, ты меня понимаешь... Любовь, которая бессмысленна, которая напрасна, в которой нет не только корысти, но и какого бы то ни было результата, все равно ничего не выйдет, не исправишь — только могила исправит. Но разве не она — только она! — и есть истинная любовь? Когда глупость, когда смеху подобно? Разве забыть о себе ради другого — не безумие, а Бог не так ли нас любит, а, Коля?

— Еще не вечер, — повторяет Женя, глядит на меня с усмешкой, — погоди, я еще заставлю тебя поговорить на эту тему.

— Не каркай, — говорю. — Вы правы, Роза Рафаиловна, все очень просто: Коле сорок лет, мы приехали его поздравить — дай тебе Бог, Коля...

Мы выпили. И старуха выщедила свою рюмку, закусила колбасой.

Коля наливает по второй. Глаза у него прояснели, отвердели, хрящеватый нос побагровел на скуластом, обтянутом, медном лице; левая рука на Ключевском. У пьющих людей часто так — после первой рюмки они и становятся людьми, вот после второй... Да кабы рюмкой, стаканом пьют...

— Теперь мне слово, — говорит. — Ты мудрено сказал, а красиво. И Роза Рафаиловна — просто, а хорошо. Но ведь, верно, простота — *это не просто так?*..

Вон как мы, думаю, после первого-то стакана!

— У нас конференция, — хмыкает Женя, — симпозиум по стилистике по случаю...

— У меня сегодня день рождения, верно, — перебивает его Коля, — а за два месяца до сего были именины. Я на Николу вешнего. Вон он мой святой, Роза Рафаиловна, — Коля крестится на образ в углу над столом. — Я, верно, люблю историю, мало читал, а люблю. Спасибо вам за эти книги, если прочту...

— Тогда к тебе не подходи, — кивает Женя, он курицей занят, — тогда тебе не бочку возить, а...

— Вот я и хочу про бочку, — Коля не улыбается. — Есть такая история, Роза Рафаиловна, понимаете, как хотите...

До меня вдруг доходит, что он обращается к ней и говорит только для нее...

— Два святых, — говорит Коля, — Никола угодник и Касьян римлянин вернулись как-то на землю, поглядеть что и как. Идут они, к примеру, где-то неподалеку и видят — мужик застрял в грязи с телегой... Ежели у нас, как вы говорите, была гроза, а когда б дождь неделю — не проехать. Помогите, мол, добрые люди, — мужик говорит. Касьян глядит на телегу, на мужика в грязюке, на свою одежду сияющей белизны — куда ж ему лезть, как он к Господу Богу потом подойдет? Думал-думал, глядь, а Никола уже по брюхо погрузился, уперся плечом, кричит...

— Примитивно, — говорит Женя.

— Просто, — уточняет Коля. — Явились перед Богом — один в грязи, а другой незапятнанный. Тебя, говорит Бог Николе, дважды в год будут поминать, а тебя, Касьян, раз в четыре года, 29 февраля.

— Что вы, Коля!.. — польхает щеками Роза Рафаиловна.

— За святых не пьют, — говорит Коля, — а вам спасибо, Роза Рафаиловна, жив буду, не забуду...

«Как мы хорошо сидим!» — думаю. И этот широкий стол под белой скатертью, и кольпшащееся пламя свечей в раскисшем от дождя пироге, и старуха рядом со мной, оттаявшая, как и все мы, и закат за окнами... Какие мы все разные люди, а ведь сошлись, объединились одним общим чувством...

Я поплыл после второго стакана да и от закуски осоловел, мы с Женей накинулись, как волки. Коля почти не ест, отщипывает по кусочку, зато наливает щедро; разговор уже беспорядочный — как мне его восстановить, надо ли?.. Женя вяжется по мелочам, хочет втянуть меня в давний спор о «делателях» и «созерцателях», кажется, я незаметно для себя в нем увязую; Коля вроде бы затянул песню, Роза Рафаиловна безголосо подтягивает; что-то я все еще ем, что-то все еще пью...

Я вздрагиваю от грохота — гром, собака, входная дверь?.. Окна уже темные, свечи оплыли, еле теплятся, Женя напротив сощурился на меня, ухмыляется, старуха куда-то сгнула, Коля уронил голову на скатерть, рука Розы Рафаиловны у него на плече...

Дверь отлетает, на пороге Валентина. В комнате темновато, лампочка в сенях у нее за спиной, в мерцающем свете догорающих свечей величественными кажутся руины стола под белой скатертью, наша живописная группа... Она шагает к столу: брезентовая куртка распахнута, высокая грудь вздымается, глаза сверкают, тонкие, как у старухи, губы сжаты...

— Валечка! — вскрикивает Роза Рафаиловна, — а мы ждали-ждали...

— Гуляете? — она разжимает губы, голос хриплый. — Напоили дурака, рады...

— Что вы, Валя, садитесь, — Роза Рафаиловна поднимается, — шампанское вас дожидается...

— Ты уже и платье мое напялила, змея, — шепчет Валя, — в постель норовишь...

— Валя! — всплескивает руками Роза Рафаиловна.

И тут — белобрысый малый перелезает порог, косолапит к столу...

— Лешенька! — натужно улыбается Роза Рафаиловна, — вот я тебе привезла...

— Змея, — хрипит Валентина, — не тронь ребенка!..

Роза Рафаиловна не знает, что ей делать. Я поднимаюсь...

— Мать! — кричит Валентина, голос срывается. — Собирай монетки, нас из дому гонят!.. Все собирай!.. Ах подлая!..

Она делает еще шаг, хватается скатерть за край, посыпалась посуда, бутылки и — ба-бах!! — шампанское...

— Валя!.. — кричит Роза Рафаиловна.

— Я тебе покажу «Валю»!! — визжит Валентина. — Дом купила, деньги дала — твой, да?

Малый заорал дурным голосом, Валентина хватается его — и за порог. Оборачиваюсь на Колю, он и не заметил, как из-под него выдернули скатерть, спит, рука на Ключевском... Роза Рафаиловна выбегает в раскрытую дверь. Я — следом.

Во дворе темно, свет из распахнутой двери, Валентина мечется по двору, ребенок орет...

— Валечка, успокойтесь, — лепечет Роза Рафаиловна, — мы так хорошо сидели, ждали вас...

Валентина бросает малого, исчезает в темноте, что-то гремит... — тащит на цепи собаку.

— Бобик! — вопит она, — хватай ее, фас, Бобик, вон она, старая блядь!..

Собака смотрит на хозяйку, виляет хвостом, лает, вдруг отпрыгивает и — махом, звеня цепью, бросается на Розу Рафаиловну, становится на задние лапы, кидает передние Розе Рафаиловне на плечи — она выше ее!..

Я закрываю глаза от ужаса...

Тишина. Открываю глаза: пес тихонько повизгивает, лижет Розе Рафаиловне лицо...

— Видите, Валечка... — в голосе Розы Рафаиловны слезы.

— А-а!! — визжит Валентина. — Жидовка, всех купила, ну я тебя!..

Она хватается собаку сзади за ошейник, отшвыривает, вцепляется Розе Рафаиловне в волосы. Теперь они кричат обе, я, как в дурном сне, столбенею, не могу сделать ни

шагу... Что-то сбивает меня с ног, валюсь на землю вместе с оторвавшейся перилиной, поднимаюсь... Коля слетает с крыльца — и к ним, хватает не разобрать которую, и — наотмашь: одну, другую, одну, другую...

Ну, я здесь явно лишний. Забираюсь на крыльцо, захожу в дом. В голове плывет, звенит... За разгромленным столом Женя, перед ним бутылка, в руке стакан.

— Ну что, — говорит, — продолжим? Насчет любви... И так далее.

Подхожу к столу, забираю из его руки стакан — и сразу, одним глотком...

Помню только, что я твердо, хрустя стеклом, пересекаю комнату, вошел на вторую половину, приступку я заметил сразу, еще днем, на нее, подтянулся — на печь, что-то зашуршало под руками — семечки, тараканы! — дальше, глубже, печь здоровенная, теплая еще, какие-то тряпки, дух от них горячей пылью, к самой стеночке, опустил голову, все покатилося, загудело — и исчезло.

3

Белое пламя разрывает небо, оно валится на меня, мне некуда укрыться, не за что спрятаться... Она стоит передо мной, вот она, протяни руку — такая, как в первый раз, как всегда? Я никогда не видал красивей, желанней, дразнящей, только мальчиком в мечтах... «Почему ты вернулась, Таня, мы же расстались?» — «Кто тебе сказал, — улыбается — улыбается! — Ничего об этом не знаю. Вот она я, видишь — смотри...» — «Нет, — говорю, — мы расстались навсегда, зачем ты здесь?» — «Чтоб напомнить. Ты думал, задолжал пустяк, всего пятьдесят... динариев, а про пятьсот позабыл?...» И опять небо валится на меня, я не успел, мне некуда скрыться... Я в грязи — по брюхо, по шею, и телега вязнет, ступица у моей головы, ползет на меня... Хочу поднять руку, остановить, уцепиться — не могу. Не могу! Кто-то рядом уперся плечом — кто это, не разглядеть, а колесо увязает все глубже, и этот кто-то увязает — по колено, по пояс, по грудь, колесо ползет на меня, все ближе, ближе... «А-а!!» — кричу я. И открываю глаза.

Я лежу на спине, душно, пахнет овчиной, старыми тряпками, пылью. Свет еле пробивается, над самой голо-

вой черно; я шевельнулся — под рукой захрустело, зашуршало... И я все вспомнил.

Закрываю глаза: пусть лучше валится небо, пусть грязь по шею, пусть *она* ... Утро, думаю, если такая тишина — раннее утро, все спят... Мне становится жарко, приподнимаюсь на локте: в деревне встают чуть свет, сейчас они все зашевелиятся, проснутся, встанут — глядеть им в глаза?!

Осторожно, на спине, перебирая руками, ногами — ползу к свету... Кто-то лежит, приподнимаюсь, вглядываюсь... Женя! Спит, подложил кулак под голову. Перелезаю через него, нащупываю ногами приступку... Совсем светло! Здесь вроде никого, чистота — посуда, кастрюли, газовая плита и та — блестит!.. Мои штаны висят с краю, слава Богу, как знал, пристроил на виду, вот и рубашка. Переодеваюсь... Ботинки в печи... Тьфу, Женины... Вот мой, высохли, пересохли... А носки?.. Нет носок, пес с ними. Обуюсь на улице...

Выхожу в большую комнату: стол пустой, чистый, по сторонам не гляжу — не дай Бог их увидеть, только бы не... Но глаза-то у меня есть... Господи, будто ничего не произошло!.. Натыкаюсь на лавку: старуха лежит на ней, укрылась тулупом, один глаз открыт, глядит на меня... Мимо, мимо! Дверь, сени, вторая дверь...

Во дворе совсем светло, сажусь на крыльце, запикиваю босые ноги в пересохшие ботинки, пальцы дрожат, не могу завязать шнурки... Спускаюсь с крыльца...

Собака вывалила голову из конуры, следит за мной одним глазом, как старуха. Погрозил ей кулаком.

Толкаю калитку — ушел! Хотя бы никого не встретить... Один дом, второй, третий... Вот-вот откроются двери, калитки — они все слышали, все знают!.. Вон она, дорога, да и грязи нет, подсохло, что ли за ночь?.. Поле, за ним... Женщина идет медленно, коромысло с двумя ведрами... Сворачиваю, не думая, на другую тропу, в сторону, позади домов, потом выберусь — не заблужусь! Тропа виляет, овраг.. Глубокий, один край пологий, другой крутой, размытый, внизу вроде ручей — вот бы свалились вчера, когда вокруг ничего было не разобрать...

Бежать, бежать! Только бы никого не увидеть!.. Овраг большой, длинный, заворачивает назад к деревне... Внизу останавливаюсь: ручей чистый, на дне песок, камни, становлюсь на колени, вода свежая, аж зубы заломил...

Поднимаюсь по пологому склону, выше, выше — и снова открылось поле, вон она дорога в стороне, на самой кромке поля чернеет лес, вчера мы там топали, надо мной небо — чистое-чистое, над лесом светлое, белесое, над головой голубое, а сзади, над деревней — в синеву... Господи, как красиво!.. Запах густой из оврага, сырой... Вот чего вчера не хватало, потому и мир казался одномерным — запахов не было, духота все пожрала, птицы молчали, а тут... И я вспоминаю, как только что, как же, когда бежал деревней: сеном пахло, навозом, деревьями, каждое дерево не так, по-другому, а теперь травами, цветами... Да разве мне до того было, когда перед глазами...

Что-то звякнуло, оборачиваюсь: стадо выползает из оврага с той стороны, что ближе к деревне... Господи, коровы — колокольчик на бурой шее! Всех мастей, рога, хвосты, лениво, не торопятся — день впереди...

— Угостите закурить!..

Вздрагиваю, будто поймали на чем-то постыдном. Шагах в десяти на бревне мужик — не старый не молодой, лет шестьдесят, наверно: давно небритый, выгоревшая кепочка на глазах, гимнастерка старенькая, штаны, заплатанные на коленях, сапоги кирзовые... Как же я его сразу не углядел?..

Подхожу, шарю по карманам — есть сигареты! Пачка мятая, сырая...

— Подмокли, — говорю, — вчера в грозу угодил. Спичек нет.

— Найдем, — смотрит на меня из-под кепочки, глаза светлые, промытые, как небо над дальним лесом, а я все усмешку ишу в них — нет усмешки!

Сажусь рядом на бревне, выбираю сигареты посуше, он гремит спичками. Закуриваем... Возле бревна на земле бич — маленькая, тяжелая рукоятка, вытертая, отполированная, плетеный, кольца, кольца — длиннющий... Пастух!

— Ну и гроза была, — говорю, — как живой остался. Теперь, наверно, грибы пойдут?

— Какие грибы, парень, ты что? Чтоб грибы пошли, надо, чтоб неделю лил, да не так. Разве то дождь, пыль сбило, гляди вон...

Перед нами поле — редкая картошка, бурая трава, васильки-ромашки...

— Разве это дождь... Тут скотину кормить, не знаю куда гнать, а ты говоришь, грибы...

Ворчит, а мне — хорошо!

— Надо ж, — говорю, — какие у тебя звери, я думал, они только в зоопарках остались, да и то не в каждом городе, где зоопарк. Это коровы, что ли?

— Сам удивляюсь. А ты давно не видал?

— Давно, — говорю, — глазам не верю.

— Плохая твоя жизнь, выходит. Гляди, у нас бесплатно...

Тишина вокруг оглушительная, а в ней — звенит, стрекочет, поет... Небо ясное-ясное, солнце только поднялось, воздух промытый, поле, лес за ним... Гляди сколько влезет — бесплатно!

Гляжу, дышу, слушаю эту тишину, вбираю в себя, пусть бы всю жизнь просидеть на этом бревне... Голова тихонько плывет — от сигареты, что ли?.. Значит, он есть, существует, а я не напрасно ждал встречи с ним, чувствовал, предощущал, знал, что мне он необходим, тот самый мир, что создал Господь из ничего — вот он *дышит* над полем, над всем и во всем — продумал всякую мелочь, эти цветы и травы, это странное существо с рогатой головой на толстой шее — вдохнул жизнь в мир, в котором мне дано постичь вечность... Зачем? Всего лишь для того, чтоб я возлюбил Его и понял Его в брате рядом с собой... В том, что было вчера узнать Его?! Всего лишь и только! И все сразу изменится: бурая трава, как дождя жаждущая этой моей любви, зазеленеет, потянется к небу, грибы ползут из земли в том мертвом, пересохшем, без запахов лесу, которым мы вчера шли, Валентина поклонится земно этой нелепой женщине, Роза Рафаиловна наполнит свою вымороченную доброту истинной любовью, а я навсегда вырву из сердца дразнящую, опутывающую страсть, закрывающую от меня Того, Кем все это живо... И Коля проснется однажды, таким вот утром, стряхнет с себя всю свою страшную жизнь, встанет, распрямится...

— У Николая, что ль, гулял?

Я едва с бревна не свалился, смотрю на него: глаза спокойные, прозрачные, как небо над лесом, мелкие морщины у глаз веером, щетина рыжая, седина поблескивает, носище здоровый в красных прожилках порос бурым волосом... — нет, никакой усмешки!

— У него, — говорю.

— Да... — он вздыхает, не понять: с сожалением, с завистью, уважительно?

Я уже позабыл про поле, про лес, неба не вижу, вроде бы и запахи — пропали... Все позабыл... Что ж я и о том позабыл, что только что понял, открылось — это только похмелье, расслабленность, пустота?.. Но ведь мне стыдно, мучительно, горько стыдно перед сидящим рядом со мной человеком, неведомым мне моим братом, я смертельно боюсь, что он знает — это я повинен в том, что произошло вчера, по соседству с ним?.. Мои пятьсот динариев, которые задолжал, даже если мне их простят, а забыть не дано; того, что слишком долго думал перед тем, как шагнуть в грязь, а в ней на моих глазах увязал...

Он докуривает сигарету, поплевал — и об каблук:

— Да, — качает головой: уважительно, нет сомнения, — хорошо гуляли!..

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОВАРИЦА

Клара позвонила в начале мая, после праздников: «Ты знаком с Юликом Крелиным?» — «Да, конечно». — «Понимаешь, мне не нравится Юрина рука, врачи говорят по-разному, я им не верю, да и какие врачи в Литфонде, а рука у него болит. Может, нужно оперировать, одним словом — пусть будет ясность. Он хороший хирург?» — «Еще бы, а кроме того наш товарищ и замечательный человек». — «Я знаю, но учти, Юра не должен знать, что я тебе звонила, он не хочет никого обременять, говорит — ерунда, но я-то вижу, ему плохо. Скажи, он тебе нужен зачем-то...»

Я позвонил Юлику, и мы тут же договорились. Он, конечно, удивительный человек, Юлик. Кто-то назвал его — диккенсовский чудак. Может быть. Мы знакомы чуть не двадцать лет, сколько раз я видел его в деле, сколько раз лез к нему по самым разным поводам, кого только к нему не таскал. Другой раз ночью: «Ты спишь?» — спрашиваю. «А ты сомневался?.. Куда ехать?» «Так ты ж спишь», — говорю. «Конечно, сплю, я уже во сне штаны надел. Давай адрес — куда?»

Мне было просто к нему обращаться, уж очень он легко откликается, да и за других всегда легко. Тебе со мной хорошо, говорил я ему, сколько лет я уже тебя до себя не допускаю. Да, говорит, с тобой замечательно, сплюнь и не зарекайся. Прав оказался, отвезли недавно, погулял надо мной, да и знакомство наше началось с того, что он был врач, а я пациент, сразу вылечил и тут же коньяком напоил. Диккенсовский чудак. Ну тогда-то мы молодые были, все ерунда, это теперь что ни месяц — с кем-то что-то происходит. «Ты бы бросил больницу, — сказал я ему как-то, — откуда у тебя силы, сидел бы, писал, а то все ножик точишь...» «Теперь с вами самая работа начинается, — говорит, — созрели яблочки».

Домбровский позвонил в тот же день. «Я договорился с Юликом, — говорю, — давай завтра». — «А у меня не бо-

лит, так, можит, если не пью». — «Ну и хорошо, — говорю, — повидаемся». — «Кларка настучала?» — спрашивает. «Би-би-си передает». «Ладно, — говорит, — мне все равно тебя надо увидеть. Да и Юлик хороший мужик».

Мне только улицу перейти, опоздал минут на десять. Издалека видно — колоритен, ничего не скажешь, ходит вокруг памятника: большой портфель, куртка заграничная, а ботинки не зашнурованы, рука подвязана бинтом, скособочился и голова набок, черный клок закрывает лицо. Я подождал, пока он сделает еще круг.

— Здравствуй, Юра, прости, что опоздал.

— Слушай, — говорит, — ты как считаешь — был Петр в Риме?

— Какой Петр?

— Ты подумай, — говорит, — вся католическая доктрина на этом держится, а если разобраться...

— Только не здесь, — говорю, — а то опоздаем.

— Да?.. Ну поехали, вон автобус на той стороне.

— Нет, — говорю, — на автобусе мы не успеем, там еще пересадка, а у тебя рука. И он на операцию уйдет.

Смотрит на меня с сожалением, вздыхает:

— Ладно, поехали на такси.

Садимся, едем. Щелкает замком портфеля, тянет тяжелый том, дает мне, а сам вроде в другую сторону...

— Юра!.. Поздравляю... «Факультет ненужных вещей!»! Что ж ты молчишь?.. Какая бумага!.. Много опечаток?

— Нет, — говорит важно так, — ни одной. Ни одной строки не изменили.

— Замечательно, — говорю. — Подаришь? Я все-таки первый о нем написал.

— Подарю, — и прячет книгу в портфель, — одна только.

Соврал, конечно, еще были. Так и не подарил. Ну, эта жадность понятная: как он ждал эту книгу, как много она значила для него, да и сколько их — пустяк.

— Все-таки Гутенберг — великое дело, — говорю, — по-другому читается. А тут еще переводы пойдут...

Ему хочется о книге, но неловко, это когда выпьет — хвастается, а стрезва ни за что.

— Вышла, и Бог с ней. Так вот я насчет Петра в Италии...

Как же — Италия! Тоже так вот ехали с ним в такси, отвозили вдвоем с Валерием Осиповым из писательского

клуба, в клуб мы тогда ходили. Он уже хорош был, шофер заартачился или цену набивал: «Не повезу в таком виде». — «А ты знаешь, кого везешь?» — спрашивает Домбровский. «А что тут знать — видно». — «Я знаменитый писатель». — «Видать, какой писатель». — «Да у меня в Италии только что роман вышел...» — «Молчали бы, — говорит шофер, — скажите спасибо — везу». — «Ах так! — завелся Домбровский. — Давай побьемся. Тебе еще долго работать или кончил?» — «Ну кончил». — «При свидетелях, — говорит, — если у меня дома нет романа — с меня червонец, а есть — везешь за свой счет». — «Ишь ты, — говорит шофер, — писатель. Поехали».

Приезжаем. Домбровский сам выбирается из машины — и в подъезд, мы за ним, смотрю, и шофер: хлопнул дверцей, идет следом, ухмыляется.

Лестница жуткая, поднимаемся: дверь в коммуналку не заперта, а дверь в комнату и вовсе настежь. «Заходите, — говорит Домбровский и сразу бутылку на стол. — Ты где там, Фома неверующий?» Махнул ногой, ботинок слетел вместе с носком, второй так же, — и полез на тахту, на стол, на стул... Я и не ожидал, ишь, думаю, какой он шустрый. Полка с книгами под самый потолок, вытаскивает, смотрит, посыпались, пыль столбом... «Ладно, — говорит Домбровский, — найдем, сначала выпить, сейчас пельмени...» Слетает со стола и мимо нас в дверь.

Пять минут не прошло, влетает — и кастрюлю бряк на стол, на какую-то книгу. Горячая вода, плещется. Стаканы, открывает бутылку... «Все, — говорит, — сели, разлили, выпили». — «Ну что, — говорит шофер, — с вас червонец, хотя и вижу — писатель». — «Стоп! — кричит Домбровский, еще не успел хлопнуть стакан. — А это что? — Сдернул кастрюлю с книги — шикарный супер, на нем жирный круг от кастрюли. — Вот он, итальянский»...

— Ты что, — спрашивает, — не слышишь, что ли? Я о том, что на сочинения Евсевия и вовсе нелепо ссылаться, там что ни факт — путаница...

— погоди, — говорю, — как бы нам самим не запутаться, вроде поворачивать... Да вот она, больница, приехали.

Въезжаем во двор, сворачиваем к хирургическому корпусу... Только вошли, раскрылась какая-то дверь — белые халаты, как раз успели, у них пятиминутка кончилась. Домбровский портфель на пол и поклон в землю. Юлик даже оторопел, закусил рыжую бороду.

— Здравствуйте, Юрий Осипович, поднимайтесь ко мне, я сейчас...

Поворачиваем на лестницу, слышу — Юлика спрашивают: «Это что за чучело?» «А это, — говорит, — не чучело, а европейски знаменитый писатель Домбровский». «Ну, к тебе кто только не ходит...»

Поднимаемся, в дверях кабинета ключ, входим. Здесь тоже есть на что поглядеть, в кабинете у нашего доктора: портреты, изречение из Ницше... Пижон, конечно, Юлик. Но Домбровскому это все до фонаря...

— Понимаешь, — говорит, — старичок, если мы раскрутим Евсевия...

Входит Юлик и еще кто-то в белом халате.

— Я вам специалиста привел, Юрий Осипович, знаменитого травматолога, а то я дилетант.

— Стоило ли, — говорит Домбровский, — мы просто так заехали, повидаться, да и не болит уже.

— Заехали — раздевайтесь, — говорит Юлик, — в нашем монастыре такой устав.

Раздевается. Здоровый мужик, думаю, а ведь постарше меня чуть не на двадцать лет... На двадцать лет лагеря, думаю.

Смотрят, щупают.

— Так не болит? — спрашивает травматолог.

— Это разве болит, — говорит Домбровский, — вот когда они на меня пятнадцать человек насели в автобусе...

— Кто? — спрашивает Юлик.

— Эти самые, архангелы. Срежь бела дня, трезвый, — глаза у него правдивые, как у ребенка, — стою в автобусе, читаю книжку по римской истории — один книгу вышиб, а другой приемом... Ну я им показал прием, восемь человек легли, а эти навалились. Они, конечно, кто ж еще...

Травматолог раскрыл рот, а Юлик ухмыляется в бороду.

— Снимки есть? — опомнился травматолог. Домбровский шелкает портфелем, достает снимки.

— Будете оперировать?

— Вам сколько лет? — спрашивает травматолог.

Домбровский не отвечает.

— Через год семьдесят, — говорю я.

— Стоит ли, да? — спрашивает Домбровский.

— Да нет, — говорит травматолог, — все у вас нормально, разработаете. Я вам гимнастику дам.

— И все дела?

— И все дела. Приятно было познакомиться.

Травматолог уходит. Домбровский, все еще голый по пояс, кособрюхий, держит портфель, смотрит на меня.

— У него книга вышла, — говорю, — в Париже. Показал бы доктору.

Тут же вынимает книгу.

— Поздравляю, — говорит Юлик, — а я еще не читал, обещал ваш дружок, разве дождешься.

— Я вам подарю, — говорит Домбровский и прячет книгу в портфель. — Вы бы мне свою подарили, тоже обещали.

Юлик открывает стол — тоже толстая, ну, известно, не в Париже, бумага не та. Домбровский берет бережно — и опять в землю поклон.

— Пойдемте, — говорит, — что тут сидеть, поболтаем.

— У меня операция, — говорит Юлик, — в другой раз.

— Да?.. Жалко.

Прощаемся, уходим.

— Хороший мужик, — говорит Домбровский, — видел, какие у него глаза?

— Какие?

— До себя не жадные. Я его давно заметил. И пишет хорошо.

— Хорошо, что тебя резать не нужно, — говорю. — И Клара успокоится.

— Да, — говорит, — Клара... Ты Леню Тёмина знаешь?

— А как же.

— Он уже месяц лежит, а до того два месяца в больнице, опять ноги поломал. Ему необходимо принести, у него тоска. Давай позвоним, только ты звони, а то у него жена монашка...

— Какая ж она монашка, — говорю, — если она жена, а он ей муж?

— Да?.. Ну, одним словом, меня она не жалует.

Мы уже вышли из больницы, тепло, деревья зеленые, вон и автомат. Набираю номер.

— Ты узнай, дома ли... жена, — шепчет Домбровский. Если дома — пиво, а если нет — мы ему водки притащим.

— Мы тут с Домбровским, — говорю, — в больницу ездили по поводу его руки... Да в порядке рука, он еще всем покажет... Хотим тебя навестить. Ты один?.. Тогда только пиво...

— Эх, — говорит Домбровский, — нет у нас свободы.
Подходим к стоянке такси.
— С ума сошел, — говорит, — вон автобус.
— Да куда ты с больной рукой, народу сколько. У меня есть деньги.
— Сколько?
— Как раз на такси.
— Как раз на четвертинку, — говорит, — побежали на автобус.
Автобус битком, жарко.
— Береги руку, Юра! — кричу.
Он сосредоточен, мрачен. Опять про Петра, наверно.
Пересадка, теперь троллейбус. Наконец метро: посвободней и прохладно, места есть. Сидим, он молчит, напряженно о чем-то думает...
— Выходим!
— Нам еще далеко, — говорю.
— Выходи, выходи, дело есть...
Арбат. Ничего не понимаю. Идет быстро, кособочится.
— Давай портфель, — говорю, — тяжело.
— Тут, понимаешь, мастерская, один художник, — поворачивается ко мне. — Тебе обязательно познакомиться.
— Зачем?
— Ты ж еврей, ну и он еврей. Надо познакомиться. У него картины интересные. Вон за углом, во дворе.
Заходим во двор, одноэтажный флигелек. Домбровский стучит в дверь, в окно. Еврей не откликается.
— Куда ж он делся? — удивляется Домбровский.
— А вы договаривались?
— Он всегда здесь... Эх, невезение...
Выходим на бульвар, топаем к «Кропоткинской»: молчит, мрачный... Вдруг останавливается, глядит на меня, будто впервые увидел...
— Что случилось, Юра?
— Мы должны выпить, и немедленно, понимаешь: немедленно!
Вот зачем — Арбат, мастерская, еврей-художник...
— А как же больной товарищ? — спрашиваю.
Не отвечает: целеустремлен, решителен, не остановишь. В начале Метростроевской магазин, очередь.
— Так, — говорит Домбровский, — берем бутылку... Давай твои деньги... И четвертинку.

Берем бутылку, четвертинку. Домбровский вытаскивает книгу в яркой парижской обложке, книгу Юлика, еще книги, устраивает все в портфель. Выходим на улицу.

— Куда теперь? — Мне интересно.

Не отвечает: зачем отвечать на пустые вопросы?

Выходим на Волхонку, мимо музея, Ленивка, Лебяжий переулок, пельменная.

— Вот она, — говорит, — а ты сомневался.

Обеденный перерыв, толкучка, жара, самообслуживание. Домбровский напряжен, как в бою.

— Держи портфель и занимай столик, а я сейчас.

Столика нет, конечно, не ресторан, захватываю два места, сажусь, ставлю портфель на второй стул. Рядом две девочки, студенточки, кушают пельмени, запивают сладкой водичкой. Черный клоч Домбровского торчит над головами.

— Помочь? — кричу, как в лесу.

Мотает головой: не надо, мол.

Тащит поднос, придерживает грудью: две тарелки пельменей, стаканы, хлеб. Разгружаем, садится.

— Давай ты, — говорит, — а то одной рукой под столом неловко.

— Четвертинку? — спрашиваю. — А бутылку товарищу?

— Нас двое, — говорит, — а он один. Это будет безнравственно по отношению к нам. И к нему, кстати.

Резонно. Наливаю под столом два стакана, бутылку опять в портфель.

— Ну, — говорю, — по случаю удачного завершения операции...

У студенточек ужас в глазах. Водка теплая, стаканом трудноато.

— Так вот, — говорит Домбровский и, забыв про вилку, хватается пельмень пальцами, — был ли Петр в Риме? Важный вопрос, между прочим... Я тебе рассказывал, как меня допрашивали на Лубянке?

— Когда допрашивали?

— Недавно.

— Нет, не рассказывал.

— Повестка, все как положено...

— По какому делу?

— Без дела, — говорит, — еще будет дело.

— Так не бывает, — говорю, — или свидетель по делу, или беседа. Что было в повестке написано?

— Молодой такой хмырь, — говорит: — «Читали «Хронику текущих событий»?» «Конечно, читал», — говорю.

— Так тебя по «Хронике» и вызывали? — спрашиваю. — Ну работнички!

— По всему сразу, — говорит Домбровский.

У студенточек горят щеки, на нас не смотрят, уминают свои пельмени, вот-вот вспорхнут.

— «А какой, интересно, вы номер читали?» — спрашивает тонко. «А я, — говорю, — все читал. Подписчик».

— Ты ешь, — подаю ему вилку, — а то жарко. Он мнет хлеб, крошит в пельмени.

— «А кто вас... подписал?» — спрашивает и ручку занес над протоколом. «Может, вам ключ, — говорю, — дать от квартиры, где у меня деньги спрятаны?...» Давай по второму, а то выдохнется.

Разлил бутылку, спрятал пустую в портфель. Выпили.

— «Кто ж это все составляет, правда, любопытно?» — хитро на меня глядит. Ишь, думаю, научили вас. «Это-то я знаю, — говорю ему, — тут никакой хитрости». Он даже привстал над столом: «Кто?» «Да вы и составляете, — говорю, — здесь, в этом кабинете, ну, может, в соседнем...»

Студенточки исчезли, кто-то еще сел, мне уже все равно.

— «Вы что, — говорит, — отдаете себе отчет?...» — это меня хмырь спрашивает. «А кто ж еще может все это доподлинно знать: кто, где и за что — вся сумма информации? Только вы, ваша контора». Оторопел: «Зачем нам такая антисоветчина?» «Какая ж, — говорю, — антисоветчина, когда правда, разве это клевета: разве имярек не сидит? Сидит. Разве то-то и то-то не происходит в лагерях? Происходит. А идея ваша, — говорю, — и дураку понятна: думаете таким образом страх навести — страшное чтение, согласитесь?»

— Ты так действительно думаешь, — спрашиваю, — или ты ваньку валял?

— Я не об этом, — говорит. — Он мне целый час, а может, три, читал мораль, страшал и еще много чего. Мне надоело. Встал, подхожу к окну. «Видите?» — спрашиваю. «А что смотреть, я каждый день, — говорит, — нагляделся: Малая Лубянка». «Не туда смотрите, — говорю, — не Лубянка, а костел. Меня в этом костеле почти семьдесят

лет назад крестили в католичество, вас тогда никого и в помине не было, и вы меня за час или там за три часа хотите в свою веру перекрестить?»

— Да, — говорю, — крепко.

— И вот ты подумай, — говорит, — был Петр в Риме или нет? Серьезный вопрос, между прочим... Давай четвертинку.

— Ты что, — говорю, — какая четвертинка? Жара, хватит. Да и товарищу ничего не останется.

Смотрит на меня гневно, черный клок на лице, чуть-чуть седины... Красивый какой человек, может, верно, цыган, ну какой он цыган — но красив!

— Что ж мы, — говорит, — близкому другу, больному товарищу — принесем жалкую четвертинку? Да я бы со стыда сгорел.

Достаю четвертинку, разливаю. Выпили.

— Хорошо, — говорит Домбровский, — ну а ты как считаешь — был или не был?

— Был, — говорю не совсем уверенно. — Мне кажется, был. А кто сомневается?

— Считаешь, был, ладно. Может, он и епископом был — первым в Риме?

— Так католическая доктрина утверждает, — говорю, — у них преемственность от Петра, потому и папы...

— В том и фокус! — кричит. — Доктрина, преемственность, догмат! А на чем основана такая уверенность, что он там был?

— В Евангелии, — говорю, — у Иоанна... пророчество Спасителя о смерти Петра: когда ты будешь стар... другой тебя препояшет и поведет, куда ты не хочешь.

— Но ведь ничего больше там не сказано, — говорит Домбровский, — куда поведет, кто распнет, может, он, Петр, еще куда не хотел, и при чем тут Рим?

— Еще кто-то из римских епископов, — говорю, — кажется, Климент, он умер в сотом, что ли, году, мог знать Петра, он сказал: в среде нашей умер Петр.

— Доказательство, — хмыкает Домбровский. — «В среде нашей» — в среде христиан, при чем здесь римляне?

— Еще сам Петр, — вспоминаю, — у него в послании сказано: приветствует вас... Церковь в Вавилоне... Этот стих так и толкуют: Вавилон — это Рим.

— Убедительно, — говорит Домбровский, — обыкновенная метафора. Тогда и Москва — Рим, и Париж, не го-

вора о Нью-Йорке. Там сказано — Вавилон, это и есть Вавилон халдейский.

— Погоди! — Мне тоже стало интересно. — Был такой епископ Папий, он утверждал, что в правление императора Клавдия был такой Симон-волхв, соблазнявший очень многих, а апостол Петр, прибывший в Рим, его посрамил. Вот тебе факт.

— Факт! — смеется Домбровский. — Ты, может, Папия читал?

— Нет, — говорю, — Папия я не читал, но...

— В том и дело, что «но», — говорит Домбровский, — Папия никто не читал, его сочинения не сохранились, все на Евсевия ссылаются, Евсевий Папия своими словами пересказывает, причем оговаривает, что Папий записывал все подряд безо всякого разбора, а Евсевий жил в четвертом веке и сам все записал по слухам. Он такое наворотил, он и «Откровение» Иоанна Богослова считает подлогом, и апостол Павел у него был женатый, а насчет того, что Петр был в Риме, Евсевий ссылается на Филона — еврея из Александрии, который якобы его там видел, а у Филона в сочинениях ничего об этом нет. А насчет встречи Петра с Симоном-волхвом Евсевий ссылается на Иустина Философа и святого Иринея, но ни у того, ни у другого об этом ни слова не сказано! Что ж, они б умолчали об этом? Все перепутал. Да что там говорить — у них полно таких «фактов»!

— У кого — у них? — спрашиваю.

— У католиков, — говорит, — им обязательно нужно, чтоб Петр был в Риме, что он был там первым епископом и передал преемственность папам — потому, мол, они и непогрешимы. Но его там не было. И мощей Петра нет в Риме. Да если б и были, их могли перевезти из того же Вавилона. Но их там нет — кто их видел? Никому католики не показывают. Да если ты внимательно прочтешь «Деяния», проследишь все путешествия Петра — станет ясно: он никогда не был в Риме, не мог там быть. Петр — апостол обрезанных, он только одного крестил необрезанного — сотника Корнилия, в отличие от Павла — апостола необрезанных. Павла и казнили в Риме — отрубили голову мечом, как римскому гражданину. А Петра как казнили — распяли вниз головой. Никогда римляне так не казнили, только на Востоке, восточное дело. А евреев во времена Нерона почти не было в Риме, а те, что были, под-

вергались жутким гонениям — как бы они могли казнить Петра? А вот в Вавилоне халдейском их было до четырех миллионов, очень просто было распять вниз головой, это тебе не Рим. Ты еще сошлись на сочинения Оригена и Тертуллиана, там сплошная путаница в тех местах, где о Петре, да они и знать не могли, жили спустя чуть не двести лет, а Климент никак не мог быть посвящен Петром, тот же Тертуллиан писал, что Климента посвятили в девяностом году, а Петра казнили не позже семидесятого, а может, и в шестьдесят четвертом...

— Стой, — говорю, у меня в глазах зарябило от этой эрудиции, — ну и что тебе с этого, ты же сказал следователю, что крещен в католичество, или он заставил тебя все-таки изменить вере?

— Крещен-то я в католичество, — говорит, — а прожил жизнь в России, а Россия — страна православная, верно? Мы тут живем, и нас тут закопают. А в Писании или все правда, или все вымысел, там и одной буквы не может быть неверной, так?

— Конечно, — говорю, — историческая критика исходит из атеизма.

— Пусть откуда хотят исходят, а совершать подлоги и подгонять истину под свою якобы непогрешимость — последнее дело. Я во Христа верю, а в непогрешимость пап — не верю. Непогрешимость! А Александр Шестой Борджиа — отец и любовник Лукреции? Мало тебе или еще добавить? Мне достаточно. Православию важно — был он там или нет, я Петра имею в виду?

— Православию, думаю, это не важно, — говорю, — нам Евангелия достаточно. Там вся полнота.

— То-то, — говорит, — а им Евсевия подавай. Конечно, Евангелия достаточно, хотя еще и головой надо сообщать.

— Эх, — говорю, — Юра, верить надо, а не соображать. Сердцем, а не головой. Ты вон у нас какой ученый, а на тебя еще десять и не таких найдется. Разве в этом дело?

— Вот я с ними бы и поговорил, — смотрит на меня мрачно, — узнал бы: достаточно им Евангелия или еще Евсевия надо. Нам вот с тобой недостаточно, еще четвертинки не хватило. Пошли, что ли?

Вылезаем из-за стола.

— Оставь бутылки, — говорит, — уборщица подберет, все деньги. У нас мелочь есть на метро?

Влезаем в метро, его уже развезло, да и мне трудно-
то. Хорошо, без пересадки. Он молчит, опять на чем-то
сосредоточен. «Преображенка», приехали.

— Пешком? — спрашиваю.

Не отвечает. Придерживаю его за рукав, останавлива-
ется.

— А ты веришь? — спрашивает. — Во все и до конца —
всегда?

— Бывает, накатывает. Сомневаюсь.

— Спасибо, — говорит, — если бы так не ответил, я бы
тебе не поверил. Спасибо.

Идем дальше, опять останавливается.

— Ты посмотри на листья, — говорит, — ну есть ли хоть
один, чтоб был похож на другой? Похож-то он, может, и
похож, а все разные. Бесконечно разные. Банальность, а на
этой банальности свет держится. Вот и мы с тобой...

Замолчал. Мы уже пришли. Забираемся в лифт, подни-
маемся. Дверь в квартиру открыта, мужик чинит замок, ну
да, Домбровский всегда ключи теряет. Клара в коридоре.

— Юра!.. В каком ты виде!

— В каком?.. Давай три рубля.

— Какие три рубля, ты утром взял деньги.

— Мы у врача были, — говорит, — не ближний свет, на
такси. — И уже грозно: — Давай три рубля!

— Да у меня и денег таких нет — вот двадцать пять
рублей.

— Я разменяю, — говорю.

Она посмотрела на меня: конечно, едва ли такому
можно было доверить деньги.

— Нет, — говорит, — тебе я тоже не дам.

Побежала вниз. Домбровский чем-то гремит на кух-
не. Вхожу: моет под краном большущую банку из-под
огурцов, льет на пол.

— Сейчас мы с тобой...

Возвращается Клара.

— Вот тебе три рубля, но это возмутительно, Юра. —
На меня она не глядит.

— Давай пять рублей, — говорит Домбровский.

— Что?! Нет, пять рублей я тебе не дам.

— Хорошо, — говорит Домбровский и прячет три руб-
ля. — Пошли.

Оставляем Клару, проходим мимо мужика. Клара бе-
жит следом.

— Что сказал врач?

— Все нормально, — говорю, — не нужно оперировать.

Забираемся в лифт.

— Чтоб мы товарища забыли, — бормочет Домбровский, — не бывает этому.

Время уже к четырем, народ повалил с работы, трамвай набит, держу банку. Домбровский где-то в самой толкотне, сверкает белым бинтом.

— Выходи! — кричит. — Приехали!

Вылезает — вот она, пристань. Автомат-пивная, просторное помещение, как сарай, краны в стенах, народу еще мало... Домбровский здесь свой, минута не прошла — дает мне горсть жетонов.

— Наливай, — говорит, — а я сейчас.

Подставляю банку под кран, пиво хлещет, пена пузырится...

— Ты что делаешь?!

Оборачиваюсь: стоит за моей спиной, в здоровой руке как гроздь — четыре кружки с пивом. Ставит кружки на столик, забирает у меня банку. Лапа у него большущая, черная — в банку, в белоснежную пену, и выбрасывает на пол белые хлопья.

— Что ж мы больному товарищу пену притащим — чистый продукт должен быть. Только чистый.

Наливает полную банку чистого продукта. Выпиваем по кружке. Еще по одной. Мне много.

— Пошли, — говорит Домбровский, — тут недалеко.

— А ты адрес знаешь? — спрашиваю. — Я у него никогда не был.

Забираемся снова в трамвай, держу банку обеими руками, пиво плещет мне на грудь.

— Пустите с ребенком, — острит Домбровский.

Ворчат, но пропускают. Доехали.

— Вон дом, — кивает Домбровский, — добрались.

Входим в подъезд. Лифт не работает.

— Какой этаж? — спрашиваю.

— Седьмой.

Хватает у меня банку и через ступеньку побежал.

— Подожди, Юра, — взмолился я на пятом этаже, — не могу.

— Ну почему вы никто не можете, что я могу? — говорит.

Седьмой этаж... Юра почему-то смущен, топчется на площадке.

— Я на номер не посмотрел, — говорит, — махнул не в тот подъезд. Нам номер девяносто семь.

Спускаемся в молчании. Ну вниз всегда полегче.

Следующий подъезд, проверяю номер, правильно. И лифт работает. Поднимаемся. Номер 97. Звоню. Выходит мужчина. Что-то не то.

— Леня дома? — спрашиваю.

— Чего? — говорит. — Вам кого?

— Тёмин здесь живет?

Захлопывает перед носом дверь. Я оборачиваюсь к Домбровскому.

— Номер спутал... — говорит. — Нет, не может быть.

Спускаемся на один этаж. Звоню — женщина.

— Простите, пожалуйста, — говорю, — мы спутали номер, разрешите от вас позвонить по телефону..

Вид у нас, конечно, живописный. Дверь захлопывается.

— Да, — говорю, — угостили товарища.

Спускаемся еще на один этаж.

— Ты спрячься со своей банкой, — говорю, — а то люди пугаются.

На этот раз пустили, звоню: «Заплутались. Какой у тебя номер?..» Выхожу на площадку. Домбровский спустился на полмарша, стоит у окна, плечи опущены.

— Эх ты, — говорю безжалостно, — отдавай банку. Он в соседнем доме.

Отдал. Молча спускаемся, молча идем к другому дому, входим... Лифт не работает!

— Давай мне, — говорит, — моя вина.

— Не отдам. — Меня тоже заело. — Потопали.

На пятом этаже он останавливается и оборачивается ко мне. Жарко, я уже весь мокрый от пива, он тоже устал, глаза грустные-грустные.

— А в воскресенье, — спрашивает, — в это ты веришь?

— Верую, — говорю.

— Прямо так, — спрашивает, — в вознесение во плоти?

Я поднимаюсь на ступеньку и останавливаюсь рядом с ним.

— Верую, — говорю. — Это самое главное: распятие и воскресение. Христос в этом.

— Какой ты счастливый, — говорит. — А я не верю, не могу. — И выхватывает банку из моих рук.

Поднимаемся еще на два этажа. Я звоню в дверь. Открывает жена — «монашка». И сразу уходит. Я мешкаю в дверях, неловко как-то. Домбровский топает по коридору, ногой распахивает дверь в комнату. Пол у них натерт, блестит, в дверях он поскользывается, я слышу грохот...

Когда я вошел в комнату, Юра сидел на стуле опустив голову, черный клок свесился почти до колен. Банка валялась у порога, пиво желтой волной катилось под кровать, всплыли тапочки.

Леня приподнялся на кровати, смеется:

— Перестань, Юра, ну что ты, в самом деле, — главное, что пришли!..

Домбровский был неутешен.

Он умер три недели спустя. Я позвонил накануне, он был очень грустный: «Живот болит». — «Давно?» — «Да уж дня два». — «Выпил?» — «В том и дело, что не пью». — «Съел что-нибудь». «Я тоже думаю. Ничего серьезного, — говорит. — Приезжай».

Утром он встал, упал — и умер.

Клара рассказывает: он проснулся утром и сказал, что только что видел Христа. «Я не спал, — сказал Юра, — я Его *видел*». А потом встал — и умер.

Я приехал, когда его уже увезли в морг. Опоздал.

ШМОН НА ПАСХУ

Я просыпаюсь от переполнившего меня ощущения счастья и радости. Мне ничего не снилось, или я забыл, не запомнил: что-то толкнуло меня, кто-то улыбнулся мне, прошептал в ухо, я не расслышал, не успел разобрать — что? Кто-то позвал меня, и я уловил дрогнувшую, прошелественную нежность... Камера просыпается, ворочается, вскрикивает, вот-вот загрохочет, забурлит, уже прыгают сверху, поднимаются внизу...

Мне на самом деле хорошо, или я хочу, чтоб мне было хорошо?.. Не знаю, но я открываю глаза и говорю сам себе: «Христос воскресе!..». И что-то отвечает во мне, или я сам отвечаю в себе: «Воистину воскресе!». Это самое важное, единственное, что важно, остальное — подробности, сюжет, детали: смрадная камера, в которой мне пока везет, другая камера, в которой будет хуже, третья, в которой станет совсем неважно, четвертая, в которой я... крикну, меня вытащат и бросят голым мертвым телом на ихнюю свалку... Или напротив: что-то произойдет, *наши* войдут в город — кто там на *белой* лошади?! — железные двери в мерзких болтах распахнутся... Подробности, детали, сюжет... А Он *воскрес*... Не все ли равно, то, другое, третье или четвертое — если Он *воскрес*!..

— Христос воскресе, Ваня!

— Воистину, — говорит Иван и *улыбается*. — Надо бы разговеться, Серый, крашеным яичком.

— Надо бы, — говорю. — Ничего, за нас разговеются. А у нас другое...

Достаю пачку «Столичных»:

— Покурим, Ваня...

— Ишь ты, припрятал! С праздником... Знаешь, Серый, мне мать приснилась... К чему бы?

— Как приснилась? — спрашиваю.

— Не моя мать, его... Валерки. Я тебе рассказывал: мы позвонили в квартиру, она вышла на площадку... Вера Федо-

ровна. Только она во сне была другая — высокая, в белом платье, но вижу, она, Вера Федоровна!.. Смотрит на меня и говорит: «Я тебе, Ваня, носочки связала, ты их носи, не жалей, как проносишь, я еще свяжу...» Слышишь, Серый!.. «Вы бы лучше ему, Валерке...» — говорю я, а сам думаю: что же я такое говорю! А она отвечает да так ясно: «Ему теперь не надо, ты у меня один остался, Ванечка...» Что ж это, Серый, разве так может быть? Я его... убил, а она мне носочки?..

Сигарета крепкая, неделю совсем не курил — плывет голова и все вокруг плывет...

— Не бывает, Ваня, а должно быть, — говорю. — Это тебя Бог посетил. *На Пасху* — понимаешь, Ваня!

— Как же она — *простила*?.. Разве может так быть?..

Глаза у него изумленные и лицо, всегда покрытое серой паутиной, просветлело.

— Христос воскресе, Ваня! — говорю я и сам не могу понять: я сплю, мне снится или на самом деле мы лежим с ним бок о бок на шконке, курим «Столичные» и говорим о... чуде?..

— Плачешь, Серый — своих вспомнил?

— Нет, — говорю, — я стараюсь о них не думать, забыть, я празднику радуюсь...

— Христос воскресе, Василий Трофимыч!

— Воистину, — говорит он и смотрит на меня, глаза помягчели, не такие, как обычно. — Целоваться не будем, здесь такое не положено.

— Покурим, Василий Трофимыч... — протягиваю ему пачку.

— Ну Вадим, ты фокусник — из рукава?

— Адвокатские, — говорю я, — подарок. Должно быть у нас хоть что-то на Пасху...

— Христос воскресе, Захар Александрович!

— Воистину...

Верещагин глядит на меня сверху, улыбается беззубым ртом в седой бороде... Протягивает *листок*...

Синей шариковой ручкой на тетрадном листке в линейку... Окно камеры, разломанная решетка... Один за другим вылетают в окно закутанные фигуры, ветер треплет волосы, одежду... Летят, вылетают — их *вытягивает* в окно!.. Внизу детским почерком: «Пасха».

— Это вам, — говорит Верещагин, — не возражаете?..

Дверь громыкнула как-то странно, необычно... Кажется, наверно, все тут кажется... Входит корпусной.

— Все — на коридор!

— Чего?.. С утра нажрался!..

— Все?.. Ха-ха!..

— Быстрее, быстрее!

— Да вы что?.. Мы больные, какая прогулка? Не пойдем!

— Кому сказано?! Кто там лежит?.. Встать!..

— Что они — оборзели?..

На прогулку на общаке ходят обычно человек двадцать, дворики на крыше чуть больше спецовских, если пойдут все, там шагу не ступишь, так и будешь стоять в теснотище, пока прогулочный вертухай не отопрет дверь. Не любят гулять в тюрьме: ночь без сна, днем тише, спокойней, можно полежать — кого-то выдернули на вызов, кого-то в суд, а если еще двадцать человек отправятся гулять — считай, пустая камера! Ложись на любое освободившееся место, вздремни, особенно когда нет у тебя места своего, валяешься наверху, ночью там и поворачиваются по команде с правого бока на левый... Ходят на прогулку одни и те же, берут с собой «мяч»: сошьют мешок, набьют ватой из матраса — фирма! И пронести «мяч» во дворик легко: запихнешь в штаны, за пазуху, вертухай и внимания не обратит, глянет сверху, крикнет другой раз для порядка: «Прекратить игру!..» — и отойдет, зачем ему?.. Зимой хорошо играть в футбол — разогреешься, зато летом — пыль столбом, только отплеываешься. Большинство и не ходят, выдумывают разные резоны: нагладелся, мол, на природу, хватит, мне этого воздуха и даром не надо; у других соображения противоположные: тяжело ему видеть небо и солнце — в клеточку, глядеть сквозь проволоку, не нужна, мол, иллюзия свободы... На самом деле, это, конечно, отговорки, просто распускается человек, начинает сдаваться, не хочет ни в чем себя утеснить: надо одеваться, тащиться вверх по лестнице, мерзнуть или жариться, дышать пылью — уже не хочется делать ни одного лишнего движения. И постепенно *доплывает*, уже не бреется, не моется — *доходит*. А вертухайам на руку — одно дело вести двадцать человек, другое шестьдесят, хлопот не оберешься. Да пускай совсем не ходят, зачем ему, вертухайю, эта прогулка!.. Нет, сегодня у них что-то другое...

— Сказано — всем выходить! — кричит корпусной. — Не тянуть — быстреей, быстреей!!!

В камере уже десяток вертухаев с дубинками, в коридоре маячит старший лейтенант — тот самый кум, что ли?.. С крихтением, ворчанием, бранью вываливаемся из камеры. Стоим у стены, вертухаи выталкивают последних...

— Я больной, командир, температура!..

— Я тебя сейчас нагреею!.. А ну — выходи!!!

— Что это с ними? — спрашиваю Абрамыча.

— А пес их знает, так бывает на праздники — чтоб все гуляли, сами себе усложняют жизнь...

— Выходит, признают Пасху?

— Кто о чем, а вшивый все про баню, — говорит Абрамыч. — Договорись, Серый, я тебя предупреждал...

— Все?! — кричит корпусной. — Давай, пошел!..

Э, да какая же это прогулка?! Прогулка — по лестнице вверх, а нас потащили вниз... Лестница кончилась, пошли переходы, коридоры... На сборку, что ли?..

— Не иначе, амнистия, — говорю Василию Трофимовичу, он рядом, — спросить бы у кого... Так строим и пойдем по домам...

— Похоже, — говорит Василий Трофимович, — как корпусной вошел, я почувал — запахло свободой... Густой запах...

Впереди встали. Верно, похоже на сборку: решетка перегораживает коридор, вроде и место то же самое. Стоим... Шепот, как рябь по воде — от решетки к нам, в конец:

— Шмон, шмон...

Уже видно: через решетку пропускают по одному, шмонают...

— Чего они ищут, Василь Трофимыч?

— А я не знаю, что на тебе.

— Сигареты...

— Те, «Столичные»? Отметут. Надо бы в камере оставить...

— Возьмите парочку, Василь Трофимыч...

Раздаю по одной, по две тем, кто ближе, оставил три штуки, две в носок, одну в карман...

Я уже у решетки.

— Руки, руки!..

Общупал... Тащит сигарету из кармана:

— Откуда у тебя такая?

— В коридоре нашел.
— Смотри как — я потерял, а ты нашел? Что ж сразу не отдал — привык воровать?.. Проходи, не задерживай...
Загоняют в отстойник: сортира нет, лавка вдоль стен, человек двадцать сели, остальные стоят...
— Чего это они, а, мужики?
— Чего-чего — шмон, вот чего.
— Какой шмон, они меня и не трогали...
— Не тебя, в хате шмон — не понял, деревня...
Вот оно что!..
— Может быть, Василь Трофимыч?
— Вполне. Они это любят, в праздники.
— Для издевательства?
— И для издевательства. Для порядка, скорей. В праздник каждый старается себя хоть чем-то порадовать: чай достают, бывает, водку, а может, брагу поставили...
— Как это — брагу?
— Сахару много, хлеб кислый, а в камере толпа — разве разглядишь?
— Какой же шмон в отсутствие хозяев — не по закону...
— В тюрьме нет закона...
Вокруг те же самые разговоры:
— У меня колеса заныканы, месяц собирал на этап — отметут!
— А мне вчера подогнали ксиву, в мешке...
— Будут они твою ксиву читать, они карты ищут.
— А у кого карты?
— У кого надо. Я вчера заточил ложку, острей бритвы.
Может, не найдут в общей куче...
— Если они полезут по мешкам, мы тут до вечера, присохли...
— Стучи, кто там ближе!
— Время к часу — без обеда, что ли?
— Шнырь, стучи в дверь — жрать хотим!..
Сколько это продолжается — час, два, три?.. Сигареты мы с Василием Трофимовичем скурили, теперь садим его табак. Все курят, в отстойнике дым столбом, уже лиц не разглядеть...
Наконец дверь открывается.
— Выходи!..
Идем медленно, тяжело, как после трудового дня, но — домой, могло быть хуже, раскидали б хату, а так — все вместе.

— Устроили прогулку, суки...

— Слушай, а я знаю чего у нас — дезинфекция, клопы зажрали.

— Будет тебе, когда дезинфекция, на три дня переводят в другую хату, у них есть резервная. Если сразу после дезинфекции — слдохнем, клопу ничего не будет, он залезет в «шубу», укроется, его оттуда ничем не выковыряешь, а ты лапки кверху...

— А может у них резервная занята — не у нас одних, по всей тюрьме клопы?

— Да хотя бы конец, надоело...

Вот и наш этаж, коридор, медленно втягиваемся в приотворенную дверь камеры... Очень медленно, будто те, кто входят, тут же останавливаются, толпятся, не дают пройти...

— Чего они там, давай шевели лаптями!..

Вертухай с дубинками глядят на нас: блудливые ухмылки, довольны... Наконец и я протискиваюсь в дверь, останавливаюсь — что это?.. Как в детском калейдоскопе: дрожит, кружится разноцветное марево... Камера — огромная, всегда мрачная, закопченная — неузнаваемо изменилась... Что же это такое?.. Ветошь — белая, красная, желтая, синяя, зеленая — и все вместе, перепутано, вздыблено... Протираю очки, ничего не понять.

Сзади грохнула дверь, закрыли — и тут камера взрывается диким криком:

— Суки позорные!..

— Твари!..

— Что делаете с людьми — да кто вы такие?!

— Фашисты!!!

— Скоты, скоты, скоты!..

Шестьдесят матрасов выброшены со шконок на пол, матрасовки распластались по всей камере, подушки без наволочек, в воздухе еще плавают перья, клочья ваты... Распотрошенные, вывернутые мешки с барахлом — горы разноцветных тряпок: штаны, куртки, сигареты, рубахи, белье, носки, тетради, свитера, табак, листы бумаги... На полу раздавленные таблетки, карандаши, ручки... И на решке, как флаги, болтаются разноцветные тряпки — не иначе, ногами футболили.

Шестьдесят человек кидаются каждый к своей шконке, лезут наверх — там совсем ничего не разобрать, будто взрыв — все перемешано, разворочено... Да разве най-

дешь, отыщешь *свое* в этой свалке, где оно, *свое*, нарочно трясли, выворачивали подальше от места...

— Ну, коммунаки, дождетесь, падлы!!

Верещагин ползает под ногами, собирает тетрадные листки в линейку, заштрихованные синей шариковой ручкой. Наклоняюсь, становлюсь на колени, собираю вместе с ним... Он садится на пол, прислонился спиной к шконке, в руке порванные, затоптанные листки из тетради, глаза, как угли в красных белках...

— Вот что надо бы запечатлеть, Захар Александрович, — говорю ему, — это уже точно *круг ада*. Несомненный. И название есть для вашей картины, такой еще ни у кого не было: «ШМОН НА ПАСХУ»...

ДАЛИДА

Я увидел его случайно. То есть не случайно, конечно, мудрено было б нам не встретиться, когда жили мы не в городе, а в деревне, в селе, хотя и называлось оно рай-центром, протянулось километров на пять вдоль реки, и было в нем не менее пяти тысяч жителей. Как было нам в конце концов не встретиться, если уже через месяц жизни здесь я знал чуть не каждого второго, а не второго, так третьего, во всяком случае, все лица были или казались мне знакомыми, примелькались, и, несколько раз совершив оплошность, не поздоровавшись с тем, к кому накануне обращался с просьбой, я стал здороваться с каждым встречным, обретя по необходимости ту самую, странную для горожанина, кажущуюся ему старомодной и патриархальной деревенскую вежливость. То есть и это не совсем так, я запомнил бы его, обратил внимание, отметил, а встретив второй раз, узнал и в столичной сутолоке, на южном базаре или престижном вернисаже. У него было лицо, мимо которого нельзя было бы пройти в любой толпе, что-то в тебе непременно бы дрогнуло, заставило позабыть собственную сумятицу, ожидаемую радость, даже только что случившуюся беду, и потом, когда он бы, мелькнув, исчез, еще долго продолжал бы маячить перед глазами, пока ты б не остановился и не вспомнил, что идешь совсем не туда, что тебя давно ждут, а ты непростительно опаздываешь. Я не берусь его описать, есть лица, которые описывать бессмысленно, и самое подробное описание ничего о них не скажет. Ну что в нем, да Бог его знает, красив, да, пожалуй, правильные черты, вроде бы да, а может, и нет, что-то есть в лице, в глазах, в том, как сжаты губы, как замерли скулы, в походке... Хотя едва ли, столкнувшись случайно, я сразу все это разглядел. Потом пришлось разглядеть, и подробно... Но тогда отметил, остановился, что-то во мне щелкнуло, а увидев другой раз, узнал,

а еще через день уже машинально, не подумав и чуть ли не позабыв, поздоровался, а он на меня посмотрел. Вот тут, наверное, я и увидел его глаза: серые, чуть прищуренные, они глянули цепко, несомненно, оценивающе и — ушли. То есть я понял, что он, про себя сообразив, сразу же перестал меня видеть, а продолжал глядеть во что-то, что разглядывал перед тем и от чего, поздоровавшись, я его оторвал... Если это не совсем понятно, я постараюсь объяснить позже.

С того раза я стал уже искать этих встреч. Должен сказать, что жил я в этом самом райцентре третий месяц, дела мои были сильно запутаны, надежды на успех и удачу никакой, я разошелся с женой, оставил ей все, что у меня было, а именно предмет моей гордости и хвастовства — найденный на московской помойке сундук с медными застежками, набитый рукописями романов, пьес, киносценариев, чем: то еще и еще, — и двинулся куда глаза глядят. Все это не так просто, когда-нибудь я и об этом напишу, а сейчас еще не время, пусть как-то уляжется, утрясется. Может быть, все и сгоряча, а следовало перетерпеть, подождать, хотя чего, собственно, ждать, терпеть, хватит, нахлебался.

С женой вышло, разумеется, нескладно, хотя у кого получится складно, если, прожив вместе пять лет, однажды утром поймешь, что еще пять лет назад была глупость и неизвестно что... Ну я и оказался неведомо где, за пять тысяч верст, и не нужна мне их столица с пропиской, вернисажи и гонорары — село, райцентр на берегу горной реки, а горы, горы — синие, фиолетовые, розовые, а цветы, чуть сошел снег, каких-то уж совсем невиданных расцветок, а тишина, а воздух... Пустила меня бабка Ефимовна в избу, она на печке, я в комнате, дрова мои, картошку обещал ей помочь посадить, обтять, выкопать; взяли сторожем в ПМК, ночь сижу в конторе, по двору гуляю, сплю в кабинете начальника на столе, двое суток куда хочу и чего угодно, — свобода. Райбиблиотека с разрозненными томами Толстого, Лескова, Чехова, даже три тома Достоевского в сереньком издании, фильмы корейские и какие-то еще, и не думал, что столько фильмов у нас по разным студиям, у бабки телевизор цветной, днем спать не дает... На три месяца меня хватило, что-то, думаю, я не то сделал... Ладно, об этом когда-нибудь, если разберусь и понт будет.

Само собой, мы снова встретились. Сажу я как-то на скамейке перед местным отелем — эдакое срамное двухэтажное типовое сооружение с выбитыми стеклами, заколодевшими дверями, с удобствами на задах, возле свалки; тут же автостанция, заплевано, намусорено, напротив клуб, где крутят корейские фильмы, райком, райисполком с красными флагами, а я люблю тут сидеть: люди туда-сюда, автобусы — жизнь; видать, накушался уже тишины и горного воздуха, три месяца мне в аккурат хватило, слаб человек, конечно, слаб, было время о себе поразмыслить и понять, много ли стою, для того и забрался в такую глушь. Ну, это ладно. Солнце греет, горы опять нового цвета, у меня и палитры такой нет, чтоб определить, покуриваю, на людей поглядываю, женщины ходят, тоже, кстати, непростая тема, но я сейчас не об этом... Что мне, свободный человек, захочу — хотя бы целые сутки просижу, имею право.

И тут что-то такое надвинулось — пыль, топот, я не сразу сообразил, что это, пыли в здешней столице хватает, здоровенные грузовики, самосвалы, краны, да хоть в одной нашей конторе этой самой техники... На меня сразу чем-то другим, древним повеяло, я напрягся, вот оно, думаю.

Перед скамеечкой главная улица, дорога, шлях через все село, а там дальше, от реки наверх и на перевал, все туда и громыхает с утра допоздна, на это я уже не гляжу, насмотрелся. А тут всадник вымахал, шапка на нем заломлена, лисья, чуть набок свесился, играет плеточкой, и лошадь под ним пляшет, длиннохвостая, рыжая, а за ним что-то такое, не понять, гул все нарастает, пыль столбом, не разглядишь... Во всю ширину улицы, дороги, шляха этого, от забора к забору, серые от пыли, одуревшие, катятся лавиной, топочут, блеют, а боками о заборы псы здоровенные, и все это плывет, быстрее, быстрее, как река в половодье... Я про сигарету позабыл, пока пальцы не обжег, а они все катились, катились, у меня аж душа заныла, хоть бы конец, думаю, а сзади, как дождался края, еще трое — две раскосые бабы на таких же длиннохвостых и паренек бичом пощелкивает...

Азия, подумал я, чистый эпос, вон я, оказывается, куда залетел, и обернулся на соседа, возле меня кто-то перед тем сел на скамейку, я не посмотрел. И он в то же самое время на меня глянул. Вот когда я его глаза во второй раз увидел и совсем рядом, в упор. Показалось, и он меня

узнал. Серые, чуть сощуренные, полоснули меня и на сей раз не уходят, будто он мне свою затаенную мысль передает, и я сразу понял ее, прочел, да и стыдно стало, уж не покраснел ли — не вслух ли я пролепетал что-то там об Азии и эпосе, и, задним умом к только что прокатившейся серой лавине возвратясь, совсем по-иному ее увидел: овец этих несчастных, баранов с крутыми рогами, с глазами, в которых тысячелетняя затравленность, беззащитность, их с потрохами съевшая, вся нарисована, ничего, кроме покорности, затравленности и обреченности. И эти собачки, и те, что сзади-спереди...

А серые глаза меня как на прицеле держат, не отпускают. Спихватился, подумал я, не иначе, недоволен собой, конечно, выдал себя и проговорился, ясно же, не хотел, чтоб другой — посторонний заметил, не сдержался. А глаза не отпускали, *не уходили*.

— Раз так, — говорит, голос такой с хрипотцой, чуть задавленный, — будем знакомы, — и руку протянул. — Вадимом меня зовут. А я рад, что мы с вами одно и то же увидели.

И усмехнулся. Понял, само собой, догадался, что, кабы не его подсказка, ничего бы мне не разглядеть.

Вот так мы с ним и познакомились, и в тот самый день я о себе подумал, что слабость слабостью, а нет у меня права на слабость, зачем-то я живу на свете и не зря меня сюда забросило. В том, что такое «не зря», я еще разберусь, а об этом человеке рассказать должен, и прямо сейчас, не откладывая. Для себя, а может быть, и для него. Не знаю. А может, и для кого-то еще. Но тогда, первый раз за эти три месяца, я по-настоящему, уже без надрыва и обиды, обрадовался, что уехал, оставил свой сундук, да и все, что в нем хранилось, свалено. Не надо мне.

1

Весна, подумал он, никак не темнеет. Вставать не хотелось. Еще минут пять, больше нельзя, опять опоздаю. Ну и ладно. Он повернулся к стене. Утром опоздал, опоздал в обед, теперь ужин... Сколько дней надо проваляться, чтобы не было сил встать? Он сел на кровати и нагнулся за сапогами. Сдался, когда-то это должно случиться, и так задержался. Он натянул куртку и вышел.

В разбитом окне, в коридоре свистел ветер, коридор был узкий, пустой, и каждый раз, глядя на закрытые двери гостиничных номеров, он вспоминал другие коридоры, другие двери — и ему становилось весело: хочу — пойду, а не захочу — вернусь обратно. Но сейчас надоело. Все надоело. Устал, думал он.

Дверь администраторской была приотворена, но он не глядел туда, только отметил по привычке, что смех оборвался, как только распахнул входную дверь...

— Вадим Петрович, можно вас на минутку?..

Еще шаг, дверь захлопнется... Он повернулся, распахнул пошире дверь администраторской и встал на пороге. Двое. Тут всегда кто-то сидит, всех он уже знал. Всех. А эту видел впервые.

— Вадим Петрович, у меня товар, а вы покупатель...

Тебя-то я особенно не люблю, подумал он, глаза цепкие, холодные и улыбка на тонких губах, всегда ей что-то надо.

— Людмила Васильевна, наш знаменитый доктор, каждый мечтает..

— Такой товар не такому покупателю, — сказал он.

Странно, он ее ни разу не видел, а уж заметил бы, тут нет сомнения. Она покраснела, но не улыбнулась, в глазах только что-то дрогнуло.

— Ты меня как лошадь торгуешь, — голос был грудной, певучий.

— Я в столовую опаздываю, — сказал он.

— Нет, серьезно, Вадим Петрович, — уже с обидой. — Вы же спрашивали про квартиру, а тут как раз случай. Люда приходит и говорит...

— Да я уж вроде привык, — сказал он, — от добра добра, да и с вами расставаться...

— Что ж вы раньше молчали?! Ты гляди, какой! Ничего, тут у нас и начнется самое другое, верно, Людочка, или будешь ревновать?

— Посмотрим, — сказала она, — это кто как поведет. Пойдем, что ли?

Она глядела ему прямо в глаза, а у нее в глазах что-то плясало и вздрагивало, таяло и снова... Ишь ты, подумал он, и, как во сне, когда знаешь, что нельзя, ни в коем случае — нельзя, но сил нет поднять руку — защититься, а ноги сами... Она уже застегивала куртку.

— Удачи вам, — сказала администраторша, — а меня не забудьте, с обоих причитается.

Не знаю, не могу я об этом, да и не хочу тут никакого писательства, да и не было меня — третьего — промеж них, а все одно и то же, у всех и всегда одно и то же. Меня только поражало и останавливало всякий раз, когда об этом думал, восстанавливал намеки ли, обмолвки, когда себе представлял, запрещая думать о подробностях — зачем они мне? Было тут нечто, к писательству отношения не имевшее. Человек же знал и понимал, взрослый, битый мужик, верил себе и своему чувству, более того, остерегался и все время ждал, а тут сам, не только не остерегся, но сам, своими ногами... — вот что меня ставило в тупик. Все он знал наперед! Ведьма, обронил он как-то, я знал, что она ведьма, с первой минуты знал, а вон видишь как. Или ты, добавил он, как те самые, для кого, коли Бога нет, то и всего остального, само собой...

Но это уже потом, а тут они вышли, двинулись в синих сумерках по подтаявшему снегу, под руку он ее, что ли, взял или так вот и шли рядом, сразу свернув к реке, где натыканы дома ниже, выше, к самой воде спускаются, поднимаются на крутой берег, и улицей не назовешь, а называется «Улица Набережная», а он знал, всем своим опытом, обостренным звериным чутьем. *Вело* его что-то, а он сдался. Что Богу от праведности человека, сказал он мне однажды, а что от падения, человек сам выбирает, но есть момент, когда у тебя нет сил, когда ты открыт и уже как во сне. Бедный я человек, сказал он как-то и усмехнулся, не забыть мне той усмешки, чего хочу — не делаю, а что не хочу само делается за меня. Да не *само*, поправился он, не верь ты мне, это я хочу, чтоб кто-то другой за меня ответил.

2

Я пишу и понимаю, как трудно будет рассказать эту историю, если б знал раньше, может, и не взялся бы, она вся в одном слове, в подброшенном мне названии, а я должен объяснять и объяснять — кто ж поймет, если я сам себя в ней до конца не понимаю. Она для меня из кусков, никак не складывающихся в целое, каждый сам по себе, случаен, необязателен, но без них я и совсем ничто здесь не в состоянии понять. Да и как я смогу увидеть целое, если это совсем иная, неведомая мне жизнь, если я никогда не знал, что она есть, да так бы и прожил, ничего о

ней не узнав. Понимаешь, сказал он мне однажды, можешь себе представить, что происходит, когда сквозь трещины в разуме начинает просвечивать лазурь вечности? Нет, сказал я, этого я не понимаю. И я не понимал, сказал он, пока не почувствовал, не увидел, пока сознание мое не треснуло. Тогда начал понимать, и слова эти ко мне вернулись, не мои слова, куда мне — был такой человек, убили его пятьдесят лет назад. Сквозь трещины в разуме — понимаешь? — начинает просвечивать лазурь вечности...

К тому времени мы встречались уже часто. Тоже не сразу это получилось, раз, другой вроде бы случайно, потом стали уговариваться. Время у него было, как и у меня, он тоже работал сторожем, в СХТ. А тут лето начиналось, бродили в лесу, забирались в горы, спускались к реке. Домой он меня не приглашал и ко мне не заходил, отговаривался, да и вообще держал меня на расстоянии. Я никак не мог понять, чем он так занят, а он был постоянно озабочен, торопился, о чем-то напряженно думал, другой раз обрывал разговор на полуслове и уходил. Куда ты все исчезаешь, спросил я его как-то, не видел целую неделю. Болен, сказал он, и я понял, что он соврал. Уж не пьет ли, думал я, да нет, вроде не похоже.

О себе я выболтал все уже во вторую встречу, а что мне было рассказывать, очень все оказалось простым, это самому представлялось сложно и драматично, а когда начал говорить, стыдно стало. Он и слушал не слишком внимательно, задал два-три точных вопроса и перевел разговор. И о себе рассказал к случаю в двух словах. Мы где-то и жили в Москве неподалеку, был он технарем, университет окончил, работал, вроде и семья была, да не сложилось. Он скучно рассказывал. Потом его посадили. «Одна из двух наших статей, — сказал он, — которая поменьше». Год просидел в тюрьме и получил ссылку, день тюрьмы засчитали ему за три, полгода он уже здесь прожил и оставалось года полтора. И в чем было дело, я не очень понял: что-то он написал, кого-то защищал, что-то попало на Запад. Слышал я о таких людях, но они меня никогда не интересовали, и я не мог взять в толк, кто они и зачем вся эта канитель — уехать, что ли, хотят? Ну, а я об этом никогда не думал, у меня были свои заботы.

Однажды он пригласил меня к себе. День был такой ясный, воскресенье, и я решил, что у него день рождения. Мне было приятно. Я купил бутылку, надел чистую рубашку, долго плутал по этой самой Набережной, в огородах, стайках, спускался, поднимался, спросил у одного, второго, наконец добрался. Чистенькая изба, хозяйки не было, и никого не было — он и я.

Он меня ждал, сварил картошку, нажарил мяса, зеленый лук на столе, сало. Бутылка, само собой.

— С праздником, — говорит.

— Это с каким? — не понял я.

— А сегодня Троица, — сказал он, — экий ты темный.

Ну, Троица так Троица. Выпили, поели.

— Так ты верующий, что ли, — спросил я, глядя на иконы в углу, — или это хозяйкины?

— Верующий, — сказал он, — кабы был неверующий, мне бы сюда не доплыть, давно б пускал пузыри и полдо-роги бы не проехал.

— Стало быть, мне той дорогой не пройти, — сказал я.

— Пожалуй, — согласился он, — трудненько тебе придется. Мне таких, как ты, жалко, пропадешь.

— Страшная картина, — сказал я.

— Страшная, — согласился он. — Вот мы с тобой встретились, зачем-то это надо, я тебя научить должен, а у меня слов нет. Таким, как ты, не ликбез нужен, вас ничем не проймешь. Нас не проймешь, — поправился он. — Нас только жизнь способна научить, разумеется, если Бог того захочет.

— У меня был товарищ, — говорил он, — самый близкий мне друг, брат, а жизни разошлись. Как же так, думал я, мне хорошо, я счастлив, а он пропадает! Я говорил, говорил, книги ему таскал, с людьми сводил — все без толку. Слушал внимательно, терпимый был человек, не спорил, но огрубело сердце, как сказано.

— Ну а потом, — спросил я, — услышал?

— Умер, — сказал он. — Умирал тяжело, хотя и недолго. Я опять к нему — усмехается, вижу, ему меня жалко, моих усилий. Да ладно, говорит, ну что ты, в самом деле. Я тебе священника приведу, говорю ему, ты крещеный, это нужно, необходимо, поверь мне, жизнь не кончится, она только начнется, что же ты сам, своей волей отказываешься от того, что тебе дарят, от такого отказываешься! Я, говорит, старался всю жизнь не лгать, не всегда выхо-

дило, но старался, что ж я теперь солгу в таком важном, как ты считаешь, деле, разве можно так? Что я ему мог ответить, разве тут слова нужны?..

— А что нужно? — спросил я.

— Жизнь, — сказал он, — а лучше смерть. Пример жизни, а лучше — пример смерти.

— Я этого не понимаю, — сказал я.

— Еще бы, — сказал он, — как тут понять, если Он за нас умер на кресте, тысячи и тысячи взошли на тот крест, чтобы о том свидетельствовать, а мы все свое, все о себе. Ты думаешь, я другой? Такой же... Ладно, — сказал он, — допили. Или ты еще хочешь?

— Я бы хотел тебя понять, — сказал я.

— Не торопись, — сказал он, — мы с тобой каши мало съели.

3

На том мы наш разговор закончили, но я заметил, что он стал ко мне как бы теплее, вимательнее, а еще через неделю опять пригласил к себе. Мы не пили, у меня денег не было, а он не предложил. Пили чай. Мне показалось, он чем-то расстроен, угнетен, даже растерян — казался всегда спокойным, уверенным, четким, а тут...

— Ты не болен? — спросил я.

— Устал, — сказал он, — все не туда, не так.

— А что такое?

— Вот представь, — сказал он, — человек возомнил о себе, что он может спасти человечество. Пусть не человечество, свой народ. Пусть не народ — тысячи и тысячи людей. Сколько у вас, у писателей, бывает тираж?

— У кого как, — сказал я. — У одного десять тысяч, у другого сто.

— Пусть десять тысяч, — сказал он. — Много, верно? Вот он пишет, ну коли он писатель, пишет, спасает эти десять тысяч, а рядом с ним кто-то один пропадает, а он и не замечает, ему некогда, он человечество спасает.

— Ты о себе, что ли? — спросил я.

— О тебе, — сказал он, — мне тебя жалко, а я не только ничего объяснить не могу, я тебе и примером быть не в силах, я все не то делаю.

Вот тогда он, видно, и сказал: «Бедный я человек...»

— Да что ты такое делаешь, в чем себя укоряешь? — спросил я. — Ты меня прости, я никак тебя не могу понять, безо всякого спрашиваю, просто.

— Это хорошо, что просто, — сказал он, — это первое дело. Я вот иногда думаю, если я ничего другого не умею, может быть, кому-то своей бедой помогу, мерзостью, слабостью моей окаянной? Как ты считаешь, может отрицательный герой быть примером?

— Может, — сказал я, — в отрицательном смысле, пожалуй.

— Вот я об этом, — сказал он, — давай выпьем?

— Если ты хочешь, — сказал я.

— Нет, — сказал он, — не хочу, ты подумаешь, что меня водка мучает.

— Этого я не подумаю, на это и моей простоты хватит, чтоб понять, что дело не в этом.

— Слава Богу, — сказал он, — видишь, мы друг друга начинаем понимать.

— Ничего я не понимаю, — сказал я, — слова у тебя те же самые, знакомые, а смысла не улавливаю. Может, потому, что ты говоришь оттуда, из той лазури, которая тебе открылась в трещинах разума?

— Если б так, — сказал он, — ты меня б сразу понял, в том и беда, что я здесь. Весь, с потрохами.

— Ничего не понять, — сказал я.

— Есть в Библии одна история, — начал он, — о Валаамовой ослице, помнишь ее?

— Нет, — сказал я, — ничего, кроме того, что она заговорила.

— Ну понятно, — сказал он. — А история такая. Дело было, когда Господь выводил Свой народ из Египта, они уже подошли к Обетованной земле и с Божьей помощью покоряли и побивали всех, кто им сопротивлялся. И тогда Валак, царь моавитянский, испугавшись, обратился к волхву Валааму, чтоб он помог ему — проклял народ, с которым у Валака бороться не было сил. За мзду, разумеется. Валаам спросил у Бога — можно ли проклясть. Бог сказал: нет, Я благословил сей народ. Валаам, естественно, Валаку отказал. Но у того не было другого выхода, и он опять обратился к Валааму..

Меня поразило, как он все это рассказывал, будто говорит о чем-то, что *было*, о какой-то реальности — о том, в чем для него нет никакого сомнения!

— Но дело не только и не столько в том, что человек свободен в своем выборе, — сказал он, — Валаам свободен, Валак свободен, мы свободны. Господь может и нашу слабость, нашу мерзость использовать по Своему усмотрению — как Ему угодно. Понимаешь?..

И тут в дверь постучали. Он посмотрел на меня, глаза у него были... Эх, не могу я описать, какие у него были глаза! И мне показалось, еще немного, еще чуть-чуть, и я пойму то, что все это время ускользало...

— Вон как сошлось, — сказал он, шагнул было к двери, остановился и крикнул: — Открыто!

В женщине не было ничего особенного, да видел я ее как-то, не мог сразу вспомнить, чуть ли не у себя дома... Ну конечно, заходила к Ефимовне, мельком, но видел, как же! Особенного-то ничего, но непременно зацепишься. Не для тебя, сказала Ефимовна, когда я спросил, кто, мол, такая. Так и не понял, родственница ли, соседка, дело ли какое. Высокая, легкая, не первой уже молодости — за тридцать. Волосы были хороши: темно-русые, затянутые по-деревенски, не разглядишь сразу, что много; и глаза большие, голубые, тревожные, ищущие, и что-то еще в лице неуловимое, скорее неприятное. Была она в узких джинсах, отчего казалась еще выше, в легком свитерке — двадцатый век.

— А у тебя гости, — сказала она, и голос такой запоминающийся, грудной, и поглядела мимо меня, в глаза прошло облачко.

— Загуляли, — сказал он. — Познакомься, знаменитый московский писатель, а ныне мой коллега.

— Вы правда из Москвы? — спросила она.

— Правда, — сказал я.

Глаза у нее еще больше затуманились.

— А это Людмила Васильевна, — продолжал он, — женщина, как видишь, замечательная, а кроме того, разнообразных и редких дарований.

— Я некстати, помешала? — сказала она.

— Кстати, — сказал он, — с твоей помощью наше чаепитие перейдет во что-либо более существенное.

— Спасибо, — сказал я и встал, — мне пора.

Конечно, это я был некстати. Почему-то я обозлился. На себя, наверное. Или еще на что-то. На то, что не мог понять, что ему от меня нужно. Когда не можешь понять, всегда раздражаешься. Ненавижу то, что не понимаю, говорил один мой приятель.

Нет, ненависти, разумеется, не было, откуда ей быть. Ненависть — слишком дорогое чувство. Просто я обозлился и не знал на что. Но как бы то ни было, видеть его мне не хотелось. Да и ничего мне не хотелось. Зачем я сюда приехал, опять думал я. С работы я теперь приходил прямо домой, пил чай, варил картошку и сидел, глядя в окно, двое суток. Ну спал, само собой. До следующей своей смены. А за окном лето набирало силу, горы гудели цветами, расцветали птицами, небо полыхало голубым, синим, сиреневым, алым. Однажды утром я понял, что и вставать не хочу. Что-то во мне треснуло. Неужто все-таки треснуло, испугался я. Нет, не так, как он говорит, а просто надо уехать, пора уезжать. Но уезжать мне было некуда, я представил себя в Москве, в своем бывшем доме, вот я вытаскиваю из сундука одну рукопись, другую, листаю ее... И тут мне захотелось заголосить по-бабьи, дурным голосом. Не получилась жизнь, думал я, ничего из меня не получилось, какая-то закрутилась ошибка, неправильность, с самого начала, еще давно, еще до того, как все началось, когда я только начинался, там надо искать; и надо теперь же, не откладывая, вот сейчас, прямо сейчас начать разматывать свою жизнь, распутывать с того самого дня, когда я... Но работа эта была мне непривычна, трудна, я сразу сбился, понял, что не смогу — у меня и тут не получится!

За дверью, где моя бабка с самого утра гремела ведрами, уже давно слышался разговор, кто-то к моей бабке пришел, я не вслушивался, мне было не до того, но тут, поскольку ничего своего распутать явно не удавалось — куда мне! — услышал.

«Говорю тебе, про-па-даю! — голос показался знакомым. — Я тебе говорю, говорю...» — голос сорвался в слезы. «Что ты, бабочка, — вступила Ефимовна, — с чего пропадать, пускай они пропадают, тебе мужика надо в дом, рабочего мужика, чтоб он... Рабочий мужик, девка, когда все при нем, дом держит, — наставительно говорила Ефимовна, — кабы я заезжего дурака в избу не пустила, у меня б тоже, хотя я, почитай, старуха». — «Зачастили они, Ефимовна! Я одна, мне ж не отговориться», — голос был явно знакомый, недавно слышал, а не мог сообразить. «Пугают тебя, девка, — говорила Ефимовна, — они от тебя того хотят, что ты им дать не желаешь. Они все того от тебя хотят». — «Ничего

ты не поймешь, Ефимовна! — опять сорвался голос. — Они меня всякий день, хоть сегодня могут взять, а я вся на виду, пойми меня...» — «Вишь какое дело, — сказала Ефимовна, — такое дело плохое. А чего он тебе, муж что ли, ребенку отец, кабы ты ему про...» — «Ты что, Ефимовна, никто, кроме твоих стен... А жилец-то где?» — «Спит, — сказала Ефимовна, — целые дни спит, когда не караулит. Пустой мальй». — «Ой, что ж ты мне...» — вскрикнула та, другая.

Я накрылся одеялом и сунулся носом в подушку. Дверь скрипнула босые ноги шлепали у порога. Дверь опять скрипнула, закрылась. Она, вспомнил я: голос, джинсы, свитерок, которые не могли спрятать, что не прячется, глаза, в которых, как в голубом небе, гуляло облачко.

«Сдавай, — непонятно сказала Ефимовна, — одно дело — бабье удовольствие, другое — своя жизнь, тебе тут жить, а он приехал-уехал, нет его. Не пара он тебе, найдешь, ты кого захочешь найдешь». — «Такого у меня не было и не будет, — сказала она, а я ее теперь видел, от босых длинных ног до глаз, в которых гуляло... — Такого мне не найти», — повторила она. «И не думай, — говорила Ефимовна, — вон они зачем к тебе шастают, а я все в толк не возьму». — «Этот, твой, к нему ходит», — шепнул ее голос. «Вон чего... Ну и ладно, — сказала Ефимовна, — видать, два сапога, такой же дурак, и не жалко. Наука тебе, а по бабьей глупости чего не наделаешь...».

Я отбросил одеяло, швырнул ногой табуретку, встал, запахнул окно, оделся и вышел в кухню. Там никого не было.

5

Еще через день я отправился на работу. Смену я заступал с шести вечера и караулил до девяти утра. Это по будням, а в субботу-воскресенье, когда совпадало, дежурили мы сутки, с девяти до девяти. Противно мне стало дома, на свою бабу я глядеть не хотел, рад был дежурству. Честно сказать, я ничего не понял из услышанного, кроме того, что обе собеседницы мне не нравились. Да и что мне было до их жизни. Конечно, думал я, ее тоже можно понять — эту местную Миледи, в городе хорошо, кому какое дело до твоих переживаний, а здесь все на виду. Не моя забота, решил я.

Я опаздывал минут на десять-пятнадцать, у проходной стоял не сменщик, как обычно, а наш начальник.

Выгонит, мелькнуло у меня, ну и ладно, кстати случай — уеду.

— Как здоровье, Анатолий Михайлович? — сказал начальник и протянул руку.

— Нормально, — сказал я, — а ваше как?

— Какое у нас здоровье, — он засмеялся, — Завтра в область вызывают, вам хорошо — отдежурил, гуляй, дыши кислородом, а мне пар без веника.

— Переходите в охрану, — сказал я, — могу место уступить.

— Надоело? — спросил начальник.

Что за разговор, недоумевал я, он мне никогда «здравствуй» не сказал, в упор меня не видел...

— Само собой, — говорю, — днем жарко, ночью холодно.

— Вы заходите, — сказал начальник, — как вернусь, мы насчет квартиры помозгуем, придумаем, что ж вам скитаться по чужим углам, непорядок.

Пьяный он, что ли, глядел я на него, тут месяц назад приехал главный инженер с семьей, его сунули в общежитие без печки, без воды, он каждый день звонит в область, скандалит... А начальник все мне руку мнет, не отпускает.

— Пойдемте, тут с вами хотят поговорить.

— Кто? — спрашиваю.

Он не ответил, вежливо меня в спину подтолкнул. Мы пошли к конторе.

В кабинете начальника, за его столом, на котором я обычно спал, сидел молодой человек, чуть постарше меня, в пиджаке, белой рубашке с галстуком. Он сразу вышел из-за стола, вразвалочку подошел ко мне, крепко стиснул руку:

— Проходите, Анатолий Михайлович, садитесь к столу поближе, — и вернулся на свое место.

Начальник застыл в дверях.

— Ну я пошел? — сказал он неизвестно кому.

— Да-да, я вас не задерживаю, — сказал молодой.

Начальник ушел, я сел к столу.

— Как здоровье, Анатолий Михайлович? — спросил молодой.

Я вытаращил на него глаза.

— Чего вы удивляетесь, — молодой улыбнулся, как в заграничном кино, — вы тут человек новый, природа-погода, климат, каждый по-своему вживается.

— А вы кто такой? — спросил я.

— Простите, я не представился... А вам начальник не говорил?

— Нет, — сказал я.

— Я представитель органов.

У меня как-то тупо зануло в животе. А он глядел на меня, глаза ясные, доброжелательные, улыбка — брат родной.

— Покинули, выходит, Москву, надо ж, — говорил он, — редкий случай, вы где там жили?

— В центре, — сказал я.

— Был, был и я в Москве, давно, правда, и недолго: шум, толчея, столица, ничего не скажешь. Если не секрет, вы по каким соображениям сюда перебрались?

— По личным, — сказал я, — вот как вы говорите: шум, толчея, а здесь тихо.

— Пишете? — спросил он.

— Что пишу? — не понял я.

— Я же не знаю ваших творческих планов, — сказал он все так же доброжелательно, — творчество — сложная материя, вы, если я не ошибаюсь, драматург?

Я почувствовал, что спина у меня под рубашкой взмокла. И тут я обозлился.

— Я сторож, — сказал я, — вам разве не объяснил начальник? Сторож, и претензий ко мне по линии нашего предприятия никаких нет, а если что...

— Ну-ну, вон вы какой горячий, москвич, сразу видно! Вы курите? — и выложил на стол дорогие сигареты.

— Я свои, — сказал я и вытащил «Астру».

Закурили.

— Вы напрасно нервничаете, — говорил молодой, — у нас, как вы понимаете, работа серьезная, район большой, сложный, а вы человек новый, мы вас не знаем, и понять, согласитесь, не так легко.

— А зачем? — спросил я.

— Что зачем?

— Зачем вам меня понимать?

— Вы газеты читаете? — спросил молодой.

— Нет, — сказал я, — я потому и уехал, что мне читать надоело.

— Это как понять? — прищурился он.

— А очень просто, — сказал я. — Когда я был, как вы изволили заметить, драматургом, я читал газеты, чтоб

быть в курсе, не ошибиться, а то мало ли что напишу, а теперь, когда я сторож и мое дело — охрана, газеты мне не обязательны.

— А тут вы неправы, — сказал молодой. — Если вам доверили охрану государственной собственности, значит, кто-то на нее может покушаться, верно? И вам необходимо разбираться, кто есть кто, а обстановка в мире тревожная, об этом забывать мы не можем.

— Неужто шпионы? — сказал я.

Он шутки не принял.

— Район тяжелый. — повторил он, ему, как мне показалось, надоел разговор, — кого тут только нет, район ссыльный. Вы, кстати, не знакомы с кем-нибудь из ссыльных?

Вон ты о чем, подумал я, и спросил:

— Простите, вас как величать?

— Михаил Михайлович, — сказал он.

— Михаил Михайлович, — сказал я как мог спокойно, — вы что от меня хотите?

— Я бы хотел вас предупредить, — сказал он, на сей раз без улыбки и жестко, — а кроме того, просить нам помочь.

— Не понял, — сказал я.

— Вы меня поняли, — сказал он, — человек вы образованный, одаренный, личные неудачи и трудности в творчестве не помеха, верно? И мы ждем от вас...

— «Мы» — это кто? — перебил я.

— Социалистическое отечество, — сказал он, — советская власть. Вы думали, что, уехав из Москвы, куда попали?

— А ведь я вас правда не понимаю, — сказал я.

— Анатолий Михайлович, дорогой мой, — он опять улыбался, — вы человек умный, решительный, все это очень приятно, ну что мы с вами в прятки играем? Я уверен, что ваша, так сказать, командировка даст добрые плоды и результаты. Но человек вы молодой, как говорится, необстрелянный... Я с вами, видите, вполне откровенен. Нам известно о том, что вы дружите с Полухиным.

— Ну и что, — сказал я.

— А ничего, — сказал он, — ваше дело. Только боюсь, вам не известно, кто он такой.

— А кто он такой? — спросил я.

— Враг, — сказал он, — не разоружившийся, не расквашившийся, не признающий своей вины. Чем он сейчас занимается?

— Так вы же все знаете, — сказал я.

— Знаем, — сказал он, — конечно, знаем, но есть моменты, детали, в которых вы могли бы нам помочь.

— Каким образом? — спросил я.

Этого вот, наверное, мне не следовало говорить, я это сразу понял.

— А я вам подскажу, — сказал он, — для того мы и встретились.

Я молчал.

— Враг хитрый, опасный, — повторил он, уже строго глядя на меня.

— А чего вы его тогда в клетку не упрячете, — буркнул я.

— Всеу свое время, — сказал он. — Ему дали возможность жить нормальной жизнью, к нему проявили гуманность — или он жалуется на что-то?

— Вот что, Михаил Михайлович, — сказал я, — вы меня простите, но я вас не понимаю и понимать не хочу. У вас своя работа, а у меня своя, я, кстати, смену заступил, и мне надо делать обход.

— Ну что ж, — сказал он, — как говорится, вольному воля. Но вы мне должны дать слово, что этот наш разговор останется между нами.

— Ничего я вам не должен, — сказал я, — и никакого слова давать не стану.

— А ведь неприятности могут случиться, Анатолий Михайлович, неровен час...

— Слава Богу, — сказал я, — а то тоска, другой раз завить охота, хотя бы развлечение.

— Ну-ну, — сказал он, — а уж вы не верующий ли?

— Чего?.. — спросил я и мне стало весело. — И работа же у вас, Михаил Михайлович! Был бы я писатель, я бы про вас обязательно написал.

— Вот я и хотел вас предупредить, — он поднялся. — Жалко, не нашли общего языка. Но вы меня найдете в случае надобности. Да ведь и я вас разыщу.

6

Сдав утром смену, я побежал на Набережную. Дом был заперт. Я постоял во дворе, подумал и пошел в СХТ. Вчера был, сказали мне, послезавтра его смена. Куда теперь,

думал я. Стало не по себе, я уже ловил себя на том, что оглядываюсь, не идут ли следом. Бред какой-то...

Целый день я бродил по селу, посидел в столовой, возле автобусной станции. Разговор с молодым человеком в галстук крутился и раскручивался в голове. Не нравился я себе: и то, что в животе у меня заньло, и стыдный пот на спине, и этот жалкий, вырвавшийся неизвестно зачем вопрос. Вольному воля, думал я. Куда же он все-таки делся? Ближе к вечеру снова потащился на Набережную, сел на бревно возле сарайчика и решил ждать. Курил и ни о чем не думал.

Появился он неожиданно, когда я собрался уже уходить. Вошел в калиточку, запер ее.

— А я думаю, куда ты пропал? — он приглядывался ко мне.

Я присох к бревну и не мог подняться.

— Ты что, — спросил он, — заболел?

Глаза у него стали острые, как в день нашего знакомства.

— Я тебя целый день жду, — сказал я.

— Да?.. Тогда будем чай пить. — Он отпер дверь и пропустил меня вперед.

Та же кухонька — чистенько, темновато.

— Что ты маячишь? — сказал он. — Садись.

Включил плитку, поставил чайник. Вышел из дома, вернулся и запер дверь.

— Рассказывай... — сказал он. — Нет, погоди, тебе выпить надо.

Достал початую бутылку и налил полстакана. Я выпил. Он стоял у стола и глядел на меня, глаза у него были все такие же внимательные. Вдруг он засмеялся:

— Хочешь я за тебя расскажу?

— Что расскажешь? — спросил я.

— Зачем ты прибежал и ждал меня целый день.

Он сел к столу и вытащил сигареты.

— Курите? — сказал он. — Как здоровье, как вам здешние горы, климат, о Москве не скучаете, не правда ли, странно, все в Москву, а вы почему-то оттуда сюда... Угадал? Или продолжить?.. Эх ты, чудик.

Сбитый с толку, я кое-как пересказал вчерашний разговор.

— Понятно, — сказал он, — это я виноват: надо было тебя предупредить, они и так тянули. Халтура, никому работать неохота, как у нас в СХТ. Напугался?..

— Ну, а что теперь? — спросил я.

— А что теперь? Как жили, так и жить будем. Ты правильно ему сказал: у них своя работа, а у нас... — он поставил второй стакан. — За тебя выпьем. Нормальный разговор, не расстраивайся. Если нам из-за такой ерунды расстраиваться, надо к ним идти работать. Или ты по-другому думаешь?

— У меня странное ощущение, — сказал я, — никогда такого не было. Вот мы сидим с тобой, водку пьем, чайник закипел — и это все правда, все так и есть. А то, о чем мы сейчас говорим, — бред, и его на самом деле нет. Но ведь было, мне не приснилось?

— Видишь, какой ты... одаренный, — сказал он, — это он верно тебе заметил. *Одарили* тебя, очень я за тебя рад. Они, понимаешь, не обязательно с рогами-копытами, да у тебя и времени не было приглядываться, кабы взгляделся, различил. Небось, взмок?

— Взмок, — сказал я.

— Вот видишь. А на самом деле их нет, они есть, когда мы о них думаем, а ты плюнь, забудь — он тут же исчезнет. А еще лучше перекреститься.

И он перекрестился, оборотившись в угол, на иконы.

— Фу! — дунул он. — Полегчало?

— Полегчало, — сказал я.

— Знаешь что... — сказал он, лицо у него разгладилось, посветлело...

«Да он совсем молодой!» — подумал я.

— Я тебя в хорошее место поведу, — сказал он, — что нам тут киснуть, да и ни к чему. Береженого Бог бережет. Кстати, темнеет. Или у тебя другие планы?

— Какие мои планы, — сказал я, — хорошо, я тебя живого увидел.

— Жалко, бутылки нет, — сказал он. — Ничего. Не обязательно. Чаю напьемся.

7

Изда стояла на крутом берегу, до деревни километра два, торчали, угадывались дома на опушке роши. Далеко, оттуда ничего не разглядеть. С другой стороны, сразу за разрушенной баней, чернел обрыв с невысыхающим и летом ручьем под ним, а на задах, за огородом, за оврагом начи-

нался лес. Хорошее было место для уединения, да и видать, когда кто шел из деревни. Только из леса можно было подойти незамеченным, но и тут надо перебираться через ручей, подняться по крутизне — слышно, как камни катятся из-под ног.

Изба была ничья. Ну, был, само собой, хозяин, работал он плотником в колхозе, хромым малый, спившийся и пропадавший. Два года до того жена покалечила его, убить — не убила, а ногу сломала. Как уж она исхитрилась сломать ногу, когда целила в голову, не иначе в темноте. Кабы был трезвым, давно б лежал под холмиком на погосте, а он свалился пьяный, ногами на подушку, жена и махнула топором не туда, куда метила. Дали ей срок, увезли, он перебрался к матери, в деревню. «Хороший мужик, — сказал Вадим, — без хитрости, у нее с ним амуры были до меня». — «У кого?» — не понял я. «Да у Людмилы Васильевны. Он ей ключ отдал от избы, ему, мол, не надо. Так она рассказывала. А я не переспрашивал. Я никогда не переспрашиваю», — сказал он.

В этой избе они и встречались тем летом. Не знаю, как у них там все было, не мое дело. Наверное, как у всех, хотя у всех оно по-разному. Стоял на берегу вросший в землю до самых окон пятистенок: кухонька, печка побеленная, чисто в избе, комната большая в три окошка, одно на реку, два на деревню, вот только когда из лесу идут, не видно, но, как уже говорилось, можно услышать. Кто приходил первым, кипятил чай, света они не зажигали, а ночи летом короткие, глаз не успеешь закрыть, светает. Река летит прямо на восток, и солнце поднимается, выкатывается из спящей, розовой пены, ближе она голубеет, зеленеет, изумрудная, могучая, неукротимая; в распахнутые окна валит лесной дурман, пряный аромат цветов из темного леса на другом берегу, терпкий запах сырой гальки...

Вот он куда меня привел в тот вечер. Чай пили, разговаривали всю ночь, а утром, чуть вспыхнули окна... Утром я всю эту красоту и разглядел. «Нравится? — спросил он меня. — Вот он такой и есть — мир Божий».

— Сейчас, наверно, хозяйка придет, — сказал я, как только мы уселись пить чай.

— Людмила Васильевна? Нет, не придет, уехала на неделю в область, дела у нее. А тебе, я вижу, она не показала, что так?

Я пожал плечами. Что я мог рассказать, не мое это дело передавать ненароком подслушанные бабы шепотки, да и не понял я в них ничего.

— Несчастливая баба, — сказал он, — и от меня ей не много проку. Но я ей благодарен, она для меня то сделала, что никто б не сделал, а зачем, почему — не суть важно, у каждого свое «зачем», про то одному Богу известно. Мне время дорого и место, — сказал он, — а я через нее получил и то, и другое. А уж тут кто кого...

Я ничего не понял, но промолчал.

— У нее жизнь трудная, — говорил он, — баба видная, тут и ты согласишься, а невезучая: муж погиб, история темная, мальчишка растет... Здесь, в деревне, что ни дом — беда, несчастье, а у нее работа, как бы тебе сказать, хуже нет. Ты знаешь, что такое зубной техник?

— Мне не надо, — сказал я.

— И мне пока не надо, а кроме нас, всем требуется. Ты погляди, как здешний народ улыбается — ювелирный магазин, а срока большие, уж это мне хорошо известно, нагледелся. Тоже, понимаешь, зигзаг нашего правосудия. Глупость, разумеется, самое вроде бы мирное дело — зубы вставить, а работа, как у минера... Несчастливая баба. С тобой они схалтурили, да и чем тут поживиться, а уж она у них давно на мушке, если еще не с самого начала, не по наводке. Ясное дело, на крючке.

— Зачем же ты... — я был в полном недоумении.

— А что я? — сказал он. — У нас с самого начала полная ясность. Жалко, она тебе не показалась, но, может, ты и прав. Каждый из нас прав, вот в чем беда.

Удивительная была ночь, из-за одной такой ночи стоило мне затеять мое путешествие. Да не в том было дело, какое место, луна, звезды, как они катились в распахнутое окно вместе с речным грохотом, лесным дурманом... В нем было дело, в том, что он мне рассказал. Не в одну эту ночь, еще три, четыре ночи пробыл я у него в избе на берегу.

8

Он рассказывал о тюрьме. Да, знал я, знал, слышал об этом. Тюремный замок чуть ли не в центре, в черте старой Москвы, кто не знает, сколько раз проходил мимо — но ведь мимо, зачем мне? Читал, конечно, читал, — кто не

читал? — а значит, пора моя тогда не пришла. Ночь, что ли, была тому причиной, мы сидели без света — луна и звезды, голос ли его, чуть задавленный, или странная манера рассказывать, будто не говорил, а читал. Не знаю, но я внезапно увидел, себя там увидел, с самого начала, с первых минут, когда два, три, четыре десятка мужиков — обросшие за дни предварительного, мятые, грязные, в ботинках без шнурков и сползающих брюках без ремней — входили сквозь лязгающие решетки; как их сводили, разводили по загаженным отстойникам, вагончикам, и все это бегом, бегом; вся эта немислимая, рутинная процедура сборки, униженность, мерзость подавления: медосмотр, фотографирование, ошеломляющий, сбивающий с ног вихрь первого генерального общего шмона, и опять регистрация, тупая безысходная канцелярщина, и снова — отстойники, вагончики — мясорубка сборки, цель которой сломить, задавить в первые же часы, длыща-ся чуть ли не сутки; а кроме того, бесконечные разговоры с одним, другим, десятым, обнюхивание, рассказы, от которых кровь леденеет в жилах; но это только начало, а главное — впереди, о нем предупреждает, кричит каждая новая ступень сборки; и уже готового, обработанного, ко всему готового и для всего дообработанного, после ночи без сна, после бани, отнявшей последние силы, переходами, туннелями, уже по двое, по трое, вверх, вниз, по одной, второй, третьей лестнице, и не понять, подняли тебя или опустили, с матрасом, подушкой, одеялом, кружкой без ручки, ложкой без держала — вверх, вниз, опять вверх — и камера, первая твоя камера, дом на месяц, на два, на годы; глаза со всех сторон — с двухэтажных шконок, вопросы, вопросы, и вживание в быт, который на самом деле, конечно, не быт, но тем не менее быт, жизнь: решка, реснички, дубок, шконка, фаныч, шленка, дальняк; прогулочные дворики на крыше, небо сквозь железную сетку — и вдруг весной зеленый куст возле огромной, уходящей в голубое небо трубы; и возвращение с прогулки в смрад, гвалт, тесноту... День, как месяц, по плотности, по напряженности, по отдаче всех сил, месяц, как годы, по полноте и заполненности, дружба, вспыхивающая как смоляной факел, и мелкая низость предательства, как обвал, помощь там, где ждешь ножа в спину, и нож там, где... И на мгновение — покой, тишина, но ты уже боишься, знаешь, что это — мгновение, тут же стук кор-

мушки: «С вещами!». И опять лестницы, переходы, туннели, отстойники и — новая камера, и глаза со всех сторон — шестьдесят пар глаз! — и уже нет факела, только нож в спину, тебя уже знают, изучили, кто-то невидимый дирижирует всеми этими перемещениями, он все время здесь, рядом, в каждой камере, в каждом отстойнике, ночью, на соседней шконке; но и ты уже знаешь: каждый, кто подошел — зачем? «Покурим?» — зачем? «Может, чайком побалуемся?» — вон ты как со мной, мразь кумовская!..

Нет, в ту ночь он только начал, я был у него через день, еще через день, а потом дней через десять, и еще, а он говорил, говорил, и ему хотелось, я понял, он хотел мне все это рассказать, и уже не мог остановиться, и я видел новую камеру и узнавал ее, как знакомую, встречал коридоры и лестницы: «Здорово, ты живой, что ли, все еще здесь, а где рыжий, кум сука, я тебе всегда говорил, он сразу *выкупался*, да мы его выкупили, сука позорная!» А дальше встречи еще невероятней — в боксах, в больничке, и вдруг — накладка, прокол, или и это в замыслах дирижера — *зачем?* — возвращение в свою первую хату... И я не заметил — как, каким образом? — в этот ад, рукотворный, руками, делом, разумом человека созданный, уже закостеневший, ставший мерзостным бытом и постыдной жизнью, в этот ад стала проникать струя *света*... Я не поверил, подумал, я ослышался, что-то не понял, устал! Любовь хлынула неведомо откуда и затопила коридоры, камеры, смрадные отстойники, дикие сюжеты и судьбы, и — ожили, заулыбались, заблестели слезами, умом, юмором мертвые глаза, оскаленные морды: убийцы, насильники, хапуги, вертухай; кровавые статьи, страшные нелепые судьбы, исковерканные жизни... Я увидел несчастных людей — слабых, запутавшихся, во власти неудач и страстей, со своей бедой и непобедимым страданием, без помощи, без защиты, наедине с собой в этой безысходной загаженной куче... И все это связывалось, оборачивалось чем-то до слез шемящим и радостным... Да, *радостным*.

— Послушай!.. — прервал я его и задохнулся. — Ты так странно рассказываешь, будто читаешь, я слушаю, слово главу за главой. Послушай, это роман, готовая книга!

За окном посветлело, и я увидел его лицо — бледное, серое, как стена. Свет, наверно, был серым, туман плыл над рекой, вползал в окно. Серые глаза полоснули меня.

— Какой роман? — сказал он.

— Нет, — торопился я, — ты так рассказываешь, все так сходится, сведено, если б у меня было право, тут остается только... записать.

— Вон как, — сказал он, — верно, право оно... конечно. Эти обязанности следует всего лишь выполнять, хотя и не хочется, а право...

— Нет, серьезно, — говорил я, не слыша его, — ты никогда не пробовал писать?

— У меня другие беды, — сказал он, — а писателей я не люблю.

— Прости, — сказал я, — прости, что я тебя перебил, давай дальше.

— Нет, — сказал он, — дальше я не хочу. Не буду. Да и хватит, вон ты о чем подумал.

— Ты меня не понял, — сказал я, — я просто...

— Я себя понял, — сказал он.

И замолчал. И больше у нас о том разговора не было.

9

В конце лета мы виделись реже, а потом и совсем редко. Как-то я зашел к нему и понял, что он недоволен, да и открыл не сразу. В избу у реки больше не приглашал. Однажды мы отправились в горы, за грибами, он больше молчал, разговора не получалось. Сказал только, что вот-вот придет хозяйка. Женщина она вроде неплохая, но жить он привык один. Что-то у него, я понял, не ладилось.

А я решил остаться на зиму, год надо выдержать, во мне происходило нечто для меня важное, о чем в свое время, если получится, может быть, напишу. Я боялся растерять, спугнуть это в себе. С Ефимовной все само собой утряслось, я помог ей выкопать картошку, она теперь не глядела на меня зверем — что взять с дурака, а меня это устраивало. И на работе все было тихо-мирно, начальник меня не узнавал, в упор не видел, ни о какой квартире, разумеется, речи не было. Да и никакого разговора с молодым человеком в галстук не было. Фу — и нет его.

Осень началась внезапно. В середине сентября вдруг похолодало, и вместо дождя повалил мокрый снег. Климат-погода, думал я.

Он пришел ко мне ночью, на дежурство. Я уже устроился на столе, постелил телогрейку, еще одну под голову, бабкин тулуп сверху. Холод был собачий, раньше половины октября топить никто не собирался, а до того глаза вытаращишь.

— Вон ты как живешь... — сказал он. — Нормально, по-хозяйски, а говоришь, писатель.

Он стащил мокрую куртку и достал бутылку водки.

— Не возражаешь?

Я не возражал.

— К тебе сюда заглядывают?

— Нет, — сказал я, — а в такую погоду тем более, кому охота.

Я был ему рад, соскучился, мы давно не говорили, а мне было о чем.

— Плитка у тебя есть? — спросил он.

— А как же, — сказал я с гордостью, — у меня и чайник здесь.

— Ну и славно, — сказал он, — и чего-нибудь занюхать?

У меня была вареная картошка и соленые огурцы. Ефимовна, когда злилась — зверела, а уж когда добрела — лучше родной тетушки.

— Ты все-таки запри двери, оно спокойней, — сказал он.

Я приглядывался к нему: какой-то другой — собранный, сдержанный. «Решившийся» — определил я, хотя и сам не понял, что имел в виду.

— Ну, — сказал он, — за все хорошее.

Мы выпили.

— Ты знаешь, кто такая Далида? — спросил он.

— Нет, — сказал я, — кто-то из мифологии.

— Да, — сказал он, — с писателя какой спрос. Как звали твою учительницу?

— Какую учительницу?

— Была же у тебя учительница, или ты — на медные деньги? Наверно, Людмила Васильевна, не иначе, ты у нее учился, хотя у нее вроде другая специальность.

Вот так непонятно он тогда начал.

Мне трудно передать этот наш последний разговор, и не удастся, не до того мне стало, чтоб запомнить, к тому же я долго не мог понять, зачем он мне все это говорит, придя вдруг ночью, а когда понял... Ну тогда поздно было, он ушел. Поэтому я попробую рассказать, как мне все

это увиделось, и хоть меня там не было, но я знал и собеседников, и место — ту самую избу на крутом берегу.

Разговаривали они ночью, едва ли утром, это ночные разговоры.

Слушай... — говорила она или шептала, шелестела, небось близко были — как ночью разговаривают мужчина и женщина, если ни души вокруг, только река грохочет, летит в темноте, рвется к катящемуся на другой стороне земли солнцу, да и не всегда они пили чай, бывало покрепче. Слушай, говорила она, я все-таки не пойму, такой ты здоровый, крепкий, вон сколько в тебе жизни бурлит, гуляет, ну что ты делаешь целый день? А я тебя жду, отвечал он. Нет, я серьезно, вот ты приходишь с дежурства утром, в девять, да? Ну чаю попьешь, то-се, поспишь час-другой, какой днем сон, да и выспался, была я у тебя днем на работе, видала, и еще двое суток впереди, отоспишься. Чем ты все-таки занят? А почему ты не веришь, отвечал он, мне как раз хватает на двое суток вспоминать, как ты приходишь ко мне, как я прихожу к тебе сюда. А что тут вспоминать? Понимаешь, говорил он, сначала я тебя жду, ну или сам собираюсь к тебе, гляжу на часы, слушаю шаги. Я знаю твои шаги и слышу их, как только ты выходишь из дома — тук-тук. Ты к чему это, спросила она в темноте. А к тому, что я тебя жду, я слышу, как шелестит твое платье, когда ты надеваешь его, чтоб идти ко мне, и как снимаешь, когда приходишь. Ты меня так любишь? А ты сомневалась? Тогда докажи, что любишь, расскажи, что ты... Сейчас, до утра далеко, я тебе докажу..

— Понимаешь, — сказал он мне, — все дело в том, что она продолжила этот разговор следующей ночью.

— Не доказал? — не удержался я.

— Не сумел.

Нет, правда, говорила она ночью, ты очень хитрый, а я упрямая, и я хочу знать о тебе все. А я думал, все тебе объяснил, — сказал он. Когда? — спросила она. Что когда? Когда все объяснил? Вчера, сказал он, и третьего дня, и в тот первый наш день, помнишь, весной, когда ты вытащила меня из гостиницы. Я не об этом, сказала она. А я думал об этом, о чем же еще? Я хочу знать, что ты делаешь целый день, говорила она. Ишь ты, подумал он тогда, как все у вас просто...

— Ночь такая... — рассказывал он мне. — Да ты был там, помнишь: река шумит, воздух прохладный и легкий,

и я плыву в нем, выплываю в окно, слышу, как бьется ее сердце, а может, это мое стучит, разве разберешь? Что же ты, сказал я себе, а может, это она сказала: что же ты? И я сам уже не понимал — что же я и кто я такой — что это со мной? Понимаешь, я был совсем другим два года назад, мне все было просто, как бы тебе объяснить... Мне говорили: «Здравствуй, Вадим», — и я отвечал: «Здравствуй!». Я и в тюрьме первые полгода оставался таким, не мог измениться, а меня учили, с первого дня учили, а я не поддавался, держался, и уже глупо было, нелепо было, смешно было — а я все говорил: «Здорово, да это я, Вадим!». Понимаешь? А потом во мне что-то треснуло, и я захотел выжить, не потому, что боялся смерти, хотя, правду сказать, лежать голым мертвым телом на ихней свалке мне не хотелось. Но тут дело было не в том, я сказал себе: ты должен выжить, потому что зачем-то тебя швырнули сюда. Ты должен спасти в себе все, что тебе открылось, не растерять, сохранить, вынести, протащить через все шмоны, через страх и усталость, через ненависть, которая должна стать любовью, переplавиться в любовь. Но никогда и никому не открыть — понимаешь? Затухни, сказал мне один вор, а он понимал и меня понял, у него была девятая ходка, он много что понимал. Тебя видно с двух шагов, сказал он мне, они тебя кончат, затопчут. Затухни, сказал он мне, и они махнут на тебя рукой.

— И я затух, понимаешь меня? — сказал он, и глаза у него блеснули. — Я ведь и тебе до конца не верю, я перестал верить всем — понимаешь?

— Нет, — сказал я, — я не могу этого понять.

— Конечно, не можешь, — сказал он, — когда б ты мог, если бы мог, тогда не нужно того, что было у меня, тогда все это не нужно, ни к чему, все впустую, и можно за столом, под чаек, под коньячок...

— Вон ты о чем, — сказал я.

— А ты думал — о чем? — бешенство плескалось у него в глазах, — ты думал о том, что я нашел бабу, у которой ключ от хаты и жду не дождусь ее шагов и шелеста ее тряпок?

— Нет, — сказал я, — такого я о тебе не думал.

— Но я не мог, понимаешь, не смог! — сказал он. — Я не могу брать и брать, хлебать, как воду, как щи, я забыл, что не смогу, что это не пайка, которую можно брать и зубами рвать, когда у тебя ее захотят отнять, не миска ба-

ланды, которую тебе Бог дает — не кто-то там из милости, а потому ты за нее никому не должен. Вот на чем я попался, я захотел того и другого, позволил себе захотеть того и другого, забыл о том, кому дал слово, за которое получил все, что я получил и что только и было надо.

— Кому? — спросил я, и голос у меня, видно, сорвался.

Он посмотрел на меня, будто на стену наткнулся, и замолчал.

— Прости, — сказал я, — это я по глупости.

— Ладно, — сказал он, — пролетели. Я тебе все равно должен рассказать, должен, а времени у меня мало, не осталось. Они таскали меня по тюрьме целый год, из камеры в камеру, не давали вздохнуть, а нет ничего страшней в уголовной тюрьме новой камеры. Столько сил тратишь на то, чтоб войти — да не обжиться, какое обжиться, пустяки это! Чтоб понять, чтоб тебя узнали, и ты чтоб все понял. А они обсаживали меня со всех сторон — кумовскими обсаживали. Пока у меня ума достало понять, разобратся, пока еще нюх обострился до того, чтоб не ошибаться, а тут... Ну, это другой разговор, об этом я сейчас не успею. Второй раз мне, пожалуй, не успеть, — он усмехнулся и светло посмотрел на меня. — Впрочем, как Бог даст. И слава Богу, что Он Сам решает за нас. В самом главном решает, в том, что нашей пакости недоступно — тут Он за нас решает... Ну и это другой разговор. В каждой камере, в которую они меня запикивали, я забивал гвоздь, ставил вешку, находил среди всех кого-то одного, выхватывал — и уже не отпускал, пока они, спохватившись, меня оттуда не вытаскивали. Но я успевал, я знал, что для меня это единственный выход, шанс — остаться, не исчезнуть, сохраниться в ком-то. Я не имел права ошибиться и, кажется, не ошибся, что-то давало мне силу не ошибиться. Я выбирал его, одного, и говорил ему все или почти все, и знал, он меня в себе сохранит, найдет возможность, когда придет его время, когда будет надо. Понимаешь? Меня уже не будет, пять, десять лет пройдет, пятнадцать, а они один за другим начнут приходить...

— Куда? — выдохнул, прошептал я.

— Тебе это не нужно, — сказал он, — ты обойдешься без адреса, ты другой гвоздь, таких там не было. Ты мне для другого нужен.

— А ты не боишься, что не потяну? — сказал я.

— Нет, — сказал он, — не боюсь, чему-то я все-таки научился, знаю. Ладно, хватит, я уже лишнего наговорил, а времени осталось совсем мало.

— И вот, понимаешь, — продолжал он, — она опять о том же самом, и ночь и река летят за окном. Ишь ты, ду-маю я, как все у вас просто...

Скажи мне правду, говорила она с таким уже злым упрямством, я не могу с тобой так, потому что я не такая, как ты думаешь. Это я знаю, сказал он ей, ты не такая, верно. Спасибо, сказала она, хоть на этом спасибо, а как ты догадался? Я тебе уже говорил, сказал он, я слышу твои шаги — тук-тук, стучат каблуки, а в походке человек сразу виден. Как это? — спросила она. Очень просто, сказал он, походка открывает в человеке еще больше, чем, скажем, почерк, тут не спрячешься, я знал двух людей с удивительной походкой, женщину и мужчину. Ты третья. Что же у нас было общим? — спросила она. Ничего, сказал он ей, вы все разные. Женщина не ходила, а летела, в ней были гордость и бесстрашие, но бесстрашие было сильней гордости, и это ее спасло. А в мужчине было другое — самодовольство и самолюбование, но он был так артистичен, так в этой артистичности естествен, что его походка завораживала, сбивала с толку. И это его погубило. И все в походке? — спросила она. Да, сказал он ей, все это в походке: она летела, а он плыл. Ну а я? — спросила она. Я им никогда об этом не говорил, сказал он, такое можно сказать только третьему, о другом. Когда-нибудь я расскажу о тебе, если будет случай. Но ты не похожа на них, ты другая, и я слышу, когда ты выходишь из дома, когда... Ты уже говорил об этом, перебила она, а я спрашиваю не о том, а что ты делаешь, когда бываешь один, ты должен мне об этом сказать, а ты нарочно уходишь и забиваешь мне голову, а я тебя, выходит, не знаю, а должна знать, и получается, что я нужна тебе только для того, чтобы... А я так не могу. Как так? — спросил он, потому что он тоже так не мог. Я не блядь, сказала она.

— Что оставалось делать? — сказал он мне. — Я должен был встать и уйти — в дверь, в окно, исчезнуть, все, что угодно, но чтоб меня там не было, а я... Помнишь, в «Братьях Карамазовых» Митя говорит о Грушеньке, что у нее такой «инфернальный изгиб»?

— Может быть, — сказал я.

— Ну и достаточно, — сказал он. — Я не Митя, но и он не был пошляком, он был кем угодно, но пошлости в нем не было. Но дело не в этом, а в том, что она ведьма, а потому я не мог — ни уйти, ни промолчать. Но я еще барахтался, я еще держался на плаву.

Хорошо, сказал он ей, я тебе скажу. Вот видишь, миленький, сказала она, значит, ты меня любишь, значит, у нас не просто так, как... Хотя бы утро, думал он, утром я ничего не скажу. Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, думал он. А утро все не наступало. В сентябре ночи стали длинные. Кури, прошептала она, и он закурил. Когда я устаю тебя ждать, сказал он, я начинаю слушать другие шаги: тук-тук, тук, слышу я, понимаешь? Нет, сказала она, не понимаю. Ну, ты ведь не одна на белом свете, сказал он, а поэтому, когда тебя нет, когда я знаю, сегодня тебя не будет, а если ты вдруг передумаешь, захочешь, я услышу, как только ты выйдешь из дома, как только наденешь платье, чтоб снять его, когда ко мне... У тебя, правда, такой слух? — спросила она. Конечно, сказал он, я слышу, как только ты... Ты об этом уже говорил, сказала она, значит, другие шаги? Другие, сказал он, тут-тук, тук... Ну и что? — спросила она. Я открываю дверь, и она входит, сказал он. Кто? — спросила она. Какая тебе разница, сказал он, не ты, и у меня с ней все совсем не так, как с тобой, я не слышу шелеста ее платья, мне все равно, но надо как-то убить время, и я его убиваю. А как только услышу твои шаги, шелест твоего... Ты правду говоришь? — спросила она. Конечно, сказал он и увидел, что воздух за окном посерел, а ему хотя бы еще один день выдержать, ему еще одного дня хотелось, ему все было мало, он понимал, что проигрывает, проиграл, в тот самый день проиграл, когда увидел ее в гостинице и не ушел, остался, застрял, да еще раньше, когда устал, позволил себе устать...

— Но ты все-таки не сказал, — вырвалось у меня, — дотянул до утра!

— В тот раз не сказал, — он усмехнулся. — Но больше не смог, я уже знал, больше мне не продержаться, у меня уже не осталось сил на проигрыш, я понял, что должен... Я должен был победить себя. Мне ничего больше не оставалось: только себя... Это было два дня назад... Ты где был вечером? — спросил он.

— Вечером... — начал было я.

— Я зашел к тебе, а тебя нет, ушел, — сказал он.

— На почте, — вспомнил я, — я звонил в Москву. Да не надо было, глупость, тоска заела, сидел-сидел, вдруг стукнуло, я и пошел, сам не знаю зачем.

— Вот видишь, — сказал он, — что с этим поделаешь, это сильнее нас. *Стукнуло*. Что в тебе стукнуло, *кто* стукнул?

— Кто? — спросил я.

Он усмехнулся:

— Кабы я тебя застал, я не пошел бы туда, у меня оставался последний жалкий шанс, последняя зацепка моей трусости, она еще жила во мне, убивала меня. Я так гадал. Мы загуляли бы с тобой, и я тебе, а не ей... Я так и решил: если ты дома — а ты всегда дома, ты и должен был быть дома, но тебя *стукнуло*, а значит, это не случай, не случайность, а так должно быть.

— Господи! — сказал я.

— Вот и я сказал: «Господи, значит, Ты хочешь так... Ты хочешь меня спасти...»

— И что? — спросил я.

— А ничего, — сказал он, — она пришла пораньше и ждала меня, протопила, приготовила ужин, и мы выпили. Знаешь, как пьется в темноте, когда слышно, как бьется сердце, и не поймешь, твое это сердце или не твое, и река гремит за окном, а вчера ветер стучал железом на крыше, деревья скрипели, а потом пошел снег...

Ты опять соврал мне в прошлый раз, говорила она, я сразу догадалась, а сегодня знаю точно, и больше так не могу. И не нужно... Далида, сказал он. Кто? — спросила она. Далида, сказал он. Ты не знаешь, кто такая Далида? Не кто, а что, сказала она, мыло. Мне подруга прислала в прошлом году четыре куска — «Далида». Не помню чье, Европа. Врач, сказал он, интеллигент. Ты чему училась — новинкам парфюмерии? При чем тут это, сказала она, ты о чем, миленький? Есть такая книга, сказал он, Библия называется, слышала, может быть, дорогой мой доктор? Слышала, сказала она, а ты ее читал? Читал, сказал он. Там рассказывается о том, что во времена судей Израильских жил человек по имени Самсон, и был он одним из судей... Знаю, сказала она, читала, но не в Библии, а еще где-то. У него были длинные волосы, а она ему их обрила, и ему выкололи глаза. И картина есть, не помню, кто нарисовал. Не Далида, а Далила — Самсон и Далила. Да, сказал он ей, ты ученый доктор. А почему ты вспом-

нил? — спросила она. От тебя пахло мылом, сказал он, тем самым, у меня тоже был кусок, мне его принесли в передаче. В какой передаче? — спросила она. Я отдыхал в доме колхозников, сказал он, и мне приносили туда раз в месяц передачу. Опять врешь, сказала она, у меня уже полгода нет того мыла, не мог ты ничего унюхать. Далида, сказал он, и ему показалось, он еще выкрутится, перехитрит себя, но он позабыл, что на дворе сентябрь, длинные ночи, кабы в июне... Слушай, сказала она в темноте, вот ты говоришь про Далиду... А где ты взял Библию? Купил, сказал он, у одного шпиона, за большие доллары. Вон ты как со мной, сказала она. А как, сказал он, где ее взять, я спрашивал в библиотеке, здесь нет. Опять врешь, сказала она, я видела у тебя Библию. Еще бы, сказал он, ту самую, которую я купил у шпиона.

Он услышал, как она зазвенела бутылкой о край стакана, слышал, как стакан наполняется. Сначала ты, а потом я, прошептала она. Подсыпала, спросил он, ему было все равно. Конечно, прошептала она, сегодня я тебе... Почему сегодня? — спросил он. Потому что ты мне нравишься, шептала она, и если б ты мог мне помочь, шептала она, я бы не стала искать ничего другого, мне б никто не был нужен, кроме тебя, но ты не хочешь, а я одна, и я не могу так, мне нужно, чтоб кто-то меня защищал, я так не могу. Хорошо, сказал он, вот увидишь, я тебе помогу, вот увидишь, смогу, смогу, смогу, смогу, думал он и глядел в окно, а оно было черно, черно, черно, черно, и рассвет не наступал, не наступал, не наступал... И он перестал смотреть в окно. Скажи, прошептала она, видишь, я отдаю тебе все, что у меня есть, и больше, чем могу, почему же ты...

— И тогда я ей рассказал...

— Что? — спросил я. — Меня ты зачем мучаешь, я ведь не Далида!

— Потому что я тебя выбрал, — сказал он, — а ты все должен знать.

— Понимаешь, — говорил он, — Самсон был человеком невероятной силы, но дело было не только в этом или совсем не в этом, а в том, что он был избран, предназначен с рождения, еще до рождения. Ангел Божий явился его неплодной матери и сказал, что она родит сына, и он будет назорей от чрева, бритва не коснется его головы и с него начнется спасение народа. И она зачала, и роди-

ла сына, Самсона, и он был назорей от рождения, и в тайне его отношений с Богом была его сила. Он был человеком могучим, неукротимым, но во власти страстей, которыми Бог управлял, как было Ему угодно. Бог управлял всем, кроме его свободы, которой даже Он не может управлять, потому что она — *свобода*... Ты понимаешь меня? — спросил он.

— Не совсем, — сказал я, — мне это очень трудно понять.

— Конечно, — сказал он, — всем трудно, но это из того, что мы должны успеть понять — великое проклятие свободы, которая подарена нам во благо и которую мы всегда употребляем во зло.

— Он встретился с Далидой и не мог с ней расстаться, — сказал он. — Нет, он не был простодушен, мне так казалось, я долго не понимал, он был судьей в Израиле двадцать лет во времена филистимлянского владычества, боролся с ними и всегда побеждал, а с самим собой справиться не смог — понимаешь, не смог! Хотя у него уже был собственный опыт, его первая женщина, жена, филистимлянка, предала его, он ей доверился, а она его обманула, но это его ничему не научило, нас ничто не способно научить до тех пор, пока мы... Что-то было в нем сильнее его самого, темное и глухое... А может, это была чистота и благодарность? Нет, конечно, нет! Темное и глухое, оно захлестнуло его, он ему отдался, и тогда Бог отступил, оставил его за то, что он не смог отказаться, нарушил обет — и сила ушла от него. Вот в чем было дело, а Бог шутить не любит. Но он боролся — Самсон, сражался с собой до конца — и раз, и два, и три уходил — понимаешь? А потом сдался. Наверно, ему стало все равно, или он слишком верил в себя, в то, что его не убудет, он был тогда уже слеп — еще до того, как ему выкололи глаза! — его ослепила уверенность в себе, в своей силе — такая самоуверенность избранничества... И он ей сказал, Далиде. Открыл тайну своих отношений с Богом, тайну своей души и своей силы, то главное, что дает возможность быть тем, кем мы быть предназначены...

— Ты о Самсоне? — спросил я, потому что его мысль все время от меня ускользала.

— Нет, — сказал он, — где уж мне говорить о Самсоне... Помнишь, я рассказывал тебе о тюрьме? — спросил он.

— Еще бы, — сказал я.

— Хорошо, — сказал он, — я знал, ты запомнишь. Ты сказал, что это готовая книга, глава за главой, сложившийся сюжет, характеры, мысль, что ее остается только записать — помнишь?

— Помню, — сказал я.

— Само собой, — сказал он, — это я забыл, с кем говорю, мой прокол. Ты угадал, к тому времени я ее уже написал, а потому мне хотелось... Мне было нужно хоть с кем-то поговорить! Оставался... пустяк, ты знаешь, как бывает — свести концы с концами. Пустяк, — повторил он и замолчал.

— Ты что? — спросил я.

— Давай еще выпьем, — сказал он.

Мы выпили.

— Пустяк, — сказал он с горечью, — я и о нем тебе выболтал. О любви, которая мне открылась, которую я ощутил как реальность, реальной, чем тот смрад и мерзость. Она проникла неведомо как — сквозь стены, прошла сквозь решку, хлынула в кормушку и... Чудо, дар, награда, Божья милость. Она подняла меня со шконки, а я валялся, как травленный заяц, как собака с проломанным хребтом, я открыл глаза и... Я засмеялся, понимаешь? Засмеялся от счастья! Все стало другим, все мгновенно изменилось, все было другим! «Смотри, Серый...» — говорили мне *братья*... Кликуха моя, еще с первой камеры присохла, глаза, что ли, они заметили. «Смотри, Серый, забудешь о нас, сука, забудешь, какой у тебя срок, разве то срок, а ты должен о нас всех... — кто, если не ты...» Я не отвечал, я знал — не забуду. И мне верили. Бог мне поверил, я Ему обещал, и Он мне поверил, и я получил все, что хотел, что было нужно, чтоб выполнить все, что... А тут... Ну как тебе объяснить?! — он ударил кулаком по столу и посмотрел на меня с яростью. — Как объяснить, когда это невозможно, это тайна, пойми меня! Оказалось, что там — *там!* — я был сильнее, в аду я был свободен, я был счастлив, потому что со мной был Бог и была любовь, которой Он меня одарил. А здесь, когда я остался один, когда вышел из клетки, когда случилось все, о чем мечтал и ждал — и не мог мечтать и надеяться!.. Ты знаешь, что такое *выйти из клетки!* Когда я получил все, что было надо... Нет, ты не думай, я работал, я писал, как сумасшедший, все эти месяцы, день за днем, сразу начал,

как только остался один, как только ушла, уехала хозяйка, а ее не было все это время, вернулась десять дней назад. Сразу, тем первым утром, не убрав со стола посуды, не застелив постели, не кипятя чай, это потом все вошло в ритм, стало работой, в которой я что-то начал понимать, а тогда я только ждал утра, света — писал, переписывал, выбрасывал, сжигал и писал снова, едва успевал смахнуть со стола, когда в дверь стучали... Я ни о чем больше не думал, меня ничто не заботило, и о том, что будет потом, я не хотел знать. Оставался пустяк — свести все, что само сходилась, соединить, что не могло не соединиться, осветить любовью, которая проникла, прошла, хлынула, она же была, я ее не придумал, не сочинил, горела во... Да не горела она во мне, вот оно в чем было дело! Я ее променял, понимаешь? Захотел того и другого, решил, что мне все теперь можно, что я все могу, все смогу, отдал ту любовь за чечевичную похлебку, променял, разменял, расточил... Ночь, ночи, ветер с реки, закаты, восходы, цветы, травы — и все мое, мне и эта женщина, с которой я так счастлив и которая мной так счастлива, и ее слезы, и ее губы... После смрада, после наручников, после клетки, собак... Иди!.. Помнишь, Господь сказал Валааму — иди, ты свободен! Свободен? Я ослеп, понимаешь? Моя свобода стала рабством, а там...

Он говорил уже лихорадочно, сбивчиво.

— Когда Самсону выкололи глаза, заковали в цепи и он стал посмешищем для филистимлян — бритый назорей, у которого Бог отнял его силу... Ты можешь представить, что с ним тогда происходило? Божий избранник, спаситель народа, сам отдавший себя на поругание, посмешище, сам себя затоптавший... Можешь понять ужас его оставленности, меру покаяния, переплавившуюся, ставшую жадной искупления, потому что покаяния уже мало — понимаешь, мало! Должно искупить вину перед Богом! Сколько это длилось — не знаю, не помню, там не говорится, но у него стали расти волосы — понимаешь? Бог простил его, он искупил вину, своим страданием, муклой, покаянием — и сила к нему вернулась. Он был в цепях, слепой, но он стал свободным. Он стал свободным, когда искупил вину, а не когда спал у нее на коленях. И он совершил свой последний подвиг. Вот он когда его совершил. Пролей кровь и получишь дух, говорят святые, ибо кровь — мерзкая жидкость и хочет своего, только своего,

жаждет счастья, здесь, сейчас, в эту минуту, и ты забываешь о том, что тебе дали, чем одарили... Вот в чем тайна души: ты жаждешь возвращения того, что однажды ощутил, что тебя пронзило, той любви, а рядом с ней все ничто; но тут же, в тебе — темная страсть, сжигающая душу, рабство и мерзость... Что ты выбираешь, что можешь выбрать? Но я еще не мог, понимаешь? Да я просто боялся. Я еще цеплялся, выгадывал, хитрил. Все уже понимая, решив — с того самого разговора с тобой, когда ты меня разгадал и я подумал: что же я делаю, кто я такой? Я отдал любовь, променял, расточил ту любовь, что Господь мне... Роман развалился, оставался пустяк — завершить, свести, соединить, все было написано, переписано, а я уже ничего не мог. Я ослеп, понимаешь?

— И что же ты? — сказал я. — Прости меня, пожалуйста, но я на самом деле не могу тебя...

— Конечно, — оказал он, — вы ничего не способны понять. Ты учился у нее, а она у такого, как ты, и я должен вам объяснять, объяснять, потому что если ты сказал хоть одно слово, изменил Богу, предал Его, ты должен уже говорить, не можешь молчать, потому что Бог отступил от тебя, Ему не нужен тот, кто нарушил обет. Ты уже слеп и только, когда захлебнешься отвращением к себе... Тогда поймешь, что у тебя остается один выход — спуститься обратно. Вернуться в тот ад, где тебя ждут, где ты нужен, где тебе верят, поверили. «Что же ты медлишь?» — говорил я себе. Все что угодно, пусть смерть — лишь бы вернуть ее, ту любовь, ту, что однажды блеснула, ту, что я ощутил, то единственное, что обещано, что уйдет с нами в вечность, если мы...

— Ты сказал ей? — вот когда до меня дошло, когда я понял, наконец, о чем он говорит!

— Какие пустяки, — отмахнулся он. — Сказал?.. Не знаю, может быть. Кажется, я рассказывал ей о Далиде, вот как тебе. Сказал? Да она давно знала, а я знал, что она давно поняла. Деревня, — сказал он, — как тут спрячешься, это в городе — нырнул, и нет тебя. Не все, конечно, она знала, нужны были подробности, факты — пощупать надо было. Но для меня-то разве в них — разве в том было дело? «Неужто она может, неужто способна на это?» — думал я.

Я написал роман, рассказал он ей, в пятьсот страниц, я написал о том, как весело-мило провел в тюрьме год, ка-

кие странные вещи открылись мне там, и я понял, чего не понимал всю мою жизнь. Вон что, сказала она, ты говоришь правду? Правду, сказал он — и ему было легко, первый раз за все эти месяцы ему стало легко, он уже не глядел в окно, все равно оно было черно, снег летел, и стучал оторвавшийся кусок железа. Теперь ты знаешь, чем я занимался, сказал он ей, ты довольна? Я писал свой роман все это время, с тех пор, как ты подарила мне дом на улице Набережной, за что тебе благодарен, день за днем, я едва успевал убрать со стола страницы, когда ты приходила... Ну да, ты же слышишь шаги, сказала она почти про себя, но он разобрал. Вот именно, сказал он, тук-тук, как только ты выходишь из дома. Так ты писатель, сказала она, вон оно что. Нет, сказал он, просто я человек, который нарушил обет, данный Богу, а теперь мне остается вернуть то, в чем... Как нарушил, сказала она, ты ведь *написал* свой роман? Да, сказал он ей, но Богу не нужны наши романы.

— Где рукопись? — прошептал я.

— Верно, — усмехнулся он, — вот так и она спросила. А может, и не спрашивала, не помню, может, я сам... Зачем она мне, рукопись, я уже вдыхал тот смрад, он жил во мне, не уходил, я пропитан им — понимаешь? А как только отказался, захотел отказаться, отшвырнул — липкое, нежное, вяжущее, заманивающее... Смрад затопил меня — понимаешь? Съел запах ветра, осеннего леса... Зачем это мне, куда оно меня заведет? Рукопись, говоришь ты? Пусть забирают, вот кому она нужна — *им!* — слова не подшить в дело, теперь мало, у них закон, порядок — а я уже там, с братьями, а еще бы чуть-чуть, еще один шаг, второй — и меня уже нет, я бы не выбрался. Рукопись! Разве это то, что мы должны оставить, с чем уйти?.. Я задохнулся от отвращения к себе.

— Ты открыл, где рукопись? — прошептал я.

— Открыл? Да она знала, где рукопись. Я уже не помнил себя, ты видишь, я себя потерял, а она...

— Но если она все знала, — спросил я, — зачем все эти разговоры, шепот — чего она от тебя добивалась?

— Ты же писатель, — сказал он, — что ты знаешь о человеке, о женщине — зачем, почему... С кем она была ближе, — со мной или с *ними*? А ей было нужно понять: что мне дороже — она или... Да я уже сам теперь не знаю, что я сказал ей, о чем умолчал, что она знала, а что... Да и романа не было, он развалился, я не смог...

— Что же теперь? — спросил я.

— Я закопал роман в бане, — сказал он, — там над ручьем. В железном баке.

Я посмотрел в окно — оно звенело от ветра.

— Опять снег, — сказал я.

Я встал и взял телогрейку.

— Пошли, Вадим, — сказал я, — скорей, шут с ней, с этой работой, провались они все. Мы его перепрячем, найдем место, у меня есть место.

— Ишь ты, какой шустрый, — сказал он, — верно ты меня понял. Что, думаешь, просто изжить собственную трусость, мерзость? Постыдную жалкую жажду неизвестно чего — авось пронесет! Так я подумал: «Пронеси, Господи, я же не захотел, отказался — хватит!» Я вдруг опять испугался — понимаешь? «Реши за меня, Господи», — думал я.

— Пошли, — сказал я, — время дорого.

— Я был там вчера вечером, — сказал он, — его унесли, бак. Ты пойми меня, — он смотрел мне в глаза, — мне казалось, я ее люблю, полюбил, мне иногда думалось — может, и она меня любит — понимаешь? Не так это все было просто, это никогда не бывает просто, ни у кого не бывает просто, а у нас с ней и того было сложнее. Конечно, я все время ее подозревал — да она выкупалась, с самого начала выкупалась, но я думал, то, что у нас, — сильнее, перетянет. Я до конца надеялся, я еще вчера надеялся... Пока не увидел яму в бане, пустую яму, понимаешь? Но теперь я свободен. Веришь мне?

— А черновики? — прошептал я.

— Ты что, — сказал он, — зачем же я тут, перед тобой... У меня не с *ними*, у меня с Богом отношения, что ж я в таком деле стану хитрить — с Богом хитрить? У меня ничего больше нет, — сказал он, — не надо мне... Ладно, поговорили.

Он уже стоял и одевался.

— Слава Богу, успели поговорить, — сказал он, — хоть это я успел. Пойду, уже поздно, а у тебя тут не лучшее место. Хотя какая разница, да? Я тебя завтра найду, — сказал он, — а если нет, зайди к моей хозяйке, она хорошая женщина, я ей о тебе говорил. У меня книги, понимаешь? Библия и еще кое-что, мне присылали. Тебе это нужно. Вот увидишь, нужно. Это я им не отдам. Она будет знать, понял?

Я молчал.

— Ну держи, — он протянул руку. — Что с тобой? — сказал он. — Я думал, ты рад за меня... Ладно, пошел, мне еще надо письма написать. Так зайдешь?

— Вадим... — начал я.

— Жалко, не договорили, — сказал он, — очень уж ты темный, что делать — писатель. Но это всегда так — всего не скажешь, никогда не успеть.

Он ушел.

10

Я едва дотянул до утра. Забежал домой, переоделся, не стал пить чай, а когда уже вышел, остановился: неловко, у него дела, какие-то письма, не ночью же он их писал. Я вернулся и ждал, бессмысленно глядя в окно, до обеда. И тут испугался, что опоздаю. У реки я бросился бежать.

День был хмурый, темные тучи цеплялись за горы, холодный ветер. Что же тут зимой будет, думал я, если такой сентябрь. Вчерашний разговор казался бредом, в котором сейчас я ничего не мог понять, уцепиться хоть за что-то, сообразить. Писатель, думал я, ну конечно, писатель, придумал, сочинил, да просто разыграл меня, что там правда, сколько ее? Вот он сейчас глянет на меня, все сразу поймет и будет целый день потешаться. Что, скажет, крепко я тебя напугал, вижу, крепко, так и надо с вашим братом, полезно, а то у вас того нет, другого нет, ничего у вас нет... Я поднял голову и тупо уставился на здоровенный замок в пробое двери. Оглянулся, посмотрел на пустой двор — и не заметил, как открывал калитку, прошел до дома. Я подергал замок, постучал кулаком в дверь, заглянул в затянутое ситцевой занавеской окошко — и пошел обратно... Он же сказал, хозяйка дома! — вспомнил я. Я снова вернулся, поглядел на замок, сунулся в открытую дверь сарая с развороченной поленницей, вышел на улицу, закрыл калитку на крючок. Что делать дальше, я не знал. Закурил.

— Тебе кого?

Я и не заметил: напротив, через улицу, за своим забором стоит бабка, глядит из-под платка.

— Дружок тут у меня, — сказал я, — а он, видать, ушел.

— Увели, — сказала бабка. — Утром, чуть свет пришли, всю избу, слышать было, перевернули, в сарае дрова перекидали, а там...

— Куда увели? — тупо спросил я.

— В ментовскую, куда ж. И Агафья с ними пошла, до сего нету. Может, и ее забрали. Его на браслетку замкнули, потащили, а она за ними.

Я кинулся в райотдел. Ну что там было, и вспоминать стыдно, я себя не помнил: кричал, требовал и опомнился в кабинете начальника, он со мной, как со школьником: «Вы что, маленький, не понимаете, он политический преступник, к нему проявили гуманность, направили в ссылку, а он здесь...» — «Да что здесь!» — крикнул я. — «Вот что, — сказал начальник, — вы человеческих слов не хотите слышать, с вами будет другой разговор, следовательно вызовет, вот вы ему и расскажете, что там у вас за отношения». — «Да какой следовательно, — кричал я, — какой еще следовательно, жил человек нормально, работал!..» — «Я на вас, неизвестно зачем, время трачу, — сказал начальник, — хватит». — «А передать ему можно?» — спросил я. «Что передать?» — «Письмо, — сказал я, — сигареты, поесть». — «Вы ему кем приходитесь? — спросил начальник. — Передачи принимаются только от прямых родственников — жена, мать, отец, дети...» Жена? Отец, мать?.. Кто же я такой, Господи, думал я, я ничего не знаю, не понимаю, ничего не видел... Не хотел знать, не хотел понимать, не хотел видеть!

11

Я только заступил смену и стоял у проходной, разговаривал со сменщиком, хмурым, вечно пьяным, а сегодня, стрезва, особенно злобным. Меня не оставляло ощущение пустоты, свалившейся на меня в эти дни, воздуха мне не хватало. Вся эта реальность — горы, мокрый снег, серые, облезлые здания нашего ПМК, небритая рожа моего сменщика — всего этого нет, думал я, а есть то, о чем он мне говорил и что я никак не мог схватить, соединить, свести концы с концами. Но оно-то и было реальностью, оно, а не то, что меня окружало и во что я был вписан!

Ветер порывами швырял мокрый снег, сизая туча спустилась с горы, все ниже, ниже, вот-вот накроет.

Я обернулся на визг тормозов. Машина встала у самых ворот. Перевозка. Раз в десять дней она шла от нас в город. По «девяткам», а по «восьмеркам» — из города. Ну да, сегодня девятнадцатое, суббота, а его забрали два дня назад...

— Повезли ребят, — сказал сменщик.

Шофер распахнул дверцу и крикнул:

— Мужики! Выручьте парой досок, дорога плохая, боюсь, застряну на перевале...

— Ты бы в гараже думал, — сказал сменщик.

— Я тебя добром прошу, — сказал шофер.

— Добром, — сказал сменщик, — а потом меня за эти доски...

— Дай ему, — сказал я, у меня тряслись руки.

— Ты что, больной, псих? — глядел на меня сменщик. — Давай сам, ежели охота, тащи.

— За сараем, — сказал я, — за кочегаркой, принеси, Богом прошу...

Сменщик еще раз диковато глянул на меня, плюнул и пошел к сараю.

Хлопнула вторая дверца, и выпрыгнул милиционер, маленький, коренастый, в шинели, с кобурой на животе, подошел к воротам, поглядел на меня, на удалявшегося сменщика, повернулся и двинулся обратно, к машине. Я бросился за ним.

Снег повалил гуще, горы враз исчезли — мокрая холодная вата.

Коренастый гремел ключом у задней двери, она распахнулась, я шагнул поближе.

— Тебе чего тут? — сказал коренастый, не оборачиваясь.

Я не успел ответить.

— Командир! — услышал я из глубины машины. — Дай с земляком решить дело!

— Я тебе счас дам, — сказал коренастый.

Я заглянул в машину: решетка перегораживала ее вдоль, мне бросился в глаза амбарный замок на двери и...

— Да у меня картошка, слышь, командир! Чего ей пропадать, пусть земляк заберет, ему еще зиму припухать! Слышь, земляк, сходи к хозяйке, ты знаешь, я ей говорил, у нее полный подпол. Моя, понял?

— Понял! — крикнул я. — Возьмите сигареты, — я вытащил пачку, — отдайте ему, пожалуйста...

Второй милиционер протянул руку и взял сигареты.

У проходной громыкнули доски — сменщик швырнул их в снег и пошел от ворот. Второй сунул сигареты в карман и шагнул к воротам.

— Слушай, земляк! — кричал Вадим. — Я тебе важное не успел, слышишь? Рукописи не горят не потому, что их нельзя сжечь — можно, горят! Ошибся писатель! А потому, что они остаются, когда это угодно Богу — понял? Запомни! Когда это угодно!..

— Отойдите от машины! — рявкнул коренастый.

Второй с шофером подтащил доски, они никак не влезали в машину.

— Вот о чем надо думать! — кричал Вадим. — Не в книгах дело, в нас — понял? Слова сказанные, записанные, они недорого стоят, их надо подтвердить жизнью! А потому всю нашу жизнь, с самого начала, прямо сегодня...

— Я тебе счас, твою жизнь! — закричал второй, забираясь в машину, и что-то там громыкнуло по решетке.

Доски скрежетнули по железу, дверь захлопнулась. Коренастый повернул ключ в замке и обернул ко мне красное, мокрое лицо:

— Мы с тобой еще поговорим, я тебя найду, ты у меня попомнишь...

Машина взревела, он пошел к кабине, дверца хлопнула.

Я поставил ногу на крюк, ухватился руками за край оконца и заглянул внутрь. Второй милиционер сидел на лавке и что-то говорил Вадиму — белело лицо у решетки. Я нащупал в кармане еще одну пачку сигарет и бросил ее в машину. Они обернулись ко мне.

— Я все запомнил, Вадим! — я старался перекрыть грохот двигателя.

— Ну и ладно, — Вадим засмеялся. — Главное, чтоб ты...

Второй бросился к оконцу, но тут машина двинулась, дернула, он не удержался и упал на скамейку.

Мы уже ехали.

— Увидимся, Вадим! — кричал я. — Вот увидишь, увидимся! Спасибо тебе!

— Не обязательно, — смеялся Вадим, — разве в этом дело? Я там нужен, а ты здесь, главное, чтоб ты...

Машина резко свернула в проулок, нога у меня скользнула с крюка, мгновение я еще держался, уцепившись руками за железный край оконца, потом оборвался, и меня швырнуло в летящий из-под колес снег.

ЧТО Ж МЫ ПРО ВАНЮ-ТО, ЧЕРДЫНЦЕВА?

1

Живет в Москва человек — Иван Алексеевич Чердынцев-Курганский. Ну, Курганский он не так уж давно, а знают его как Ваню Чердынцева. Были лет пятнадцать тому обстоятельства, пришлось поменять фамилию, но едва ли в чем-то это ему помогло, разве что участковый отвязался. Тут не фамилию надо было менять — от совести отказаться, а на это Ваня никогда не был способен. Не так уж он молод, пятьдесят стукнуло, и Ваней я его называю по праву близкой дружбы, а так бы ни за что не позволил себе такой фамильярности.

Иван Алексеевич — инвалид второй группы, болезней у него много, и, кабы не могучий организм, давно бы он сыпавшееся на него не выдержал. А он живет себе, курит, и поскольку к тому же, как говаривали в XIX веке, «подвержен», то и выпивает с удовольствием, а меры в России никогда не знали — кто ее нам установит, меру ту? Свой «червонец» Ваня разменял по разным лагерям блаженной памяти застойного периода (на Урале и в Мордовии), но вспоминает о зоне спокойно, ибо как только ворота ее перед ним открылись, самое затейливое и началось.

Долго кружил Ваня вокруг Москвы, пока как-то зацепился и словно бы со всякими формальностями было покончено. Так что правильно ли десять лет считать его сроком? Едва ли. Не было года с тех пор — в 70—80-е, а пожалуй, и месяца, чтоб не вспоминали о нем наши славные чекисты, не заглядывали бы к нему или к себе бы не привозили. Каким бы делом на Лубянке ни занимались: монархистами или сионистами, украинскими националистами, делами религиозными или «Хроникой текущих событий». Даже и по делам «левых коммунистов» Ваня так или иначе, но проходил, хотя всегда говорил им (коммунистам левого толка) прямо, что разницы между коммунизмом и фашизмом он не видит. Говорить-то он всем

говорил, что думает, но если надо кому-то было кого-то спрятать, передать книги, рукописи, письма, деньги, посылки в лагерь, помочь попавшему в беду, пойти на рискованное свидание с иностранным дипломатом, достать машинку, ксерокс (это в застойные-то годы!), поехать с кем-то на свидание на зону, отнести в тюрьму передачу, пойти на процесс, на демонстрацию, прийти во время обыска, чтоб поддержать обыскиваемого, вынести, что хозяину не смочь спрятать, — да мало ли что приходилось делать в то крутое время, о котором наши смелые радикальные журналисты вспоминать не любят, они и о делах таких не слышали, а потому им спокойней считать, что ничего такого не было, а мельтешились по Москве два-три чудака (чтоб не сказать жестче), и все они укатили в Европу-Америку, для того, мол, и старались. (Очень, кстати, распространенная точка зрения.) Да не было, пожалуй, в ту пору диссидентского дела, которым бы Ваня ни занимался.

Вспоминать Ванины на этом поприще приключения — книгу надо писать, может, и напишут, когда дойдет черед до истории нашего правозащитного движения, это современники не любят о том говорить, мешает их внутреннему комфорту, как-то неуютно пользоваться дареной свободой, потомки авось окажутся благодарней и справедливей. Там видно будет. Но одну историю хочется рассказать, она вполне характерна, особенно чтоб понять, о ком идет речь.

Ване в конце концов надоело ходить по вызовам: раз не пошел, другой раз порвал повестку — присылают за ним машину, как тут отопрешься, надо о чем-то разговаривать. Смысла для следствия в этих вызовах никакого, заранее известно, как Ваня будет с ними говорить, но ведь формалисты, им бы галочку поставить, а то еще спросит вышестоящее начальство: что ж вы, мол, дело закрываете, а Чердынцева, который никак не мог не быть в нем не замешанным, пропустили. Привозят, разговаривают, ставят галочку. Скучно было Ване.

И вот однажды опять вызывают его в прокуратуру свидетелем по делу Солженицынского Фонда. (В то время шла настоящая охота за Фондом: аресты, обыски, тогдашний распорядитель Фонда Сергей Ходорович был в Бутырской тюрьме...) Сколько тогда Ваня выпил, нам не узнать, он не скажет, да и едва ли помнит, но явился он по

вызову пьяней вина. Ты что, говорит следователь (известный был человек — Воробьев), в своем уме, в каком ты виде? А что, говорит Ваня, в нормальном виде, вызвали, я и пришел, чтоб казенную машину не гонять. Да как ты смел?! — заходится Воробьев. Давайте вежливо, церемонно отвечает Ваня, а если вы имеете в виду, что я немного выпил, то вот вам бюллетень — больной я, нахожусь на законном отдыхе, а каждый отдыхает и лечится по своей привычке. Вон отсюда! — кричит Воробьев. Пропуск подпишите, говорит Ваня, я тоже порядок знаю. А вахтер, его на проходной проشياпивший, опомнился: ты как, говорит, такой-сякой, сюда попал, кто тебя здесь напоил, не выпущу! А я не по своей воле уйду, говорит Ваня, мог бы и еще побеседовать, а был я, как вам известно, у старшего следователя Воробьева, пришел к нему своими ногами, а что сейчас они у меня немного заплетаются, моя ли вина, спрашивайте с Воробьева. Да гони ты его, кричит в телефон Воробьев, чтоб духу его в прокуратуре больше никогда не было! Очень благодарен, говорит Ваня, передайте ему, что я на него, дурака, не обижаюсь.

Таких историй про Ваню Чердынцева можно рассказать великое множество, одна занятней другой, и они вполне могут украсить любое ученое и не слишком ученое сочинение об недавнем нашем прошлом.

Вот еще одна история, совсем свеженькая, уже в годы перестройки произошла, когда зеки посыпались из лагерей — а куда им еще, как не к Ване? Зеки и на зоне, как известно, вольно разговаривали, а тут в первые дни свободы, за столом у Вани — можно себе представить, о чем только не шла речь. Меня там не было, не знаю, но кто-то в той компании оказался, скажем, случайно, или зашел не по адресу, или, напротив, знал, зачем явился. Короче, приезжает наутро, как в добрые старые времена, черная машина, и увозят Ваню на Лубянку, а там сразу в лоб: давай, говорят, выкладывай подробности о готовящемся теракте на генсека (президентом он еще не был). Да вы что, говорит Ваня, с перепоя, что ли, я же не коммунист, это они начали с терактов, а потом во вкус вошли — миллионами расстреливали, я же против них и ихних методов всю жизнь воюю? А Горбачев мне пока и вовсе не мешает, единственная у меня к нему претензия, что он никак партийный билет отдать не хочет, вы бы ему передали мой совет: пока он будет коммунистом, ничего у

него, у сердечного, не получится, хотя бы и на голове стоял. Да и какой его дурак убивать станет, говорит на Лубянке Ваня, из вас только если кто... Поучительный был разговор и, как мы теперь видим, вполне пророческий, послушался бы Горбачев Ваниного совета, глядишь, и президентом бы остался.

Но то дела давно (или не слишком давно), но прошедшие. Живет сейчас Ваня инвалидом, много и часто болеет — и никто о нем не вспоминает. Ну, что Лубянка о нем не помнит, понятно, им сейчас не до Вани, разве что совета у него попросить, как жить дальше. Но вот почему о нем друзья-приятели позабыли: и монархисты, и сионисты, и чистые демократы, и деятели комиссии по психиатрии и Хельсинкская группа, и патриоты, и религиозники, и те же левые коммунисты... Молчит Ванин телефон, и в дверь никто не звонит, и машины не приезжают.

Был и такой случай. Приехал в Москву знаменитый писатель-диссидент, всемирно известный. Ему тут только ковры не расстлали — друзья, поклонники, а уж цветов и комплиментов — балет наш может позавидовать. Любят у нас преуспевающих страдальцев. Пробилась к нему и Ванина подружка. Не к нему, конечно, к супруге, не менее знаменитой. Вот, мол, так и так, Ваня Чердынцев привет передает, болеет, позвонили бы ему, он обрадуется. Вы что, говорит знаменитая жена, отдаете себе отчет, о чем просите, да у него минуты свободной нет, видите сколько людей? Так ведь раньше-то, говорит подружка, один Ваня был... Ну, понятно, преувеличила, не один Ваня, несколько их таких было.

Но тут еще подробность в развитие этого сюжета. Дает знаменитая жена всемирно известного писателя интервью, сидят они со знаменитым мужем на скамеечке на знаменитом парижском бульваре, не знаю названия, и разговаривают, натурально, о героическом прошлом. Муж больше помалкивает, а жену не удержать. Рассказывает она о том, как в тяжкие времена, когда муж был не в Париже, а на зоне, отправилась она на Лубянку и залепила одному полковнику: если, мол, вы, такие-рассякие, мужа раньше срока не отпустите, я вас предупреждаю — книги его, в лагере им написанные, выйдут в Париже и от скандала вам не уйти, не такой будет, как предыдущий. А как эти книги в Париж попали? — спрашивает ушлый полковник. А это я вам не скажу, рассказывает не менее

ушлая знаменитая жена и кокетливо улыбается в телевизионную камеру, но лежат эти книги в парижском сейфе, и вам до них не добраться.

Телевизионное интервью, сам видел. Любопытно, что «полковников» она действительно напугала, выпустили знаменитого мужа на два года раньше срока, а потом и книги в Париже вышли. Но здесь вот ведь в чем дело. То, что она на Лубянке не объяснила, каким образом книги оказались в Париже, — какая в том заслуга, еще б того не хватало, а вот почему, приехав сейчас, о том не вспомнила?.. Ваня, само собой, об этом помалкивает, и подружка его, та, что пробилась к знаменитой жене, постеснялась напомнить, а я не сказать не могу. Выносил Ваня в течение долгого времени на лагерных свиданиях, а уж тем более, когда освобождался, листочки из тех книг (да и из многих других зекских сочинений), выносил, извините, в заднем проходе. Не один, разумеется, были в ту пору на зонах замечательные люди. Но разве теперь про них про всех не пришла пора вспомнить, не только ведь о себе и о полковниках нам рассказывать? Бог с ними, с полковниками, надоели.

2

Итак, как уже было сказано, то, что на Лубянке о Ване позабыли — понятно, не до него, они и сами-то про себя сегодня ничего понять не могут: и кто они такие, и что с ними будет дальше. Боюсь, впрочем, все у них обойдется, как бы не нашелся коллекционер-любитель, их сегодня можно по дешевке приобрести, а там, глядишь, цена подскочит — у нас же рынок.*

Но это другая тема, не о них речь. А вот почему те, кто пишет в газетах-журналах, кто с экранов телевизоров не вылезает, кто в свободном эфире день и ночь, кто на митингах, в парламенте, кто законы сочиняет, в «генералы» вышел, — почему они сегодня о Ване молчат? Если даже особенно не углубляться в историю нашего правозащитного движения, а только с краю по ней пройти, и то будет несомненно — *генералов* там не было, все были равны. Ну, прежде всего, потому что стояли перед лицом «зверя», а он, пес, на эполеты не глядел, всех заглатывал, без разбора. Но не только поэто-

* Как в воду тогда, в 1992 году, глядел. Десяти лет не прошло, а как цена на чехистов подскочила, и «коллекционер» объявился. Хотя и едва ли он «любитель».

му. Не «зверь» определял высокий демократизм нашего дисидентства, сама идея борьбы за права человека отторгала всякую иерархию — все были не просто равны перед лицом смерти и колючей проволоки, все были равны перед лицом правды, свободы и справедливости. Но почему же *были*, а сейчас, выходит, — и в том смысле что-то изменилось? Что ж получается, при тоталитаризме были братья, судьба общая, а тут «эполеты», что ли? Мы, же толкуем об единстве, о том, что только оно, мол, нас и спасет — не рынок же, не биржа-брокеры, не СКВ и мэры, да и СНГ — пустая абстракция, не за нее же в конце концов шли люди в лагеря?

Что же нас все-таки способно объединить на самом деле? Церковь могла бы. Но разве та, которую нам подсовывают в телевизоре: патриарх и митрополиты, лобызавшиеся с президентами, вчерашние партаппаратчики рядом с белоснежными митрами держат в руках свечки и прячут глаза — не знают, куда глядеть: то ли в камеру, то ли на патриарха. Какая-то, прости, Господи, «кадриль», а не богослужение. Но разве «кадриль», пусть она и демократическая, способна хоть кого-то с кем-то объединить? Может быть, идея государства — империя? Но кончилась империя, развалилась, как и на других континентах. И рынок едва ли годится для объединения, накормить, может быть, и способен, так ведь тоже не рынок, а продукты, если они на нем окажутся. Рынок, скорей, разъединяет — кто богат, а кто беден, кто удачлив в торговле, а кто так и помрет простаком.

Только и остается давняя наша русская традиция, вполне фундаментальная, оплодотворившая всю великую русскую культуру, — любовь к малым, сирым и убогим, не к человечеству вообще — внимание и интерес к живой душе, к личности. Не к абстрактной родине-земле-матери (наслушались — и от коммунистов, и от «патриотов»), а все к тому же Ване Чердынцеву — неужто не заслужил? И своей добротой-бескорыстием, и самоотверженностью, и мужеством-бесстрашием, и терпением. И не медаль ему нужна на шею, не реабилитация — опоздала она лет на пять, вот, кстати, где был шанс у Горбачева остаться в истории, и подсказывали ему, бедняге. Так ведь на самом деле он не в историю хотел, ему важнее было в Кремле укрепитесь, а реабилитация могла б и помешать...

Нет, не Ване нужна была реабилитация еще в самом начале того, что называлось тогда «революционными преобразованиями» (какие ж «революционные», если «Басти-

лию» не только не разрушили, но укрепили, а политзеков не только не реабилитировали, но обманули и дискредитировали), — обществу нужна была реабилитация политзеков, нашей интеллигенции, парламенту. Да ведь стыдно вспоминать, как раз за разом, месяц за месяцем собирали парламентариев-демократов принимать закон о реабилитации — нет кворума: один в буфете, другой — на приеме, третий — в заграничной поездке. Какая реабилитация — приватизация нужна, рынок, валюта, да мало ли что, голова гудит... Совесть нужна, а когда она потеряна, не восстановить, она, видно, один раз дается, потеряешь — не сыщешь.

Зашел бы кто из нынешних «генералов» к Ване, можно и без бутылки, он сам поставит, ему поговорить охота, не выговорился: то чекисты не давали, то гласность — разве через нее пробьешься, она все по части биржи-балета. А ведь Иван Алексеевич не только много повидал и пережил, он и передумал много, и образование у него, хоть и не законченное, но высшее, биологию он преподавал в школе...

Я бы посоветовал поговорить с ним: а что, мол, ты Иван Алексеич, думаешь о сегодняшней ситуации, какая главная проблема? Не знаю, конечно, в точности, что он ответит, но можно и такое предположить...

Так вот сразу, пожалуй, и необразишь, скажет Ваня. Главная?.. Ну, главная не главная, но о существенной мог бы и подсказать. Да вы бы, мол, лучше не с самой главной и начинали, хотя бы что-то сделали, глядишь, и сдвинется. Да вот, мол, самое простое, и такое, можно сказать, не-серьезное, на первый взгляд, что и говорить как-то неловко — *водка*.* Дело не мудреное, не автомобили-колготки, которые нам еще пятьдесят лет учиться производить, а когда научимся — какими они у японцев будут? Страшно подумать. А тут любая бабка с трехклассным образованием справится, и оборудования не надо просить у тех же японцев или у ВПК. Гони ее, сердечную, затрат, считай,

* Тут важно учесть вот какое обстоятельство. Состоялась эта наша предполагаемая беседа с Ваней Чердынцевым в первые годы перестройки, ситуация была смутная, не всем или вообще никому непонятная, но одно было очевидно: «новое мышление», «революционные преобразования» и «реформы» начались с до боли знакомой большевистской целеустремленности, наиболее ясно выразившейся в печально знаменитой «антиалкогольной кампании». Мало того, что были уничтожены тысячи гектаров виноградников, это где-то на юге, переживем, «реформа» взялась за самое близкое и сердечное — за русский народный напиток, и здесь уже... «Реформа» покусилось на последнее, что оставалось, не побоюсь сказать — на святое... Так что Ванины размышления затрагивают, несомненно, главный нерв перестройки. Кто станет спорить с тем, что Чердынцев продемонстрировал здесь поистине государственный ум?

никаких, доход колоссальный, но главное — мужик успокоится. Вы представьте, скажет Ваня, если она будет стоять в магазине — сколько съешь, а за ценой, мы, как известно, не постоим, хотя было бы всего лишь справедливо, чтоб цена ее, в связи с затратами на продукт, имела какое-то человеческое измерение. Ну, просчитаю я свои денежки, закушу хлебом с солью и пойду себе спокойно на работу, знать буду, что и вечером найду. Вот тут в чем дело: у меня мозги будут не о том крутиться, где б ее вечером достать, а потому какой я работник, — о деле я буду думать, о своем производстве и чтоб денег побольше заработать — а не то разве надо для вашей дурацкой экономики?

Ну подумайте, скажет Ваня, ну кто все-таки это проделал и весь мир и нас от самих себя спас — не Михаил же Сергеич Горбачев? Ну, что Господь Бог, понятно, хотя требуются разъяснения, без высокого богословия не обойтись, чтобы уразуметь, почему и как Он семьдесят лет разрешал нас миллионами уничтожать и попускал вконец разорить великую державу, а потом вдруг смилостивился? Может, просто решил, что... хватит, достаточно, надолго еще человечеству пережевывать преподанный урок? И как в свое время было не понять, как могло случиться, что великое православное царство в три дня слиняло и ухнуло в никуда от горстки недоучившихся семинаристов, не брезговавших чем бы то ни было ради пользы дела, так и сегодня не уразуметь, как сверхдержава, способная нажатием кнопки уничтожить весь мир, а со своей страной давным-давно разделававшаяся, — как это в ней все в одночасье произошло?

А мы все счета сводим, скажет Ваня, ищем виноватых на стороне и хвастаемся. Господь, как известно, кого любит, того и наказывает. А теперь, когда наказание несомненно, нам, выходит, опять есть чем гордиться — ни у кого такого не было! Размах и жестокость наказания свидетельствуют об удивительных размерах Божественной любви — верно? А если так, то мы сможем помериться, пожалуй, только с евреями — вот с ними мы и ведем разборки, оспариваем уже не право сыновства, но в этом сыновстве — старшинство.

Понимаете, о чем я вам толкую, скажет «генералам» Ваня, чтоб вы хоть что-то человеческое сделали, о мужике бы подумали, а не о чем-то к нему никакого отношения не имеющем, — безразлично, о мировой ли революции или о

возвращении нас в лоно мировой цивилизации. Оно, конечно, хорошо и важно — биржа, рынок, брокеры, но ведь сразу-то, сегодня — еще не по соплям, пупок развяжется, а надо, чтоб мужик увидел, что вам не просто потрепаться захотелось и чего-то, извините, для самих себя спроворить. А то ведь как до дела доходит, вы сразу и увязаете — то в Карабахе, а то Черноморский флот начинаете делить. Куда это годится? Позор только. Вот и начали бы с самого простого, что несомненно по силам и по возможностям, что всех, повторяю, успокоит. И увидите, все станет на свои места: и цены войдут в берега, они только вокруг водки и крутятся, и люди успокоятся, да у вас у самих душа будет на месте. А дальше, глядишь, и еще на что-нибудь окажетесь способны. Ну как, договорились, попробуете?*

Очень советую поговорить с Ваней, мужик он спокойный, на себя не тянет, самому ему ничего не нужно. Нам нужно, чтоб с ним все было по справедливости. Это все та же самая давняя история о фундаменте, в основании которого не должно быть слезинки ребенка — не свяжутся кирпичики. Хотя Ваня не ребенок и слезинки из него не выжмешь. Но можно ли спокойно заниматься судьбами России и всего мирового сообщества, если знаешь, что когда демократов было по пальцам пересчитать, Ваня был необходим и всем нужен, а когда желающих спасти Россию стало хоть пруд пруди, про него никто не вспоминает. Вот она — нравственная проблема, без которой и шагу не сделать, обязательно где-то застопорится, нравственность, как ни парадоксально, она и прагматический смысл имеет, это большевикам было невдомек, на том, кстати, и рухнули. Не сразу, правда, семьдесят лет — большой срок, привыкли обходиться без нравственности, а потому многим кажется, она совсем не обязательна, пу-

* Поразительно здесь и то, что стоило мне опубликовать государственные сообщения Вани Чердынцева в более чем стотысячном тираже журнала «Столица» за 1992 год, как в какие-нибудь считанные недели вся эта трагическая ситуация кардинально-сказочно изменилась. Помните, как вдруг стали появляться ларьки и палатки, на витрины которых было жутко смотреть — такого мы и в заграничном кино не видали, а потому они сначала казались откровенным муляжом? Чего только и в каком невиданном количестве там ни выставлялось! Месяц-другой мы все к этому чуду привыкали, думали, проснемся — и опять талоны. Нет, чем дальше, все обильней, стабильней — и проблему сняли. Тогда я и подумал впервые о силе печатного слова и о пользе гласности. А то, что возникли новые проблемы, скажем, проблемы закуски, оказавшейся неожиданно дороже водки, что ж, пришлось привыкать к тому, чтоб не закусывать, а занюхивать. Предвидел ли Ваня такое развитие событий? Не знаю, думаю, он понимал, что важно прежде всего ухватиться за самое главное звено, тогда, как сказано, глядишь, и всю цепь вытащим. А лично Ваню проблема закуски никогда не интересовала — жизнь отучила.

стяк, интеллигентская глупость, а нужен, мол, размах и деловитость. Но нравственность, к слову сказать, не интеллигенты придумали, Господь вложил ее в душу человека, тем он ото всех прочих живых существ и отличается.

Пора нам всем вспомнить о своем нравственном долге, понять, что без него мы, верно, шагу не сделаем, непременно на чем-то провалимся, если не проворуемся. Прислушаемся к себе, вспомним о тех, перед кем виноваты. Другими словами — что ж мы про Ваню-то, Чердынцева?

РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ

Мы встретили его возле магазина. Известный магазин, все его знают. Каждый, кто прожил в Переделкине больше двух дней. Потому как в первый день зачем он, не на блины к теще едешь, непременно захватишь с собой. Пусть приехал ты вечером, засиделись допоздна, заговорились, что ж ты не подумал о том, что и утром надо будет продолжить разговор, не бежать же сломя голову неведомо куда. Ехал ты за город и понимал, что там возможна своя, не известная тебе ситуация. Это в городе теперь нет никакой ситуации, вышел из любого подъезда — и вот он сияет огнями, хоть утром, хоть полночь.

Помню, как-то месяца через три, может, через полгода после того, как свалилось на нас это неведомо что, шли мы с приятелем где-то возле Курского, мимо ряда таких киосков. Шли прямо, а глядели направо, не могли оторваться. Будто перед строем почетного караула, а мы — два генерала или два президента. Приятель был человек понимающий, я видел его в деле, а потому, когда он начинал хвастаться, рассказывал, что именно он подсказал Вене Ерофееву рецепты его знаменитых коктейлей, поверил ему сразу. Хотя справедливости ради следует сказать, что о «Ханаанском бальзаме», именуемом в просторечии «чернобуркой», и о «Звезде Вифлеема» (другое его название — «Иорданские струи») говорил он не совсем уверенно, но о «Слезе комсомолки» и особенно о затмевающем все «Сучьем потрохе», который для Венички был даже не напитком, а, по собственному его признанию, не чем иным, как *музыкой сфер*, тут мой приятель был совершенно определен. Очень может быть, что он и был автором этого, последнего бальзама, я думаю, Ерофеев, будь он сегодня жив, не оспаривал бы истинного авторства. Но Ерофеева нет, и приятель мой помер.

Витя Тимачев был человеком, несомненно, понимающим, или, скажем так, — укорененным, это подтвердят

все его друзья — от Вадима Борисова до Андрея Красулина, можно бы вспомнить и многих других, не менее знаменитых тому свидетелей, до красивых девушек включительно. Девушки, кстати, к нему неплохо относились, жалели и пытались как-то помочь в его непутевой жизни, но так и не смогли. Да и как было помочь Тимачеву, хотя сам он ненавязчиво пытался помогать всем — хоть Солженицынскому Фонду, хоть «Хронике текущих событий». Да кому угодно. Все его знали, очень был в Москве известный человек, в церкви на отпевании собралось такое количество интеллигентов и красивых женщин, будто хоронили знаменитого дирижера, а не спившегося вконец геолога. Но с девушками у Тимачева не получалось, может, внешность мешала, не знаю, один его добрый приятель как-то сказал, что явно ему на личность кто-то когда-то наступил, причем в современных ботинках. Приятель любил Тимачева, был его другом, и тот на него не обижался, а с девушек какой спрос, у них свои соображения.

Так вот, идем мы с Тимачевым мимо киосков, красота немислимая, только в разноцветных заграничных фильмах мы такое в ту пору видали, и Витя говорит, обернув ко мне свое выразительное лицо, мне даже показалось, слеза блеснула: «Кошмарный сон». И больше к киоскам не поворачивался. Но я о магазине в Переделкине. Да, том самом, возле пруда. Если пройти чуть подальше, перейти мостик, второй дом слева, там, говорят, снимала дачу Ольга Ивинская. «Против Фадеевского шалмана», — написала она в своей книге воспоминаний. Но «шалмана» никто не помнит, даже Андрей Вознесенский, который у Ивинской бывал и о доме ее мне рассказывал. Сломали «шалман», а может, считает кое-кто из аборигенов, речь в ее мемуарах могла идти о даче Фадеева — чем, мол, не «шалман», — а дача его как раз за магазином... Нет, она все-таки написала не о даче, а о «шалмане» — надо уточнить...

Магазин известный, и никто, кому случится застрять в Переделкине на третий день, его, как уже было сказано, не избежит. Сколько бы ты ни привез — за два дня кончится. А куда бежать, на станцию неохота, а магазин рядом, и любой маршрут для прогулки проходит мимо. Ну, разумеется, если ты сам прокладываешь маршрут. А в тот день я сам его и выбрал.

История была такая. Приехала ко мне в гости красивая женщина. Это всегда событие, а по моей одинокой

жизни — тем более. Я к тому времени совсем замшел, а потому, когда она на мои уговоры неожиданно согласилась и пообещала приехать, тому не поверил. Ну мало ли чего дама наобещает, может, просто чтоб отвязался: приеду, мол, а назавтра у нее откроются важные дела, новая ситуация или, скажем, зубы разболелись. Я решил специально не готовиться, чтоб не сглазить, и ни в какой магазин не пошел. Приедет — сбегая. Единственно, что позволил себе, это попросил у природы плохой погоды.

С природой у меня свои отношения, как, впрочем, и с погодой, я столько ее навидался за свою долгую жизнь, что никак к ней не отношусь — погода и погода. Прав остроумец, который выразил эту глубокую мысль в своей знаменитой песенке, хотя звучит она, мягко скажем, банально. По мне, скажем, плохая лучше хорошей, тем более в ситуации, что мне предстояла. В хорошую погоду надо будет непременно гулять, да она затем и согласилась, не затем же, чтоб на меня смотреть и решать мои проблемы. У женщины, а тем более у красивой, непременно своя идея, чтоб не сказать грубо — корысть. Просто так она ничего не сделает. Попробуй высказать ей заветное, причем в самой простой форме: приезжай, мол, ко мне, у меня тоска... Скажи об этом любому приятелю, хоть близкому, хоть далекому, ну, если нет у него в этот день чего-то особенно чрезвычайного или они уже не сидят за столом, разумеется, приедет, да ни за чем, просто потому, что ты попросил. С барышней не так. Она такое наговорит, что уже и самому неохота, и думаешь — хоть бы отказалась. Но если ей зачем-то нужно, о чем она ни за что тебе не скажет, и ты все равно не угадаешь, а то, что поймешь, все равно будет не о том, — вот тут она объявится. И самое здесь простое — хорошая погода: за город, обязательно гулять, сидеть на солнце, она и купальник, вроде случайно, захватила, и будешь полдня жариться, млеть и думать: ну хотя б зашла тучка и сверкнуло... Не сверкнет, не надейся, а день улетел. Ой, скажет, я совсем забыла, мне ж сегодня надо... И поплетешься на станцию провожать.

Пройдет день, как не было. Другое дело, что с приятелем ты тоже никаких проблем не решишь, перевернешь страничку и забудешь, заранее об этом знал. С ней, само собой, тоже не решишь, но все равно, думаешь, — а вдруг...

Нет, плохая погода — всегда кайф. Особенно если дождь с самого утра, обложной и безнадежный, тут хочешь — не хочешь, попалась, надо решать проблемы. Редко, но получается. А что получается?

Помню, много лет назад, двадцать, скажем, беседовал я с приятелем далеко за полночь. Тоже за городом, но не в цивилизованном Переделкине, а где-то по Казанке, в глухом поселке, в маленькой дачке с удобствами во дворе. Осень была, конец октября — ноябрь, дождь шел неделю, кошмарная была эта самая погода. Печка трещала, постреливала, и говорили мы с ним, разумеется, о самом главном. В ту пору посыпались на нас книжки, о которых мы до того и не слыхивали, как их ни отбирали на обысках, что-то все равно застревало, да и успевали прочесть, не в первый же день обыск. В ту ночь под шум дождя, который, явно было, никогда не кончится, говорили мы с ним о *душевном* и *духовном*. Очень был глубокомысленный разговор, мы уже процитировали и прокомментировали и апостола Павла, и Бердяева с Булгаковым, и Флоренского, и даже святых отцов. О том, что есть тело душевное, а есть тело духовное; о том, что сеется оно в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничтожении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе... Все мы в ту пору позаканчивали свои богословские университеты, очень были просвещенные, теперь уже не вспомнить, сколько выпили, не о том речь, и я ему говорю...

Понимаешь, говорю, не будем тревожить великие тени, кидаться краугольными камнями, а цитировать апостола после второй бутылки срамно даже таким, как мы. Я тебе, мол, скажу по-простому, как я об этом понимаю. Не о духовном, само собой, тут нет у меня соответствующего чина, а о душевном. Вот представь, говорю, такой же вечер, пусть ночь, тот же безнадежный дождь, осень, и дрова так же трещат, стреляют за спиной. А мы сидим за столом: закуска немудрящая — огурцы соленые, картошку сварили, посреди бутылка, едва начатая... Но сидишь передо мной не ты, на которого мне уже и глядеть неохота, а барышня — такая крутлолица, курносая, скуластенная. А за спиной, кроме этой самой печки, «тарелка», я ее с утра врубил, и играет она исключительно наши советские песни — довоенные, военные, послевоенные, слащавые, сентиментальные, бессмысленные. Слова лучше не вспоминать, а, впрочем, и слова тут не помеха. Я

гляжу на нее сквозь эти песни и шум дождя, через бутылку, она на меня, а в глазах у нее слезы, да не в глазах, уже по щекам бегут черные дорожки... Вот она, говорю, душевность, а если тебе она пошлостью кажется, то попробуй объясни мне, чем она еще может быть, само собой — пошлость.

Потому, собственно, и мечтал я о плохой погоде, но чтоб не с самого утра проклюнулась, потому как если она откроет глаза, раздвинет занавески и глянет в небо, то уже нипочем не поедет, даже если корысть ее совсем не в солнце, а еще там уж и не знаю в чем. Да и какая может быть во мне или со мной корысть — глупость это все. А она не дура. Красивая женщина не бывает душой, это наговоры, исключительно из зависти, а если она даже и глуповата, то непременно себе на уме.

Дождь должен начаться неожиданно, хитро. Вот, скажем, сядет она в электричку, поезд дернулся, засвистел, пролетели первую остановку, он и посыпался, — а куда ей деваться? Тут и начнется самое оно, душевное.

Небо с утра было ясное, сплошь голубело, такая погода еще неделю простоит. Знал я уже эту природу, сводки незачем слушать. Мне не светило.

Она была очень хороша, я сразу отметил, как только увидел, и вышла из поезда, как и выходят красивые женщины, одним движением, безо всякой суеты — зачем им суетиться. Меня даже тоска взяла, уж больно хороша, мне бы попроще, как ему, этому самому, из песенки, а он, если помните, на циркачку загляделся.

Это непростая материя — женская красота, как ее словами изобразить, обязательно будет банальность, хорошо если не пошлость. Хотя кому-то удавалось. Бунину, скажем. Но не из головы ли он их сочинял, едва ли с натуры, неужто о тех, с кем что-то у него вышло или не получилось? Лучше об этом помолчать, у каждого к тому же о красоте собственные представления, один любит пряники, а другой — соленые огурцы, как тут договоришься.

Конечно, я уже знал, что и как будет, и, пока мы до дома топали, маршрут этот досконально продумал, хотя, отперев дверь, на всякий случай, безо всякой, впрочем, надежды на успех попробовал предложить позабыть про погоду-природу, что, мол, мы природу не видали, когда еще случится, чтоб все так складно, и нагляделись, мол, пока шли, и солнце нас уже жарило, и ветерок цветами, деревь-

ями дышал, а когда через поле двинулись и запахло лугами... Куда там! Да знали мы друг друга хорошо, и я понимал, что, если о чем попросить, непременно все наоборот будет. Разве можно женщину о чем важном для себя просить, она все иначе хочет, а если и совпадет, тут самое напротив и будет, потому как она хотела по-своему, а получилось, ты вперед забежал, все испортил, и уже не поправить.

Короче, сдался, как тот самый воробей, которого кошка, как известно, потащила на прогулку. Но все-таки сделал еще попытку — а вдруг?

— Понимаешь, — говорю, — у меня вроде все есть, но что-то еще надо бы купить, потому как я из суеверия боялся, не приедешь, решил не покупать, одному мне зачем, а пропадет — жалко. Одним словом, посиди, а я слегаю.

— Ты что, — говорит, — какой магазин, мы чаю напьемся, но это все потом, главное — гулять, гулять. Видел, какая погода, зачем я за город ехала?

И, верно, зачем, думаю.

Пошли, дышим, ветерок, цветы, травы, солнце, на небо я уже не гляжу, ничего там еще неделю не случится, а до вечера тем паче.

— Ты, — говорю, — хотела дом поискать, где Ивинская якобы снимала, так я узнал, давай сначала...

Она на меня благодарно посмотрела, но я-то знаю, что магазин мы в таком разе никак не минуем.

Он и открылся, тот самый магазин, с которого вся наша история начинается.

— Давай заглянем, — говорю, — чтоб потом не думать и не возвращаться.

— Что за бред, — говорит, — зачем он нам, в очереди стоять, в Москве настоялась, я не за тем...

— Какая, — говорю, — очередь, — не Елисеев.

— А. что тебе нужно?

— Ну, не знаю, сметана здесь всегда свежая, еще чего для салата...

Поглядела на меня. Салаты они уважают, им хотя бы ведро накроши, много не будет.

Ну, магазин, он и есть магазин. Сельский. Все тут есть, что нормальному человеку требуется, я особенно не разглядывал, известно, за чем приходишь. Но в таком магазине какая-то душевность, ностальгия по проклятому прошлому, когда, кроме бычков в томате и чайной колба-

сы, ничего не было, зато как она пахла, эта самая колбаса, не говоря уже о бутылке за два восемьдесят семь. И продавщицы милые, круглолицые, всех и про всё знают, и за чем ты пришел, не сомневаются.

— А здесь верно симпатично, — говорит моя спутница. — Вон и сметана...

— А как же, — говорю, — у нас, как в Европе, лучше, — а сам девушкам за прилавком моргаю.

А им и моргать не надо, наперед знают.

— Сметану, — говорю, — потом эту...

— Давай сумку, мы тебе положим.

— Еще хлеба, — говорю, — сразу видать, свежий...

— А ветчинки не желаете? — спрашивают из-за прилавка. — Только привезли...

— Не нужно, — говорит моя спутница, — мы гулять приехали, а не за столом сидеть.

— Не целый же день, — отвечают ей из-за прилавка, знают, кто зачем приезжает, — нагуляетесь с молодым человеком, а потом...

Очень все душевно складывалось.

— Ты погляди, — говорю, — вон там, в дальнем углу, нет ли какого варенья?

Пошла в дальний угол, конечно, любопытно, а мне тем временем в сумку бутылку, ту самую, что раньше за два восемьдесят семь.

— Спасибо, — говорю, — за мной не пропадет.

— Охота тебе таскать, — говорит моя гостья, — ничего вроде не брал, а, гляжу, целая сумка...

И тут в сумкебрякнуло.

— Чего у тебя там? — спрашивает.

Врать надо, не задумываясь:

— Горчицу взял для ветчины.

Она глянула на меня подозрительно, хотела что-то спросить, но тут он с женой как раз и выворачивает из-за поворота.

— Привет, — говорю, — давно не видались.

Он в желтой курточке, брови домиком, идет понуро, ведут его, ему-то уж точно ничего не светит: Колыма, она, конечно, Колыма, но тут, пожалуй, построже...

— Здорово, здорово, — говорит, а глаза внимательные, сумку он мою изучает.

— Какой ты нарядный, — говорю, — что значит знаменитость, обязывает.

— Ладно, — говорит, — чего тут такого особенного, гуманитарка, от немцев получили. Мне не надо, а она говорит, надень да надень, — надел.

Жена кивнула, пошла в магазин.

— Взял? — спрашивает.

А я ему ответить не могу, глупость какая-то.

— Прости, пожалуйста, — говорю, — я не познакомил: наш знаменитый писатель, поэт — Толя Жигулин.

Он на нее поглядел, на мою красавицу, глаза у него внимательные, словно бы веселые, а поглубже — печаль, да такая печаль... Не та, что примелькалась в еврейских глазах, тоже сразу не понять — то ли она о катастрофе мироздания, о том, что Христа когда-то распяли, то ли о том, что накануне ему кто-то дорожку перешел. Здесь другая печаль, и никак ты ее не определишь, не старайся — загадка русской души.

— А вы ему позволяете? — спрашивает Толя и на сумку кивнул.

Вот гад, думаю.

Она, само собой, все сразу просекла, вспыхнула и засмеялась. Толе, думаю, на это плевать, а у меня что-то внутри дрогнуло — надо ж, какая баба красивая, идет им, когда смеются.

— Хозяин — барин, — отвечает ему, — как тут откажешь. Рада была познакомиться, — и пошла от магазина.

— Это я пошутил, — говорит ей вслед Толя, глядит, как она идет по дорожке. — Ничего не скажешь, хорошая барышня, по всем статьям хорошая. Кому везет — везет.

— Хороша Маша, да не наша... — говорю.

Я ее догнал, и мы пошли через мостик, дом Ивинской искать, а она все улыбается.

— Какой, — говорит, — человек милый, трогательный...

— Да, — говорю, — очень трогательный, ты бы с ним поговорила, он что ни скажет, записывай. Мы тут договорились с товарищем в дом творчества сбегать, там гадюшник в подвале, а он, как сейчас, встречается, и глаза такие же печальные. «Туда?» — спрашивает. «Да нет, — говорит товарищ, жалко ему Толю, а как помочь, — нам тут по делу». — «А я бы туда, кабы один, какие еще дела...» — «Тебе ж нельзя, — говорит товарищ, — почка, печенка. Сам говорил, как выпьешь, отдает». — «Не говорил я, — отвечает Толя, — это она за меня знает». — «Тебе нельзя, — на-

стайвает товарищ, — я по себе знаю, выпьешь одну и сразу чувствуешь: что-то там не так». — «Нет, — говорит Толя, — я, если одну выпью, сразу чувствую, сейчас бы еще одну...»

— Так вот ты о чем, — прозрела наконец моя гостья, — сметана ему нужна! В такую погоду водку жрать только дикари могут или писатели из Переделкина.

— Тебе же Толя сразу понравился, — говорю, — или он, по-твоему, нарзан предпочитает?

— Он человек в задумчивости... — говорит она и чему-то своему улыбается. — Нет, верно, что-то в нем... даже не сказать.

Ну, дом предполагаемый Ивинской мы поглядели, чего там глядеть — застроили, переделали, сорок лет прошло, ничего не понять. А ей все равно надо — с одной стороны зашли, с другой, с одного берега смотрим, с другого... Ну чего она там увидит?

— Пошли по берегу, — говорю, — найдем местечко, посидим, а то ноги гудят.

— Я тебе все равно не позволю, — говорит, — я ему просто так сказала, для тебя, ты же рад был?

А ведь я верно обрадовался, но чему — не понял.

И вот мы идем по-над берегом, на другой стороне открылись немыслимые строения, замки из красного кирпича. «Сон сумасшедшего пирожника», — сказал кто-то по близкому поводу. А мне хорошо, я даже понять не могу, будто случилось, чего и не ждал, а ничего ведь не случилось, муть одна.

Такая ива роскошная по земле стелется, раздвоилась, толстые ветви задрались над водой, она у этого берега в раске, а все вода, и деревья над нами шумят, птицы поют, чирикают, и солнце не так жарит...

— Посидим? — спрашиваю.

— Посидим, — она опять улыбнулась. — Нет, правда, какой милый человек... И поэт настоящий, я с каких еще пор помню его стихи.

— Еще бы, — говорю, — я тебе сейчас такую историю про него расскажу...

История на самом деле замечательная, она словно бы тут была ни к чему, но кто знает. Я ее случайно вспомнил, как Толю увидел, и он ей, видишь, понравился, а для меня никогда ничего дороже друзей не было, я про них могу часами рассказывать, чем еще гордиться — только дру-

зьями, хотя с ними тоже по-разному складывается. Но это другой разговор.

— У Толи дача, — говорю, — пополам с Давыдовым. Когда-то там Сергей Сергеич жил, Смирнов, слыхала, наверно, тоже непростая история, но это отдельный разговор. А тут им дали. У Толи верх, а у Юры — низ. Оба писатели, оба знаменитые, оба зеки. Ну, не знаю, как у них там по соседству, тоже, верно, по-всякому. Не в том суть. А суть в том, что оба, так сказать, выпивающие.

— У вас тут все к одному, — это она реплику подает.

— Природа располагает, — говорю. — Но ведь и это у всех по-разному. Давыдов — человек сосредоточенный, он, если день не работает, на стенку лезет, ему в архив надо, в библиотеку. Он не из головы пишет. А Толя — поэт, у него все иначе. Я мог бы тебе о них подробнее, но женщине, даже такой, как ты, едва ли следует все рассказывать о товарищах, она или не поймет, или о чем другом подумает.

— Это о чем же? — спрашивает.

— История-то не в том, — говорю, — что они пьющие, а в том, что у них ситуация принципиально разная. У Давыдова жена работает, уезжает, скажем, в понедельник и, может, приедет на неделю, а может, нет, а у Толи — всегда дома. Сечешь разницу?

— Это и для женского ума, — говорит, — не большая загадка.

— Вот и я о том. Давыдов встает часов в семь, чаю накушается и сидит за столом, если ему, само собой, в Москву не надо в какой-нибудь архив. Но, думаю, он столько уже там всего перелистал за свою жизнь, что больше ему не надо, остальное и сам додумает, все равно никто проверить не станет. Но это мои соображения, просто, когда человек так заторчит в материале, он ему вроде уже ни к чему, хотя человек он въедливый, ему всякую ерунду надо знать. У материала, понимаешь, своя логика, а она у него уже в голове. К тому же, обрати внимание, берешь ты, скажем, в руки документ, какую-нибудь архивную справку — ну и что? Не знаю, как ты, но я, кроме факта, пусть он самый удивительный, ничего там не разгляжу. А у него из этой самой архивной справки люди выпрыгивают — живые, странные, несчастные или счастливые. Хотя бы, скажем, Герман Лопатин или, к примеру, Дегаев. Как он их только воскрешает-реанимирует по этим бумажным

костям, Кювье какой-то из Переделкина. А если б не он, так бы и лежали в архиве мертвяк мертвяком... Он мне как-то рассказывал про Судейкина, помнишь — жандармский подполковник, Дегаев его замочил, а потом свалил в Америку — помнишь? Но ведь в Америке в то время жил Сергей Судейкин, знаменитый наш художник, а он — родной сын подполковника. Тот самый, мирискусник!.. А ведь они могли там встретиться, в Америке, говорит мне Давыдов, Дегаев и Сергей Судейкин, велика ли Америка, как там не повстречаться? Вот, мол, сюжетец... Короче, сколько Давыдов может сидеть за столом, уже не мальчик — три, четыре, пусть пять часов — а дальше что?

— Это, — говорит, — и ежу понятно, а тем более когда ты меня в этом вопросе с самого утра просвещаешь.

— Сообразительная. Я и не думал, что городская дама так быстро способна разобраться в сельской ситуации, а тем более в писательской психологии.

— Смотри, как облачко подсвечено, — говорит она, — на птицу похоже...

Она сидит на толстом стволе, над водой, подставила лицо солнцу, тени от деревьев бегут по лицу; болтает ногами... Не свалилась бы, думаю.

— Скорее на верблюда похоже, — говорю, — как классик заметил.

— Так в чем же история? — спрашивает. — Я что-то не пойму, при чем тут твой Давыдов? Писатель он замечательный, но с ним я не знакома...

— Давай зайдем, у него сейчас непременно перерыв.

— Может, и перерыв, но ты уже объяснил, чем он в перерыве занят, а я вам в этом не помощница.

— Ладно, — говорю, — мне самому тянуть надоело, перехожу к сути... Но может, мы сначала перекусим?

— Это чем же? — спрашивает.

— Ветчина, горчица, она под эту самую...

— Миленький, — говорит, — не порть день, когда еще такой будет.

Само собой, я сдался. К тому же день верно не вспомнить, когда еще такой был, он сам из себя выворачивался, с каждым часом роскошней. Я даже удивился, никогда не обращал внимания на эту самую природу. Бог с ней, она всегда природа и есть.

— Хорошо, перехожу к сути... Нет, сначала еще пояснение. Про Жигулина ты все поняла, видела, а барышня

ты приметчивая, про Давыдова я тебе доходчиво объяснил. Но тут еще один герой, третий, без третьего, сама понимаешь, такие истории не происходят.

— Третьего я хорошо знаю, — говорит, — не зря к нему приехала в такую даль.

— Какая же это даль, полчаса, меньше на электричке, а приехала ты, судя по всему, не ко мне, а природы наглотаться.

— Ну что ты всегда все портишь, — говорит она, и глаза, в которых облачко, похожее на птицу-верблюда, плавало, прищурила.

Знаю я, что такой прищур значит.

— Ладно, — говорю, — это я к слову и ради справедливости. К тому же ты не угадала, третий был не я, а Юра Карякин, тоже сосед, мимо его дома только что протопали.

— И он тут? — спрашивает.

— Как же, а он имеет честь знать тебя?

— Нет, — говорит, — просто наслышана.

— Еще бы. Здоровенный мужик. Ему бы на медведя ходить с рогатиной, а он философ. Очень известный человек, все его знают, и он... Да что всех, он знал про Достоевского, когда никто еще такого имени не слыхивал. В его бывшем кругу, разумеется. В коридорах ЦК, на Старой площади. Я его туда как-то провожал, тому почти уже тридцать лет, его тогда из партии исключали за знаменитую речь о Платонове, самый был пик и одновременно начало нашего диссидентства, 68-й год. Мы с ним пока добрались до Старой площади, ну уж, наверное, в десяти забегаловках побывали, я тогда скромный был, не знал, что по Москве в то трескучее время так много мест, где можно обсудить высокие русские проблемы и решить все проклятые вопросы, как когда-то, сто лет назад, в знаменитом трактире, в Скотопригоньевске.

— Решили? — спрашивает.

— Не совсем, — говорю, — вот он затем и ныряет к Давыдову, когда жена его Ира отправляется в Москву по своим делам, а жена Давыдова Слава в Москве на работе. Неужели ты думаешь, все эти проклятые вопросы можно было за тридцать лет хоть как-то решить, хотя оба они с Давыдовым про них два десятка книг понаписали и под них целую цистерну выпили. Их полтора ста лет решают, а были люди, не скажу покрупней, я ценю своих товари-

шей, но тоже в этом, как говорится, укорененные и продвинутые.

— Давай, давай, — говорит, — даже интересно, что ж они в тот раз...

— Еще бы, в тот день они к разрешению приблизились, может, больше, чем за все эти полтора года. Так уж все совпало, не зря я на этом твое дорогое мне внимание останавливаю, и, как видишь, о себе ни слова. Хотя по протоколу ты вроде бы ко мне приехала, а не к неведомо чему.

— К тебе, к тебе, успокойся.

Господи, как она это сказала!.. Может, правда, ко мне, а не на природу удивляться?..

— Чего замолчал? — спрашивает.

— Ты меня лучше не перебивай, — говорю, — мне на тебя глядеть трудно.

— А ты не гляди, просто радуйся... Так что дальше?

Как же это понять?.. — думаю.

— Тут надо еще одно отступление, — говорю. — Чтоб ты ситуацию во всей ее полноте окончательно уяснила, я тебе одну карякинскую тайну раскрою, тем более, она уже и не тайна. У Давыдова, конечно, хорошее место, когда жена по своим рабочим делам уезжает, но иногда ведь надо философу и с самим собой побыть или там еще чего. Карякин нашел тропу, назвал ее «тропой Хо Ши Мина», он в свое время бывал во Вьетнаме, знает тропы. Все он знает, а погляди ему в глаза — ребенок, мальчик... Так вот, если идти по «тропе», то там, за карякинским участком, — бурелом, черт ногу сломит. Карякин нашел поваленное дерево, а под ним — нора. У него там всегда два стакана, открывалка... Что еще? Еще бутылка. Летом ей там прохладно, а зимой совсем хорошо, запотеет. Он туда и нырял, один или с товарищем. В зависимости от творческой необходимости. Хорошее место, был я на той «тропе», знаю.

— А теперь что, — спрашивает, — может, ты и меня туда хочешь сводить?

— Прежде всего не мое место — права нет, хотя теперь вроде как музей, но там экспонатов не осталось. Засветилось место. У Карякиных, понимаешь, овчарка, Машка, очень ими любимая, но дура душой, без понятия. Все-таки собака, даже очень ученая, не понимает того, что каждый человек понять способен.

— Глубокая мысль, — говорит.

— Не мысль, а констатация. Поташила она однажды туда карякинскую жену, где ей понять, что Юре туда можно, а Ире никак нельзя. Короче, закрылась «тропа».

— Какие сюжеты, — говорит она так лениво, — кипит у вас жизнь, как... в чайнике, что ли...

Ну зачем я ей все это рассказываю, обозлился я, баба и есть баба, где ей понять, обязательно...

— Не сердись, — говорит она, — это я так, для порядка. Я и тому рада, что ты такой хороший и гулять со мной согласился.

Ишь какая чуткая, думаю, кто ж она такая на самом деле — чего ей надо?

Я закурил и поглядел в небо. Оно было поразительно глубокого цвета, не голубое, а почти синее. Никогда такого не видел. Неужто никогда?

— Погляди, — говорю, — цвет какой.

Она задрала голову.

— Ты тоже заметил? А я уж молчу, думала, мне привиделось.

— Это тебе подарок, — говорю.

— Спасибо, — отвечает, — очень ты щедрый.

Очень щедрый, думаю, за чужой счет. А мне... Или это само собой должно произойти, когда ничего не просишь и ни от кого не ждешь?.. Что же должно произойти?

— Но ты дорасскажи свою историю, — говорит, — что у них все-таки случилось?

— В том и дело, — говорю, — что не случилось, а произошло... Конечно, жалко «тропу Хо Ши Мина», но это в прошлом и к делу не относится... Сидят, понимаешь, два приятеля, друзья, знаменитые люди — Давыдов и Карякин, совершенно, заметь, свободные... А что такое *свобода*, проклятие свободы, если философски мыслить? Как бы это выразить... Она, так сказать, амбивалентное понятие, ну уж коль я тебе про философа рассказываю. У меня ее, свободы этой, столько, что хоть со щами ее хлебай — а тяжело, в рабство тянет, а у них... Для них она — мечта. Они в тот день знали, что ничто их свободе ближайšie полдня не помешает, и тому были рады, ценили ее и говорили о самом главном и неразрешимом — о России, о ее непостижимости и невedomо о чем, о евреях, как тут без них, о православии...

Но ты должна все это себе представить, чтоб глубину произошедшего постичь... У Давыдова за домом столик,

скамеечка шаткая, на столе, натурально, бутылка, колбасу они порезали из нашего магазина. День был жаркий, месяц назад, это сейчас осенью попахивает, август, а тут самое буйство. У него участок лесной, у Давыдова, тень, воздух смолистый... А они про самое невероятное, непостижимое, неразрешимое... Давыдов Юра такое знает, такое в своих архивах наковырял, а чего в архивах нету — из лагеря вытащил. А Карякин Юра все на свете об этом прочитал, его опыт на Старой площади заквашен — да он бы сейчас академиком был, если не хуже, но у него натура здоровая, и, как Солженицын открылся, он одним из самых первых и написал о нем... Сама понимаешь, что было дальше. Короче, он сам, Карякин, как бы некий архив... Их послушать — голова кругом, мне приходилось, до сих пор гудит.

— Ну а сюжет-то в чем? — спрашивает моя красавица, надо ж, дал Бог слушателя.

— Не гони картину, — говорю, — тут сюжет и начинается, это все интерес был и пояснения...

Спускается со своего верха третий герой... Он уже давно прислушивался. Слыхал, и как Карякин появился, собака забрехала, и как в доме внизу дверь стукнула, и как они стул вытаскивали, стаканами звякнули... Но ему какой смысл слушать: жена его, тоже зовут ее Ира, рядом, и Толе спуститься никак невозможно, не зона, это там разные способы существуют для передвижения. Тут полный финиш. «Слушай, — говорит он жене, — хлеб у нас вроде кончился, черствый, свежего хорошо бы». — «И так сойдет, — отвечает, — тебе свежий вредно». А время идет, они уже явно бутылку заканчивают. Тяжко нашему поэту. «А как ты будешь кашу варить? — спрашивает Толя. — Молоко скисло». — «И верно, скисло, — откликается жена. — Ой, сейчас перерыв в магазине!...» — «Еще пятнадцать минут, — говорит Толя, — как раз успеешь». — «Ладно, собирайся», — говорит жена. «Нет, — отвечает Толя, — у меня нога болит, не поспею». Ну она и побежала. «Не забудь про чайник! — кричит уже со двора. — Опять сторит!»

Толя переждал, пока калитка стукнула, спустился — и за дом. А у них самое оно. Карякин держит речь и не видит, что за столом их уже не двое, а трое.

Давыдов — человек понимающий и чуткий. «Ушла, что ли?» — спрашивает. «За молоком, — говорит Толя, —

минут двадцать у меня есть». А сам смотрит на бутылку, там на доньшке. Давыдов нагнулся, тащит из-под стола вторую, наливает стакан. «Давай, — говорит, — только закуси, а то у тебя почка, печенка...»

Толя выпил, хрустнул огурцом, прислушался. А Карякин уже в полном раже, все точки расставляет: загадочная русская душа, проблемы, о которые герои Достоевского и русские интеллигенты за минувшие полтора столетия себе лбы порасшибали, у нас с приходом демократии, крушением большевизма и вхождением в общий рынок так перед всем миром обнажились и раскрылись... Нет, глядит мировое сообщество, никакой тут загадки, одна, как говорится, прости меня, голая задница.

— Смело, ничего не скажешь, — роняет моя соблазнительница.

— Вот тут это и произошло, — продолжаю я, — будто небо треснуло и молния сверкнула. Толя, он, верно ты заметила, задумчивый — поэт, а разве можно понять, тем более сформулировать — о чем поэт думает?..

«Слушай, Юра, — прервал он Карякина на самом взлете, — скажи, Юра, а у *тебя* стоит?»

Глаза у него внимательные, у Жигулина, сама видела, в них не любопытство, не любознательность, а именно задумчивость — веселая задумчивость. Но он это жестко спросил, как ножом ударил. Карякин, натурально, замолчал, так и застыл с открытым ртом. Он, понимаешь, Карякин, тоже мужик острый, он и с Горбачевым, и с Ельциным, не давал им спуска, тоже, как говорится, может мыслить афористически. Да что президенты, помнишь, как он отмочил на этом постыдном ночном шоу — уже самой матушке России залепил: «Что ты, Россия, совсем одурела?..» Но тут... Видать, не привык к таким вопросам и откровениям. Другая школа — не на зоне, а на диссидентских кухнях. Разная материя, согласись?

Она молчала, а я на нее не глядел.

— Короче, сбился Карякин со своего пафоса. А Толя все так же на него внимательно смотрит, глаза у него задумчивые и добрые.

«Да ладно, Юра, — говорит, и руку ему на плечо положил, — ну а в Бога ты веруешь?..»

Понимаешь, рассказывали они мне об этом разговоре оба — Давыдов и Карякин, рассказывали по отдельности, в разное время, но говорили одно и то же. Какие, мол, во-

просы поставил Жигулин — самые точные, фундаментальные: материалистический и идеалистический, оба вопроса, мол, тут сошлись, и...

Она засмеялась... Нет, даже не засмеялась, захохотала. Она смеялась так счастливо и весело, что я оторопел. Вся смеялась, до кончиков пальцев на босых ногах. И глаза смеялись... А знаете, что это, когда у женщины, на которую ты и глянуть порой боишься, так она тебе нравится, смеются глаза, — задохнуться можно.

Не свалилась бы в воду, подумал я, треснет ива, стая, вон как разохлась, да и эта ундина не тростиночка, полетит в пруд, а вода, прямо скажем... Как тут за ней кинешься? Вот кабы в открытом море, сидела б на бушприте, а он бы под ней... Тут я бы прыгнул, и пока бы еще нас выловили, плыли б мы, держась за руки в изумрудной волне...

Такой день был царский, середина августа, чуть желтизны на деревьях, небо высокое, ясное, все насквозь прогретое — а она смеется, смеется, смеется...

Что же все-таки произошло в тот день? Не знаю, ничего словно бы не произошло. Но я совершенно явственно услышал *музыку сфер*, хотя не пригубил в тот день не то чтобы «Сучьего потроха», я и пива не понюхал.

Раз в жизни случается, чтоб все совпало, хотя и вышло совсем не так, как хотел. Только в глубине надеялся, а в самой глубокой глубине знал: не сбудется, какая ж надежда, если она всего лишь уверенность — то не надежда, а хитрая пошлость. А тут — *подарили*.

Счастливым день. Может, и был такой только однажды в жизни. А может, всякий раз он и должен казаться единственным.

ПРОЩАНИЕ

Афоризм вбивается в сознание. Он звонок, красив, а если еще и принадлежит тому, кто не вызывает сомнений... Он-то не вызывает сомнений, автор афоризма, но безусловность сказанного им, быть может, все-таки весьма сомнительна?

«Ты сам не должен отличать...» Ты не должен. А кто-то другой должен, может? На то он, видимо, и другой, что способен понять. Со стороны. Но разве тебе есть хоть какое-то дело до него, до другого, зачем он тебе, зачем тебе его «должен не должен», это твое поражение, твоя победа.... Какая победа, ее и не может быть. Быть не может по определению.

Вот в чем печаль-забота, вот в чем правда, а афоризм тем и хорош, стихи тем и хороши, что в них не смысл важен, а красота, звонкость, нечто неуловимое, что и улавливать не нужно, только разрушишь очарование, красоту, а смысл... Поэзия должна быть глуповата.

Поражение неизбежно, потому что никогда не удастся достичь того, что хочешь. Ты создаешь нечто из ничего, реальность из возникшего чувства, метафоры, несформулированной мысли, ощущения, а они требуют выхода, осуществления. Пытаешься создать живого человека — характер, вдохнуть жизнь в глину. А такое возможно только Богу.

Разве тебе важно, что думает об этом кто-то — *другой*?

Она невозможна — победа. Невозможна по определению.

Но как бы ты все это точно ни знал, тебя все равно не оставляет чувство горечи, печали, тоски. Не получилось. Опять не вышло. Безысходность, дышать нечем. А что такое победа, удача? Какая-то тут пошлость. Стыдно. Победа бывает в ремесле, никогда в творчестве. Или это всего лишь утешение?

Я хотел написать о любви. Я хотел записать странное, для кого-то нелепое, для кого-то пустое, для кого-то и во-

все... Для кого кого-то — *другого*? Записать то невероятное чувство, которым жил, ну уж наверно, лет десять, забывая обо всем, что было со мной и с тем, что вокруг. Написать всего лишь для того, чтобы понять. Я пытался сказать об этом так, чтобы раньше всего понять самому — зачем мне другой? Пусть только для себя.

У меня не выходило. Ничего не получалось. Я подбирался к этому и так и эдак. Мне важно было не написать, а понять.

Наверно, не смогу, жизнь не получилась, а уж проза — Бог с ней.

И вот однажды, тоскливым и дождливым летним вечером я вышел из дома, потому что сил не было сидеть за столом — все равно ничего не выйдет.

Живу я в Переделкине, известной поселок, все знают... Ну, может быть, все-таки не все? Следует объяснить.

Двадцать минут электричкой от Москвы, пятнадцать минут от станции, а у кого машина, и говорить нечего, совсем близко. Рядом. Но, тем не менее, природа, воздух, деревья: сосны, ель, береза, дубы, есть вековые, одному, говорят, восемьсот, кто там считал, не знаю, но похоже. Имение еще прошлого века со своей историей, я там бывал, а потом читал в книгах, — место знаменитое, есть о чем подумать, хотя те, кто там живут, той историей не слишком интересуются, в парке не бывают, у них своих дел выше крыши. Пишут книги. Зачем им чужая история?

Живут в Переделкине писатели, уникальный поселок. Единственный в своем роде. Рассказывают, что когда-то, после первого писательского съезда тридцать четвертого года, отец народов, большой любитель изящной словесности, озабочился жизнью своих литераторов, узнал, что живут они трудно, мыкаются по коммуналкам, и придумал выстроить специальный поселок: пусть дышат воздухом и сочиняют во славу светлого будущего. Под присмотром. Ткнул жирным, как сказано, пальцем в карту: здесь, мол. Сетунь — река судоходная, дадим им пароход, пусть к себе на огороды плавают. Карта была не подробная: Сетунь перейти, выше колен ничего не замочишь.

Поселок построили, по тем временам лучше не придумать, они и сегодня красивые, те дома, не сравнишь с кирпичными уродами, что полезли рядом, там был хоть какой-то вкус и очарование.

Выбирали для заселения тщательно — самых-самых, тех, на кого можно положиться. Но ведь и это не просто — сколько было промахов, человек, как выяснилось, не из железа сделан, из другого материала, мягкого, никак не угадать, что может выкинуть, такое другой раз отчебучит, никакой логикой не объяснить.

Много можно рассказать историй о тамошних аборигенах, люди были разные, едва ли следует всех мазать одной краской. Я только одну расскажу, мою собственную, думаю, никто, кроме меня, о ней не знает.

В тюрьме было, на Матросской тишине, в середине восьмидесятых. Я к тому времени уже без малого год отсидел, что со мной будет дальше, не понимал, но ничего хорошего не светило. И вот как-то приходит к нам в камеру новый «пассажир»: под пятьдесят, худощавый, легкий, в седоватой бороде. Глаза печальные, а с насмешкой. Уживается в нем то и это. С больнички пришел.

Чем же ты, сирота, хвораешь? — спрашиваю. Давление поджимает. А статья какая? Самая тяжелая, говорит, чердак.

Для непосвященных объясняю: паяли ту статью за то, что человек нигде не был прописан и нигде не работал. До трех лет.

Странно, думаю, такой с виду тихий, встретишь — интеллигент, сельский учитель. А разделся — мать моя мамочка! Нет живого места, весь разрисован. И живопись незаурядная, талантливо.

Таких я еще не встречал. Профессиональный бродяга. Бомж, по-нынешнему. Русская классика. Не может жить на одном месте. Верно, сирота. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. А ему под пятьдесят, с мальчишек идет той улицей. Длинная оказалась — от Москвы до Рижского залива, а потом, считай, из Европы — до Находки. И конец не там, до Магадана добирался. Нескончаемая улица. А в Москве — мать-старушка, ее благодетельствовали, дали однокомнатную квартиру на Речном вокзале. А его улица все петляет, никак к той квартире не выведет. Статья за статьей, заказана ему московская прописка, не светит бомжу в столице в эпоху зрелого социализма.

Неужто за сорок лет не захотелось отдохнуть, ноги вытянуть? — спросил я. Бывало, говорит, есть у меня местечко, недалеко от Москвы, писатели живут. У одного из них. Однажды заглянул на огонек, а потом разочков пять приземлялся. Месяца три, бывало, поживу и...

В Переделкине, что ли? — спросил я. Там, говорит. Знаменитый писатель. Старый. Живет один. Жена померла, а дочка в Москве, на квартире. Он там круглый год. Воздух ему нужен, природа. Зимой я ему котел топлю, летом сад обихаживаю. Цветочки. Месяца два-три выдержи-вал. А потом заскучаю и...

Ты ему, небось, рассказываешь, а он записывает? — спросил я. Кто его поймет, отвечает. Может, и записывает. Книг у него много, цельный шкаф. И полки. И денег сколько надо. Тебе-то хорошо платил? — спросил я. Ничего не платил. Кормить — кормил. За харчи у него жил. И ночевать оставлял. В пристройке. Не попадайся, мол. А попадешься — твое дело.

Хороший человек, — говорю. Да кто, мол, его поймет: плохой — хороший. Жадный. Хотя однажды был случай... Я тебе так скажу: жизнь его не понять. Встанет утром, выйдет на крылечко, продышится — и обратно. Откроет шкафчик — я глядел, там рюмочка серебряная, нальет, выпьет — и обратно в шкафчик.

Пишет, что ли? — пристаивал я. Может, и пишет, я того не видал. Спит, наверно. Раз в месяц приезжает дочка. Машина с шофером. И сразу ругаться. Все про деньги. Громко ругаются. Он не дает. Она в машину и за ворота.

Кто ж такой? — не отстаивал я. Зачем тебе? Не надо. Скучная у него жизнь, я бы ни за что не променял. Передохнуть другой раз, это можно. Месяц, два. А потом дождусь, когда уйдет гулять, у него вечером обязательно прогулка, открою шкафчик, налью серебряную рюмочку, сколько есть опорожню, рюмочку в шкафчик — и пошел. Через год снова к нему. Не обижается, знает, мне пора было.

Где ж ты ходил, сирота? — спросил я.

А где я только не ходил. Я вам так скажу, мужики, — его вся камера слушала, — в Сибири тыщи и тыщи живут по лесам. Меня там поймали, увели в тайгу. Как на грех, деньги в кармане. Пускай, мол, тебе еще вышлют, а не вышлют — съедим. Ладно врать, говорю. Вас бы всех к ним. А что было делать, кто мне пришлет? Написал своему писателю, в Переделкино, так, мол, и так — выкупай. Они прочитали письмо, поверили, что пришлет. Ждем. А ты сам-то, спрашиваю, верил? Да ты что, я ж сказал, жадный на деньги, а кому мне было еще писать, у меня и адресов-то нет. У матери пенсия тридцать семь рублей. Лишь бы время потянуть.

А чем они там кормятся? — спросил кто-то. Как волки, говорит. Ночью придут в деревню, пошарят: яйца, свиненка, картошку — и в тайгу. Найди их. Как же ты от них ушел? Считай, случай. Пошли как-то в райцентр. Одного меня не отпускали, с провожатым. На почту, за моим переводом. А у провожатого в деревне баба с самогоном. Я говорю, ты, мол, иди, а я на почту летаю. С понтом сказал, знал, ничего там нет. А ему я зачем — к его бабе да еще самогон у них... Что думаете — лежит мой перевод: стольник! Все-таки, писатель. Я и рванул. Ушел.

Мы еще месяц пробыли вместе, он ко мне расположился, мы много разговаривали. И про Переделкино тоже. Как-то он раскололся: да ты его, говорит, знаешь, — коли не врешь, что и сам писатель. Он у вас известный. Леонов фамилия. Леонид Максимыч? — изумился я. Он самый.

Вот оно, железо, из которого они их ковали. А материал не тот оказался, с запашком. Человек — не простая материя.

Ну, это давняя история. А теперь классики перемерли и в наше демократическое время поселок стали заселять всякой шелупенью, до меня включительно. Все до сих пор удивляются — почему тебе дали там дачу? А я и ответить не знаю что. И однажды, встретив литфондовского начальника, спросил: а с какого, мол, переляку вы дали мне дачу? Я сам, говорит, не понимаю, но если ты недоволен — освобождай, претендентов много... Нет, говорю, насколько мне известно, в истории поселка такого не случилось, чтоб у писателя при жизни отобрали дачу, сначала надо хотя бы посадить. Так что дождитесь, пока помру. На том и порешили.

Теперь, конечно, другая история. И дело даже не в том, что дачи пообветшали, заборы подгнили, покосились, а у литфонда денег на ремонт нет... Люди не те, а потому и жизнь другая. Хотя живут по-прежнему уединенно, сосредоточенно. Никто никого не тревожит без надобности, не принято. То есть неверно представлять, что там происходит ежедневная современная тусовка. Нет и дачной жизни в обычном ее понимании. Работа. Но иногда ведь надо и поговорить, повидаться. Кому-то с кем-то.

Есть у меня в поселке друзья. Давние, близкие и нежно мной любимые. Мы порой встречаемся. И есть для того место. В просторечии именуется — «гадюшник», небольшой бар в подвале старого корпуса Дома творчества. Открыт ежедневно, кроме понедельника, с шести вечера.

Хорошее место. Можно выпить, нельзя закусить. Но писатели в массе своей, хотя теперь и другие, но семейные, а потому сытые, зачем им закусывать. Просто порой возникает необходимость позволить семье отдохнуть от писателя, а куда еще пойти, не в гости же к кому-то, у кого семья и свои обстоятельства. Для того и гадюшник, красавица барменша... Хорошо. Там я порой со своими друзьями и встречаюсь.

И вот однажды, тоскливым и дождливым летним вечером я туда отправился — мне некуда было деться. Друзья мои уже там сидели, видимо, давно и было им явно хорошо. Я к ним подсел, а они меня не сразу разглядели. Дым плавал над столиками. Не нужно опаздывать.

Я посидел, послушал — очень было интересно. Я услышал потрясающую историю. И меня осенило: да ведь про них надо написать, люди замечательные, разговор — не придумать, готовый рассказ!

Я прервал их беседу и сообщил о своем намерении. Они на меня посмотрели: а ты, мол, откуда взялся? Рассказ — про нас? Куда тебе, мы ни в какую прозу не влезем. А, я попробую, говорю. Мы побились об заклад. Ставка известная. Уже по дороге домой я все обдумал и название передо мной загорелось. А это всегда очень важно. Осталось записать.

На самом-то деле рассказ, конечно, существовал и без них, тот самый — о любви, и не хватало именно того, что они мне в тот вечер подарили. Но это я потом осознал...

Утром сел за стол, за два-три дня набросал, потом еще дня три повозился, несколько раз перепечатал... «Русские мальчики. Рассказ о любви».

Когда кончаешь работу, порой возникает странное ощущение, оно не долгое — день-другой, неделя, редко, чтоб месяц. Но бывает: очень написанное автору нравится. Классика — «Ай да Пушкин!» Медовый месяц!

Замечательное ощущение. Награда. Со всеми случается. В тот раз я подумал: почему, собственно, я должен дарить такое замечательное сочинение, работал я вполне профессионально, да и не про них рассказ — он о любви... Жалко отдавать для домашнего употребления, он мне дорого достался, прочтут в журнале, будет им сюрприз.

Но одно дело такое вымечтать, а другое осуществить, сегодня трудно, а для меня и совсем не просто, нет у меня связей и, скажем, положения в литературе.

Звонят из Пен-клуба, приглашают на мероприятие. Прихожу, настроение приподнятое: ай да Пушкин! Как дела, спрашивает старый мой товарищ Окуджава. Так он обычно спрашивал: «Ну как де-ла?» Вроде бы по-светски, но в то же время заинтересованно. Написал, говорю, замечательный рассказ, представляешь, рассказ о любви и — получился. Даже не из хвастовства сказал — не мог справиться с хорошим настроением, удержать его. Медовый месяц!

Сказал — и понял: не следовало говорить. Нельзя товарищам, коллегам такое говорить. Бестактность. Я ставлю его тем самым в сложное положение. Что он должен ответить? Поздравляю, мол, дай почитать. А что он еще может сказать?

Дело тут в том, что литераторы, как известно, не любят читать друг друга. По целому ряду соображений. Прежде всего — неохота, времени нет, а кроме того, попадаешь, как в тюрьме говорят, «в непонятное». Другое дело, если прочел в журнале, в вышедшей книжке. Автор не знает — прочел ты или нет, ты свободен: захочешь, скажешь, а не захочешь — промолчишь. А тут попался, надо читать и высказывать свое мнение. А это не всегда просто, тем более, если отношения хорошие. Врать не хочешь, а правду говорить — тем более. Лучше отвертеться.

Я это сразу понял: у Булата тень в глазах мелькнула. Мы были старыми товарищами, сорок лет дружбы, но к моим сочинениям у него всегда было сложное отношение. Он, кстати, был прямым человеком в отношениях с друзьями. Потому в тот раз, в Пен-клубе, он явно заскучал. Но человек был умный и, несомненно, решительный, а потому ответил на мое хвастовство точным и четким вопросом: «А где ты собираешься печатать?»

Я его понял. После такого вопроса и речи не могло быть о том, чтоб давать ему читать. Зачем? Не было у Окуджавы ни издательства, ни журнала. Где? Понятия, говорю, не имею, мне негде. А вон Сережа Чупринин, говорит Булат, редактор журнала, сейчас мы ему скажем.

Подходит Чупринин, очень с Окуджавой почтителен и нежен. Вы не знакомы? — спрашивает Булат. А как же, говорю, он мой роман зарезал. Я не читал ваш роман, говорит Чупринин. Значит, Наташа Иванова, ваш заместитель. Я тоже не читала, говорит Наташа. И она тут. Кто ж его тогда зарезал? — недоумеваю я.

Булат понял, что разговор становится опасным: предлагают быть экспертом, а уж роман он явно читать не хочет. Погодите, погодите, говорит он, причем тут роман, речь о рассказе. Сколько там страниц, спрашивает он меня, я позабыл? Двадцать, говорю, через два интервала. Вот видите, говорит Булат, всего двадцать, рассказ замечательный и как раз для «Знамени». Так в чем проблема, говорит Чупринин, приносите. Прямо вам, спрашиваю, у вас же субординация? А у нас демократия, отвечает, кому хотите, хоть мне, хоть Наташе Ивановой, хоть Алене Холмогоровой. Нет, говорю, лучше вам, это мужской рассказ.

Тут, на самом деле, вот в чем ситуация. Есть в истории литературы XX века такой прецедент, если хотите, полная аналогия, прочитал у Фолкнера. История о том, как Фолкнер стал писателем. Правда едва ли следует верить великим писателям буквально, они сами создают о себе мифы. У меня, помню, была фотография Фолкнера, не такая знаменитая, как модный в ту пору Хемингуэй в свитере, но тоже известная: Фолкнер в мятом пиджаке и мятых штанах, в грубых ботинках стоит у сарая. Мне фотография очень нравилась, я вставил ее в рамочку и повесил на стену. Приходит как-то Мика Гольшев, знаменитый переводчик Фолкнера: «И у тебя эта фотография? Пижон все-таки Фолкнер...» «Почему?» — удивился я. «А ты приглядишься. Видишь, воротничок торчит? У него и манжеты, непременно, крахмальные...»

Думаю, Гольшев был прав, наверно, Фолкнер на фотографии стоит не у сарая, а возле конюшни, а там скаковые лошади, рядом ранчо, как и положено такому южанину — роскошный дом с камином и старинной мебелью. Но я не об этом.

История такая. Занимался якобы Фолкнер в молодости бутлегерством, возил виску с Кубы во Флориду. Сухой закон в Штатах. Я не очень в это верю, может, однажды для интереса. Едва ли был профессионалом. Не похоже. Жил он тогда в Новом Орлеане, делать ему было нечего, а потому целыми днями пил эту самую виску. Познакомился с Шервудом Андерсоном. Что тот — знаменитый писатель, их классик, он тогда якобы не знал и его это не занимало. Андерсон был много старше — просто интересный человек, с ним было хорошо пить и разговаривать. С утра Андерсон не появлялся, видимо, работал, — а начиная с полудня и до вечера они переходили из салуна в салун. И

Фолкнер подумал: как хорошо быть писателем, несомненно лучше, чем заниматься бутлегерством.

Почему бы не попробовать? Закрылся дома и целый месяц писал. Речь, очевидно, идет о «Солдатской награде» — первый роман, еще не настоящий Фолкнер, роман о потерянном поколении, как «Прощай, оружие!» и «Три товарища».

Через месяц Фолкнер вышел из дома и встретил жену Андерсона. Что это вас не видно, говорит она, Шервуд беспокоится, не заболели ли? А я пишу роман, сказал Фолкнер. Она помолчала. Вы, наверно, захотите, чтоб Шервуд, его прочел? Why not, ответил Фолкнер, и отправился дописывать.

Еще через месяц он роман закончил, опять вышел из дома и снова встретил жену Андерсона. Как в сказке. Закончили? — спросила она. Шервуд просил вам передать, что если вы не будете настаивать на том, чтоб он его прочел, он отправит книгу своему издателю и роман напечатает. Фолкнер не настаивал. Книга вышла, он стал писателем, а с Шервудом больше не встречался. Нет, они якобы увиделись незадолго до смерти Андерсона.

Так это было или не так, но история в своем роде замечательная и поначалу очень на мою похожа.

Я отнес рассказ в «Знамя», и тут началась никак не фолкнеровская, совсем другая история.

Мы встретились с Чуприниным случайно, дней через десять в Доме литераторов.

Поздравляю, сказал он, рассказ замечательный. Ура, сказал я, в каком номере вы его напечатаете? А я хотел попросить у вас разрешение напечатать рассказ в двух экземплярах — мне и моей жене. Не понял, сказал я, а как же тираж? Вы плохо знаете историю нашей литературы, сказал Чупринин, помните, Евтушенко в автобиографии вспоминает о публикации «Бабьего яра»? Я не помнил. Как же, сказал Чупринин, он принес в «Литгазету» стихи, и редактор — тогда был, кажется, Косолапов, сказал: в двух экземплярах — мне и жене. Но Евтушенко был не прост, отправился в ЦК, устроил скандал, стихи напечатали, и Евтушенко стал еще более знаменитым. Но я не Евтушенко, сказал я, и это не «Бабий яр», всего лишь рассказ о любви, а ЦК уже давно нет. Да и в чем проблема?

У вас в рассказе, сказал Чупринин, три героя действуют под их собственными именами, все они наши авторы и

мои друзья. Ну и что, сказал я, они и мои друзья, я знаю их давно, вы еще в школу ходили, очень люблю и ничего плохого о них не написал, не говоря уже о том, что вся эта история с их слов. Нет, сказал редактор, вы не знаете писателей, неизвестно, как они к этому отнесутся сегодня, а кроме того... Что еще? — спросил я. А еще у каждого из них есть жена, а это уже совсем непредсказуемо. Что же делать? — спросил я, — мне еще надо думать о чужих женах? А вы хотите, чтоб я о них думал? — ответил редактор.

Что же все-таки делать? — недоумевал я. Понятия не имею, но делать что-то нужно. Можете заменить псевдонимами?

Я не мог. Рассказ жил во мне таким, каким был написан, и это казалось невозможным. Невозможно заменить псевдонимами, тогда надо писать характеры, а тут каждое подлинное имя, как знак — все ясно. Тогда я еще не читал Довлатова, мне совсем недавно подарили его трехтомник, знай я его, быть может, так бы и поступил. Довлатов делает это изящно и остроумно. Помните — в «Филиале», конференция наших эмигрантов в Лос-Анжелесе? Некрасов назван Панаевым, Шрагин — Шагиным, а Наум Коржавин — Рувимом Ковригиным. Мне это не пришло в голову.

Хорошо, придумал я, наберите рассказ и пошлите дорогим вам авторам, убежден, они возражать не станут. Нет, сказал Чупринин, если я им пошлю, это значит, что я взял ответственность на себя. А вы хотите, чтоб она была на мне? Конечно, сказал редактор. Что ж, я буду стучаться к ним в дверь и... Он пожал плечами.

Тоска. Я представил себя, спрашивающим у них разрешения... Это было невысказано.

Через неделю редактор позвонил: Придумали? Нет, сказал я. Ну, как хотите.

Где-то во мне закрадывалась мысль, что, наверно, он прав, но согласиться с этим я был не в состоянии. Идти в другой журнал мне не хотелось, там могло быть то же самое: их везде любят и они у всех авторы. И вообще это надо было решать принципиально.

А не начать ли... с пробы? Как Раскольников с Аленой Ивановной?

Я отправился к одному из героев, к тому, кто жил в Москве поближе. Сделал это вполне грамотно: в одном кармане у меня была рукопись, в другом — бутылка.

Мы выпили бутылку, я вытащил рассказ и — прочитал. Ему и его жене.

Конечно, я понимал, что опыт не чистый: выпили мою бутылку, не ругать же меня? Они меня похвалили, правда, сдержанно.

Ты же не собираешься это печатать? — спросила жена. Была, мол, такая мысль, лицемерно сказал я. Нет, серьезно, продолжала она, рассказ хороший, но *они* тебя убьют, а *их жены*... Ты понимаешь, *что* они с тобой сделают? Я не понимал.

Муж говорил более мягко. Один из *них* обязательно будет вязаться к мелочам, сказал он. Ты, скажем, пишешь, что я, якобы, налил ему стакан, а он возразит: никогда больше полстакана он мне не наливал...

И все-таки — можно было так считать — первая *проба* прошла положительно.

Тем же вечером я позвонил второму герою и все ему в подробностях рассказал. Не говоря уже о том, настаивал я, что это *ваша* история, я ничего там не сочинял. Реакция его была четкой: твой редактор обалдел, сказал он решительно, не думает же он, что я стану цензуровать твой рассказ, пиши, что хочешь. Только одна просьба: не нарушай баланс моих семейных отношений... Последнее соображение было для меня таким страшным, что я счел необходимым пропустить его мимо ушей, и следующим же утром позвонил редактору.

Два героя есть, сказал я, одному я прочел и они с женой одобрили. А второй сказал, что и читать не хочет. Он мне доверяет. А третий? — спросил редактор. Эти двое мне не так уж и обязательны, они переживут, а третий... Он очень ранимый, к тому же сейчас болен, мне он особенно дорог, а кроме того, его жена...

У Довлатова именно так и написано о Коржавине. Его ждут на конференции в Лос-Анжелесе, он опаздывает, вот-вот придет, и все кричат: не обижайте Ковригина, Рунечка такой ранимый, его можно только хвалить! И Некрасов-Панаев замечает: да, он очень ранимый, он недавно ругал имярека последними словами, а когда его все-таки усовестили, заставили извиниться, сказал: может, я и погорячился, но он все равно — говно.

Нет, к третьему я пойти не мог. У меня на это сил не было.

Ну, как хотите, жестко сказал редактор.

А мне стало уже все равно: медовый месяц кончился, подумаешь, рассказ, у меня лежат в столе четыре романа, их никто не хочет печатать, ну, будет еще один рассказ.

Помру — напечатают, думал я злорадно, как Том Сойер.

И, действительно, забыл о нем. Весна у меня была хорошей, замечательной, я удивительным образом попал в Италию, а потом — в Париж, Бог с ним, с рассказом.

Как-то летом, вернувшись из своего путешествия, я случайно столкнулся на переделкинской дорожке с третьим героем. Слушай, говорит, я узнал, ты написал про меня рассказ, что ж не даешь почитать? Чего его читать, говорю, его все равно не напечатают, очень все тебя боятся. Но ты же написал, я должен прочесть, мало ли что там...

Поскольку мне все это было уже совсем не интересно, я спокойно рассказ ему занес. Жена встретила меня сурово, держала за ошейник собаку, она рвалась, скалила зубы — маленькая, а вредная. У нас собака злая, сказала жена, смотри, если что не так... Шутка, видимо.

Я зашел через неделю готовый ко всему и, разумеется, без бутылки: обругают, какая им бутылка.

И тут произошло чудо: меня встретили, как родного, собака виляла хвостом, меня усадили, как почетного гостя, жена налила чаю, они сделали незначительные замечания...

Я был потрясен. Может, рассказ и правда хороший? — подумал я с удивлением.

И позвонил редактору. Третий окоп взят, сказал я, что теперь? А, теперь будем печатать, я же вам сказал. Он был очень элегантен.

Но это еще не вся история... Журнал — не газета, процесс идет три месяца, а кроме того, там своя очередь, что-то вставляют, что-то вылетает... Месяц, другой, третий... Наконец — звонок: верстка.

Никакой радости я не испытал, что-то меня томило и грызло. Я понял: герой, который не собирался меня цензурировать. Я его давно знаю, нежно люблю, конечно, он мне разрешил, но ведь не читал... Какая-то была в этом неловкость.

Но я все не решался. Предчувствие. Однажды он позвонил сам рано утром: срочно приходи. Я понял, дело неотложное. И опять поступил грамотно: сбегал в магазин, в одном кармане рассказ, в другом...

Срочность встречи на самом деле была в том, что ждать

невозможно, а пить в одиночку писатели не любят — нужен собеседник, или, скажем, соучастник. В тот раз он меня не дождался. Ждать, конечно, тоже нелепо.

Мы замечательно сидели, у него оставалось, а у меня нетронутое. Я был четок и, как мне показалось, выбрал нужный момент: уже пора, но еще и не поздно. Прочти, говорю, рассказ, а то все читали, кроме тебя. Хотя, может, ты сейчас не в состоянии, тогда не нужно... Я всегда в состоянии, сказал он, а в таком — особенно, у меня только обостряется интуиция.

Пьющие люди за рулем всегда утверждают, что у них обостряется автоматика. Хотя, думаю, он едва ли тогда усидел бы за рулем.

Читал он быстро, листал — и тут же поймал опечатку: русского языка, говорит, не знаешь. Я нацмен, говорю, мне простительно. Очень, говорит, ты хорошо написал про этого, того, другого. Молодец. Старался, говорю. И тут он замолчал, засопел... Брось, говорю, охота тебе, все уже понятно, дальше ты знаешь, сам рассказывал, лучше поговорим, когда, мол, еще... Нет, говорит, я уж дочитаю.

Я понял, что попался.

Он перевернул последнюю страницу, налил последний стакан, выпил и посмотрел мне в глаза: «Только после моей смерти», — сказал он.

Что было делать? Звонить Чупринину, снимать рассказ — накануне мне сообщили, что пошла уже сверка. Глупость, думал я, он сам мне весь этот сюжет пересказывал, вместе смеялись, они мне *заказали* рассказ, да и нет там ничего для него обидного, и рассказ не о том... Валяет дурака, к тому же явно не прочитал, выхватил какие-то фразы, ничего он не мог понять, я и сам с трудом вспоминал эту нашу встречу...

Я не позвонил Чупринину. Рассказ напечатали. Я поехал за номером не сразу.

Он позвонил мне еще через месяц. Глубокой ночью, после часа. Рассказ он так и не читал, просто узнал, что его напечатали. Разговор был тяжелый, я не могу воспроизвести его буквально. Он бросил трубку.

Утром я написал ему письмо — прямо для литературного музея. Если там когда-то состоится моя или его экспозиция. Я признавал себя виновным, я понимал, что мне нет прощения, хотя позволил себе намекнуть на то, что рассказ он все-таки не прочел и там о другом. Я писал, что

самое тяжелое для меня — потеря многолетней дружбы, а я знаю, что это такое. Я был вполне искренен.

Письмо было на машинке, я отправил его почтой из Москвы в Переделкино. Расстояние большое и письмо шло две недели.

Через две недели ночью он мне позвонил. Забыли, сказал он, проехали. А дальше по Манделю-Ковригину. Верней, по Довлатову. Не для печати.

Вот и вся история. Рассказ опубликовали, дружбу мы сохранили и, надеюсь, любим друг друга. Но все равно грустно, хотя когда я начинал вспоминать историю рассказа, мне она казалась смешной.

Чупринин был, пожалуй, прав. Еще больше прав Довлатов. Но я его, к своей беде, тогда не знал. Мне подарили книги всего полгода назад. Кабы раньше, хотя бы два года назад, кабы еще раньше... Не повезло, что делать. Впрочем, едва ли дело в Довлатове, пусть он и очень хороший писатель. Причина другая, и она... Нет, это для следующего сочинения, если хватит юмора. По отношению к самому себе, разумеется. А здесь печаль в том, что рассказ не о *русских мальчиках*, не о тех героях, из-за которых сырбор — он о *любви*. А никто того не понял. Стало быть, не получилось.

И Булат умер, а я не успел ему рассказ подарить. Очень грустно.

Нет, я не солгал в рассказе, день был на самом деле счастливым: странный, нелепый, грустный — такой красивый день. В своем роде — единственный. *Прощание*.

А этого никто не понял, да и я не сразу осознал. Русские мальчишки, водка, писательские разговоры и отношения — какие пустяки...

У меня сердце разорвалось — разве это запишешь.

Вот оно — *поражение*.

ВЕТЬ, ПОЛНАЯ ЦВЕТОВ И ЛИСТЬЕВ

Я проснулся и понял, что умираю. Я не мог шевельнуться — у меня не было на это сил. Я не мог открыть глаза, потому как все начинало вращаться и меня брала оторопь. Я не мог поднять голову, потому что сердце тут же оказывалось в желудке, а это было невыносимо. Не мог сбросить одеяло — это и значило шевельнуться. Я не мог..

В голове прыгало и звенело, а я всегда думал, это будет тихо. Стало быть, или это не то, или так и должно быть.

Но время шло, а ничто не менялось: я не мог того, этого, все звенело и посверкивало, и я подумал: а откуда я все это знаю? То есть в том, что происходит и что, несомненно, есть свидетельство конца, почему-то нет для меня ничего нового. Такое бывало, и не однажды. Бывало очень давно, пожалуй, еще в юности, когда не могло быть никаких видимых, непреодолимых причин помирать, а я именно помирал — не мог шевельнуться, открыть глаза, не мог отбросить одеяло, но уже тогда знал, что надо делать...

О, великое знание жизни, о, то, что называют опытом!.. Я вспомнил, что следует делать. Надо *обмануть*. Лежать тихо-тихо, не двигаться по возможности, не пугаться, но главное, прикинуться мертвым — и *оно* уйдет, отойдет, забудет про меня, а я постепенно...

Что же я вчерапил, стал вспоминать я. Сначала шампанское. Я не люблю его, побаиваюсь последствий, и всегда стараюсь отвернуться, когда выносят. Но тут было жарко, хотелось пить, а ничего больше, как я понял, не светило. Да и откуда что-то приличное могло там быть?

Я поднимался по переулку, убей меня, не вспомнить, как он называется. Их вроде бы семь — лезут от Трубной, от Цветного вверх к Сретенке. Вот по одному из них я тихонько поднимался, вспоминал, что где-то тут жил мой старый товарищ, который никогда не предложил бы мне такого отвратительного напитка. Жил он на втором этаже (может, на третьем?), дверь в квартиру никогда не запира-

лась, хотя это была коммуналка, а дверь в комнату тем более. Двери обычно открывали ногой, руки всегда были заняты, не приведи Господи уронить.

Если он был один, то всегда сидел нахохлившись над какой-нибудь книгой, черный клок закрывал глаза, босые ноги на соседнем стуле, а в темноватой, заваленной пыльными книгами комнате клубилось, плотнело скрученное в жгут время. Так он и написал: «О время, скрученное в жгут!»

Он поднимал голову, не обращая никакого внимания на то, как я осторожно или со стуком освобождаю руки, и говорил, продолжая наш предыдущий (не важно, закончившийся накануне или неделю назад) разговор прямо с запятой: «...я и прошлый раз знал, что ты все напутал, почти хотя бы Тацита и тебе станет ясно, что римляне никогда не могли, даже если бы очень захотели, никогда не смогли бы, как, впрочем, и большевики...» Или что-то еще приличествующее моменту: о грехах, первохристианах или лагерных стукачах...

Он давно умер, и время без него никогда уже для меня так не клубится и не плотнится.

Обратно реки не текут,
два раза люди не живут.

Я никак не мог вспомнить, в каком переулке был его дом, а потому, пока поднимался, заглядывал во все подворотни.

Вот в одной из них все это и началось.

Подворотня была как подворотня — сырая и прохладная. Я глянул в нее и поразился. Она была перегорожена разноцветными флажками, нанизанными на веревочку, во дворе что-то происходило: ходили люди, бегали дети, пахло дымком и еще чем-то, сразу не понять.

Я шагнул в подворотню, подошел к флажкам, нагнулся и пролез под ними. На меня никто не обратил внимания.

Двор являл собой неправильный четырехугольник: обшарпанные стены, окна жилые — с занавесками, и явно нежилые — с выбитыми стеклами... Но дело было не в этом: на стенах висели картины, одна стена сплошь в них, на второй — поменьше, на третьей — даже окна завешаны на уровне второго этажа, на четвертой — плакаты...

На земле, выложенный белыми камушками, лабиринт, разбросаны цветы, в углу, возле большого тополя, дымился костер, пахло...

— Привет! — окликнули меня.

Я обернулся: толстый, в очках тянул лапу, я понятия не имел, кто он такой.

— Здорово, — сказал я, — а что тут у вас?

Он засмеялся, видно, я сказал что-то остроумное, и потащил в угол, к дымящемуся костру. Костер затухал, на угольях лежали яблоки, их ворочали железным прутом.

— Ты чего пьешь? — спросил толстый.

Я не успел ответить, молодая женщина, высокая и стройная, с копной выющихся темных волос, в открытом длинном до пят платье, протягивала мне железную кружку.

— Спасибо, что пришли, — она улыбалась. — Простите, я не успела вас пригласить, не могла найти, а тут столько всего было, пока мы все это...

— Меня трудно найти, — сказал я.

— Нет, правда, я очень, очень вам рада, — одно плечо у нее открылось, такая трогательная ключица...

Я взял у нее кружку. Конечно, шампанское. Вот тогда я его и выпил, с того все и покатилося. Шампанское было теплым и сладким, но я выпил его послушно, потому что в детстве мама учила меня вежливости. А что я мог сделать? Отказаться я не мог, но мог хотя бы не торопиться, потянуть, подержать кружку и о чем-то спросить: что, мол, тут и кто... Еще бы минута — и ничего бы не произошло, потому что ровно через минуту появился толстый с такой же кружкой.

— Давай, — сказал он, — специально для тебя и только для тебя.

Ну, если для меня, а мама учила... Я выпил. В кружке была водка. Тоже теплая, но не сладкая. То, что нужно. Мне сразу стало хорошо, и я понял, что они встретились — водка и шампанское. Едва ли они слишком любили друг друга, но мне вдруг все стало безразлично, к тому же я не занимаюсь чужими делами и чужими отношениями. Сами разберутся.

— Иди-ка сюда, — сказал толстый, — я тебя познакомлю...

Дальше было, как бывает всегда, и вспоминать об этом совершенно неинтересно, да я и не помнил никаких подробностей. Кому-то я жал руки, кого-то я знал, а ни за что

не вспомнить, кто-то почему-то знал меня и был старым моим другом...

Кружка не высыхала, хотя иногда в ней оказывалось нечто «сухое», а потом что-то явно сладкое. Потом опять водка, и тогда я приходил в себя. Но ненадолго.

Я опомнился, потому что вдруг стало тихо и печально. Народ явно расходился. Смеркалось. Солнце блеснуло на одной из стен, и я впервые увидел живопись — то, ради чего все здесь происходило.

Пожалуй, я все это когда-то... Нет, те, которые «когда-то», были получше — ярче, азартней, веселей, отчаянней. Остановишься и не отойдешь. А тут... Постпостмодернизм, постнонконформизм... Хотя в той, в которую сейчас било солнце, что-то такое...

— Как вам? — Опять она: высокая, лохматая, в платье до пят, уже окончательно сползшем с плеча, тоже прилебывала из кружки.

У Фолкнера кто-то говорит, что если раздеть высокую стройную женщину, открывается нечто удивительное и неожиданное. А я люблю Фолкнера.

— Очень красиво, — сказал я, — замечательно. Я бы купил, но, наверно, дорого, а я поиздержался, без средств, пока еще...

Она посмотрела на меня.

— А что вам нравится?

— Вот эта, — сказал я, — и... та, что рядом.

Она взглянула внимательней.

— Они уже проданы.

— Я так и думал, — сказал я.

Поразительно, что все это запомнилось, хотя я не знал, каким образом в конце концов попал домой — да и дома ли я?... Но если все так подробно и складно, может, тогда вообще все в порядке — отбросить одеяло, встать, раздернуть занавески, а там, за шкафом у меня всегда припрятано...

Нет, еще не пора, оно где-то рядом — переждать, нельзя торопиться, вчера поспешил — и что? К тому же было интересно досмотреть, довспомнить. Подворотня, вернисаж, железная кружка, высокая с голым плечом — а дальше?

Дальше был провал, и я никак не мог связать...

Значит, так: высокая в платье до пят от меня отошла и я остался один... Почему один? Нет, один я не был, кто-то со мной говорил, я отвечал, участвовал во всем, что там

происходило, брал и отдавал кружку... Но провал был несомненный, потому что в какой-то момент я очнулся и услышал: «Его надо проводить, он не дойдет...» — «А ты можешь его дотащить?..»

Наверно, это меня надо было проводить, потому что я мог не прийти. Очень трогательно: пригтели, напоили и хотят доставить домой.

«Но мы же сейчас все к тебе? Возьмем и его, а там...» — «А там вы разойдетесь и мне с ним ночевать?» — «Ну и что? Ты же с ним сю-сю...» — «Ладно тебе...» — «Постой, вон новый кадр, пусть она и...»

Видимо, моя душа витала над нами и слышала все, что обо мне говорили. Еще не того наслушаюсь, подумал я...

— А я вас знаю... — Голос был тихий, нежный, но посмотреть я не мог, повернуть голову оказалось трудно.

— Конечно, — сказал я, — и я вас...

Она засмеялась, а я, взяв свою голову в руки, повернул ее.

Девочка. Глаза большие, светлые, прямой пробор, коса... Неужто коса? Так не бывает.

— Хотите водки?

— Хочу, — сказал я.

Она подала ту же самую кружку. Удивительная была кружка. Я выпил.

— Я случайно зашла, как знала, что вас увижу.

— Я тоже случайно и, наверно, тоже знал.

Она опять засмеялась. Смеялась она хорошо.

Я уже ничего не видел, солнце на стене потухло, и живописи как не бывало.

— Ты еще живой?.. — Ага, толстый, значит, он все еще здесь. — Она тебя проводит, не переживай, она хорошая.

— Я ее сам, — сказал я.

Встать было трудно, но я справился, и мы выбрались из подворотни.

— Тут метро рядом, — она держала меня за руку, холодная, крепкая ладошка. — Поехали ко мне?

— Вы же собирались меня провожать, — сказал я, — а ко мне можно пешком.

— Мне нужно погулять с собакой. Обязательно. И ко мне интересней.

— Может быть, — сказал я. — А далеко?

— Нет, — сказала она, — я привыкла.

— Ну тогда и я привыкну.

Ехали мы долго. Или нет. Конечно, долго, потому что я засыпал, просыпался и мы куда-то переходили. Но так же твердо я помню, что все время говорил. Но что говорил, о чем... Нет, не вспомнить, что-то много и подробно. Она хорошо слушала, наверно, потому и говорил. Приятно, когда тебя слушают.

О чем же все-таки я говорил, может быть, здесь и была разгадка того, что случилось?..

Наверно, я рассказывал ей о себе, причем начал с самого детства, потому что запомнилось слово «крокет», а крокет мог быть только в моем детстве — откуда еще могло вылететь это слово, больше я с ним никогда не встречался. И еще что-то о море, о ветре, о том, что чувствуешь, когдаходишь в порт после двух недель непрерывной качки в Японском море, в Татарском проливе, о забываемом густом запахе порта, хоть ножом его... И о тюрьме, да, конечно, о дереве на крыше над прогулочным двориком, о чахлах его листочках, а все кажется, они шумят...

Слишком много говорил, но ведь и слишком часто и много прикладывался к железной кружке, а в ней чего только не было. Так что моя болтливость простительна.

Потом пошел дождь.

Как же это он в метро, подумал я, или протечка?

Потом был автобус. Или троллейбус. Не помню.

Странно, она вроде говорила, недалеко?.. Нет, она сказала, что она привыкла. Это ей недалеко. Разные вещи.

Потом вдруг стало совершенно темно, и тут же открылся лифт. Это я тоже запомнил, как и то, что поднимались мы очень долго. Какой же это этаж?

— Он всегда работает? — спросил я.

— Нет, часто стоит. Но я привыкла.

— Конечно, — сказал я, — я тоже привыкну.

— А вы правда не помните, как мы с вами однажды разговаривали и вы дали мне свой телефон? — спросила она.

— Что ж вы не позвонили? — сказал я.

— Я не решилась.

— Очень робка, — сказал я и потянул ее за косу. Коса была тугая и толстая.

Лифт остановился. Мы вышли.

Собачонка залаяла, зарычала, зажегся свет. Кухня как кухня — плита, холодильник, стол, игрушки-побрякушки. Вполне интеллигентно...

Впрочем, у меня сильно кружилась голова и помнил я все это довольно смутно. Но вроде бы так и было. Но, может быть...

— Я одна, — сказала она, — родители месяц как уехали, приедут через два дня.

— У нас много времени, — сказал я.

— Хотите есть? — спросила она.

— Я бы выпил. У вас здесь нет железной кружки?

Она засмеялась. Смеялась она, и правда, от души. В кухне было светло, и я ее наконец рассмотрел: хорошенькая, может быть, слишком хорошенькая. Рюкзачок она сбросила. Джинсы, линялая маечка — под ней явно ничего не было. Вот только коса меня смущала.

— Коньяк, — сказала она.

Коньяк я сегодня не пил, это будет интересно.

Мы выпили, но не из кружки, а из рюмок. Было странно.

— Давайте «на ты», — сказала она, — а то как-то странно.

Мы поцеловались. Губы у нее были теплые и мягкие. Она знала в этом толк. Собачонка под столом схватила меня за ногу.

— А чем ты занимаешься днем, — спросил я, лягнув под столом собачонку, — когда тут родители?

— А я на последнем курсе.

— Живопись? — спросил я.

— Физика.

Какая-то смутная мысль, нет, скорей, воспоминание прошло сквозь меня, но я не мог сообразить, что это.

— Мне с... тобой хорошо, — сказала она задумчиво, — ты замечательно рассказываешь, но я поняла — тебе скверно, да? Ты один?

— Разве я на что-то жаловался, — забеспокоился я, — прости, много выпил и не очень мог себя...

— Нет, нет — что ты! Мне с тобой весело, интересно, ты очень занятный, а с моими сокурсниками, ровесниками — скучно, они... Я люблю друзей отца, с ними...

— А у дедушки твоего нет друзей, — спросил я, это она была явно занятным существом, а я едва ли, — может быть, я знаю кого-то из них?

— Дедушка умер, — сказала она, — он был замечательный.

— Я не сомневаюсь. Наверняка я его знал.

— Ты очень красиво говорил про дерево, которое шумит листвой.

— Да?.. Не помню. Но где-то было сказано про ветвь, полную цветов и листьев. Это она шумит.

— Какая... ветвь?..

Вот тут я, кажется, начал что-то вспоминать. Да, именно тогда я все и вспомнил, а перед тем...

— Может, ты все-таки поешь? — спросила она.

— Давай кофе. Очень освежает. И... смягчает.

— Хорошо, — сказала она, — пусть будет кофе. А потом мы... Ты же останешься, не уйдешь?.. Я только с собачкой, ненадолго...

Дверь стукнула, чашка с кофе стояла передо мной... Я закурил.

Какой-то бред. Может быть, на самом деле всего этого все-таки не было?..

Я поднялся и вышел в коридор. Три закрытые двери. Я толкнул ту, что ближе.

Комната маленькая. Душно пахнет духами, небрежная постель, девичьи тряпки. Она и картошки, наверно, не умеет жарить, подумал я.

На стене большая картина.

Я щелкнул выключателем. Масло. Очень красиво. Речка, большая ветла поднялась над водой, стволы множатся, образуя причудливые фигуры. На толстой ветке, как в седле, прислонившись спиной к стволу, сидит женщина, в опущенной руке раскрытая книга...

Она глядела прямо на меня. Хорошие глаза, подумал я.

Я вернулся на кухню и сел к столу. Пожалуй, следовало выпить. Кофе подождет.

Да, она сидела над самой водой, прислонившись к стволу и обхватив рукой одну из ветвей. Было по-осеннему тихо, солнце спускалось за кромку леса далеко за деревней, а прямо перед ней стояли дома, когда-то там, наверно, был берег реки, а теперь отлогая сторона оврага.

Нет, она не читала, просто листала страницы, каждая была хорошо знакома, глянув, она повторяла ее про себя — так лучше виделся берег, дома на той стороне оврага, кромка леса, спускающееся за ним солнце...

«Пространство спит, влюбленное в пространство...» — шептала она, и ей казалось, она плывет над ручьем, оврагом, ветерок поднимает ее над лесом, а дальше...

Дальше было все равно, об этом совсем не хотелось ду-

мать, да и что думать, все сто раз передумано, выхода не было, а если и был, он ей не по силам. Нет выхода, есть пространство, за ним город, он измучил ее до истерики, кошмарного ощущения липкой грязи, остался где-то там, далеко, она вдыхала ветерок, доносивший запах осоки, мяты, чего-то еще милого, памятного по детству, оно никогда не уходило, согревало, давало силы, надежду... На что? Об этом она и не хотела думать. Она была переполнена, лениво сыта, а что там дальше, да будь что будет, первый раз за долгие уже годы не хотелось думать ни о чем. Пространство спит, а я в нем, и надо прятать в нем свои шаги, пусть будут они легки, как это самое пространство, и не оставляют в нем никаких следов. Мне не надо, мне ничего не надо, я не хочу, что надо, я ничего не хочу, есть у меня право на то, чтоб ничего не хотеть, на то, чтоб всего лишь слушать воду внизу, вдыхать ветерок — *ничего я не хочу*.

Рядом заблеяла коза, она лениво повернула голову, коза смотрела на нее и кричала: «Мм-ет, нет, нет...» «Да, — сказала она про себя. — Не «нет», а «да». Коза была глупа и всего лишь ждала от нее краюхи хлеба, привыкла за неделю. Но спускаться не хотелось, перебьется коза, пусть и все остальные перебьются — я ничего не хочу.

Ниже по ручью бабы полоскали белье, звонко болтали, она не вслушивалась, но тут подняла голову от книги...

«Сука! — пронеслось над ручьем и ударило в дома напротив, на той стороне оврага. — Да она сука последняя!»

«Будет тебе, — урезонивал другой голос, — сболтнула бабка по глупости, а ты...»

«Да ладно тебе, сболтнула! — набирал силу голос. — Видала она его, как он в огород чуть свет вышел, как есть без штанов. Ночевал...»

«Да чего она увидела, твоя бабка, она и доить-то по слепоте не может, третьего дня ведро с молоком опрокинула... Ну и пусть ночевал, муж он ей, вот и ночевал.»

«Будет, не маленькие, тоже соображаем. Пусть муж, сама видала, как привез, баулы ташил, еще ничего из себя. Но через день-то уехал, а этот к ней... Да знаешь ты его, художник, пятый год снимает на той стороне, у Антиповны. Тот уехал, а этот к ней.»

«Ну и пришел — что такого? Знакомый по городу или свояк. Чай гоняли. Знаю я того художника, у него баба молодая, прошлый год ко мне за молоком бегала. Теперь ее, правда, не видать, а он за молоком не ходит.»

«Видишь!»

«Чего видишь-то? Не болтай зря, у нее дочка годоваленькая, целый день с ней нянькается».

«Да ладно тебе — нянькается! Ты на нее погляди, на речку пойти полоскать и то морду красит, видать какая. У нас с тобой на двоих ни одного, а у нее, у суки, двое, обоим яйца крутит. Хотя бы морду ей начистили. И тот, и другой, я б поглядела на нее. Нам бы с тобой на двоих одного, неужель подеремся? К тебе по четным, ко мне по другим, а в субботу в баню втроем — или плохо?..»

«Господи... — выдохнула она, — что ж это?..»

Она подняла руки, закрыть разом вспыхнувшее лицо, книга, раздирая ветки, полетела вниз, шлепнулась в воду, раскрылась и поплыла, тихо оседая на дно.

«Мм-ет, нет, нет!» — кричала коза, повернув к ней бородатую морду.

«Да, да, — шептала она, — да, да...»

Она попыталась спуститься, зацепилась за ветку, юбка треснула, она рванулась сильнее, обдирая ноги, сползла с дерева и кинулась по тропинке к дому...

— Ты заснул?

Я поднял голову. Девушка стояла надо мной, собачонка терлась о мои ноги.

— Чья эта картина? — спросил я.

— Какая картина?

— Там, в комнате. Масло.

— А... Один художник, товарищ отца.

— Я знаю ее, — сказал я.

— Ты не можешь ее знать, она никогда не выставлялась.

— Эту женщину, — сказал я, — ту, что на дереве.

Она села ко мне на колени, как та женщина на ветку, коса щекотала мне щеку.

— Я хочу выпить, — сказала она, — налей коньяку... Знаешь, я поднималась в лифте и думала: открою дверь, а ты тут сидишь, ждешь — как здорово! Расскажи еще что-нибудь про то, как шумит дерево, как...

Какая-то тут была явная путаница. Зачем ей нужно, чтобы я ее ждал? Может, это я что-то сболтнул, пока ехали, про то, что меня никто не ждет, что я как бездомная собака, как голодный, одинокий волк, как... Расслабился, так хочется другой раз, чтоб пожалели...

— Так ты нальешь мне? — сказала она.

— Ты очень много пьешь, мне и то, пожалуй, хватит.

— Это ты много пьешь, но мне нравится, у тебя красиво получается. А я только дома выпила. Там не пила. Почти. Сейчас я напьюсь, как ты, и тогда...

— Та женщина тоже не пила, — сказал я. — Иногда коньяк. Редко.

— Ты не можешь ее знать, — сказала она и засмеялась. — Ну что ты выдумал? Это было очень давно, я еще не родилась или только что родилась. Это моя мама. Они с отцом жили в деревне. Там был этот художник. Он ее написал, а потом подарил отцу. Или им обоим. Он умер, тот художник. Или нет, не знаю. Я давно его не видела. Раньше он приходил к нам.

— Может быть, — сказал я, — но я ее знал, эту женщину. И более того. Она мне очень нравилась. А художник... Да, странно. Я почему-то совсем забыл о нем. Да и зачем он мне?..

— погоди, ты правда их тогда знал? А сколько тебе лет?

— Семьдесят, — сказал я. Подумал и уточнил: — Через полгода сравняется.

Тут мне стало жарко. Под одеялом. Мне стало так жарко и стыдно, что я дернулся и открыл глаза. И тут же закрыл их. Так стало еще хуже: все звенело, сверкало и нечем было дышать. Вот оно, подумалось мне. Наверно, все уже произошло, я уже там, это и есть мытарства, которые нам обещали. Или нет, едва ли — разве это мытарства? Подумаешь, устыдился «уточнения» — всего лишь слабость пожилого господина. А того, что забрался в эту квартиру, — не стыдно? Ничего, там мне все припомнят. И все-таки зачем я это сказал — уточнил?

Я почувствовал, что она напряглась у меня на коленях.

— А ты думала, мне сколько? — спросил я. — Я, понимаешь, хорошо сохранился, тебе даже в голову не пришло, сколько мне лет..

Я выпил, а она поставила свою рюмку на стол и тихонько сползла с моих колен.

— Меня, видишь ли, мама очень хорошо кормила в детстве, — продолжал я. — Обязательно гречневая каша с молоком и клубника, тоже с молоком. Я очень много наел клубники, у меня даже аллергия на нее была. Правда, в самом раннем детстве, потом стало похуже — не то чтобы с клубникой, но и с кашей бывали перебои. Но главное-то в детстве, вон когда все закладывается. Не тебе объяснять, ты же по естественным наукам, сама знаешь...

— Уходи... — сказала она. — Уходите немедленно.
Я налил себе еще, выпил и встал. Меня развернуло.
Она обошла меня и распахнула дверь. Собачонка тявкнула.

Я вышел. Дверь за мной лязгнула.

Лифт я не стал вызывать, еще застряну, она, кстати, говорила что-то про их лифт, а сидеть в нем ночь мне не хотелось. Долго считал этажи, их было слишком много.

Темень, дождь — меня сразу ослепило, да я все равно не понимал, где я и куда идти. А не все ли равно?

Надо ж, я даже не знаю, как ее зовут? Но ведь и она меня не спрашивала — или спросила, а может, знала?..

Не видела она меня, не давал я ей телефона, придумала или спутала. Меня постоянно с кем-то путают. Похож — то на того, то на другого на кого-то. Как же — на кого-то! В барнаульской пересылке было, да нет, не в пересылке, в «воронке», везли на пересылку. Только закинули из «столыпина» в «воронок», набили, как сельдей, а я посредине, в одной руке мешок, другой вцепился в малого, здоровенный такой парняга, держусь за него, чтоб не упасть, трясет, быстро везут — пока там доберешься до тюрьмы на горке... «Слушай, дед...» — говорит малый. А я оброс седой бородой, два месяца этап, считай, два месяца и не брился. «Да ты не дергайся, — говорит, — я тебя удержу. Слушай, а ты академик или писатель?» «А ты как догадался?» — спрашиваю. «По роже видать». «Академик», — сказал я, стыдно было признаваться, что писатель.

Я шлепал под дождем, по какой-то пустой темной улице, вымок сразу до трусов и стал приходить в себя.

Теплый был вчера дождь, июльский. И я вспомнил, как много-много лет назад я тоже так же хорошо шел под дождем. Наверно, мне не было еще восемнадцати. Да, конечно, я поступал в университет, знал, что провалюсь, шел под дождем, спускался к Трубной... Надо же! Сегодня я поднимался, а тогда спускался. Дождь с пузырями лупил по мостовой, на Рождественском бульваре еще не было асфальта — бульджник, а край неба впереди за Страстным был ясным, голубым, солнце катилось, валилось куда-то вбок, к Парку культуры...

Вот-вот, все было точно так же, как сегодня, только наоборот: мне семнадцать, не ночь, а день к вечеру, и я услышал, как в Рождественском монастыре, где все было забито, переломано, запакощено, какие-то склады и кон-

торы, на колокольне, перепутанной черной паутиной, заваленной мусором, зазвонили к всенощной. «Том!» — ударил большой колокол. «Вир-лир-ли!..» — зазвенели тарелочки.

Том Вирлирли! Конечно! Я только что прочитал тогда эту книжку, был влюблен, в моих ушах шумела, шуршала, гремела ветвь, полная цветов и листьев, и я думал, как найду, непременно достану номер телефона и позвоню из автомата. «Юрий Карлович! — скажу я звонко. — Это Том Вирлирли, я в Москве, у меня нет к вам никакого дела, я хочу всего лишь сказать, как благодарен вам за ветвь, шумящую цветами и листьями, за имя, волнующее, как имя Офелия...»

Почему — зачем? Не знаю, я и тогда не знал — зачем и почему. Просто мне было хорошо, я был звонок и весел, влюблен, мне нравилось имя, волнующее, как имя Офелия, и дерево, которое так заманчиво шумело цветами и листьями в той затрепанной книжке. И все было у меня впереди.

Я не узнал номер телефона и не позвонил Олеше. А спустя сколько-то лет всего лишь прикоснулся к его гробу, в крематории на Донском.

Троллейбус взвизгнул, остановился, обдав меня грязной водой из-под колес. Раскрылись двери. Я сел, он был пустой.

— Далеко?! — крикнул водитель.

— А мне все равно, — сказал я.

— Тогда поехали.

Конечно — Юрий Карлович. Мне рассказывал товарищ, я забыл эту историю, а сейчас она всплыла и... Очень все связалось, не развязать. Но это не мое дело, пусть другие распутывают.

Это было в Голицыне, в писательском доме. Он не похож на другие так называемые дома творчества, там не больше десяти — пятнадцати человек. Кажется, ровно тринадцать. Такая вот странная цифра. Я там никогда не жил, но мне рассказывали постояльцы, и я бывал в гостях.

Все очень по-семейному, сидят за большим овальным столом... У кого же я бывал?.. У Домбровского! У того самого, чей дом сегодня, к стыду своему, так и не смог отыскать в переулке, поднимавшемся к Сретенке. Домбровский любил Голицыно, жила там подолгу, писал «Факультет...».

Все очень семейно. Помнится, и чай разливала одна из писательских дам, и самовар, наверно, был... Нет, самовар не помню.

А Домбровский писал роман своей чудовишной клинописью, дикий был почерк. Как-то, получив от него открытку, где и было-то всего три фразы с четким распоряжением явиться в такой-то день и час, я разбирал ее до ломоты в висках. А он нашел в Голицыне, по соседству, в воинской части машинистку, она перепечатывала ему огромную рукопись, а он, по его словам, минуя проходную, лазил к ней через забор, под проволокой, а потом рассказывал, что она оставляет копии в оперчасти...

Сколько тут было правды? Он работал над романом пятнадцать лет, слишком долго для книги, и она, как лешими, обрастала криминальными историями, интригами, невероятными совпадениями и леденящими кровь приключениями. Он придумывал их вдохновенно, сам верил тому, что сочинял, и как было бы роскошно восстановить сегодня этот роман о романе. Наверно, он был бы крупней «Факультета...». Но только в том случае, если бы в нем удалось воскресить Домбровского. А это человеку невозможно.

Машинистка... Я запомнил день рождения Домбровского. Он занимал тогда в Голицыне самую большую комнату, весна в тот год была ранняя, просто лето, куча гостей... Может, был юбилей — 65? Нет, скорее, два-три года спустя. Роман был практически закончен, он знал, что в Москве его не напечатать, шли переговоры с Парижем, Домбровский конспирировал и всем рассказывал об этом под строжайшим секретом... Гости сидели за столом, а рядом с Домбровским место пустовало, он тянул, не начинали, а дамы, которую он ждал, все не было. Наконец, она явилась — та самая машинистка из воинской части, что отдавала копии романа оперу.

Разумеется, не обошлось без скандала. Я слышал, как Наталия Ивановна Столярова, выгатавив Домбровского в коридор, выговаривала ему звенящим от ярости шепотом: «Что же вы делаете, Юрий Осипович! Почему мы должны сидеть за одним столом с человеком, которого вы подозреваете... Я немедленно уезжаю...»

И уехала. А кто же, если не Наталия Ивановна, вел все переговоры с Парижем, да и рукопись ушла, несомненно, через нее.

Но ведь Домбровский-то знал, что все это он придумал: и через забор он не перелезал, и под проволокой не проползал — тоже циркач нашелся! И копии в оперчасти она не оставляла — нужны были в голицынской воинской части копии его романа! Но кто бы еще перепечатал тысячу страниц его клинописи, да и, наверно, не за те деньги, что в Москве, а откуда у Домбровского могли быть деньги — пятнадцать лет писал роман безо всякого договора. На бутылку скидывались...

Что-то долго мы ехали, дождь не кончался, лупил все так же, в темноте не разобрать, где мы, но куда он денется, троллейбус, только по проводам, разве что в парк.

Нет, та история, которую рассказывал мне товарищ, была другая, хотя тоже в Голицыне. И не весна была, а зима.

Они сидели за овальным столом, обедали. Одна семья, хотя вполне может быть, что терпеть не могли друг друга. У писателей непростые отношения. Но что поделать, если свели путевки.

И тут вошел один из постояльцев, пожилой писатель. Товарищ не назвал его имя — не захотел, а может, забыл. Не в том суть.

Вошел он не один, а с девушкой. Молоденькая-молоденькая, с косой. Представляет ее, очень горд и не может не улыбаться. Счастлив. Девушка, естественно, смущена общим вниманием, она в пушистом свитере, на груди, когда поворачивается, олени бьют копытами и шевелят рогами.

Дамы, само собой, поджимают губы, кто-то ухмыляется, кто-то передает ей куски послаще — интрига, сплетня, будет о чем поговорить!

А он, пожилой писатель, болтает не умолкая: барышня заканчивает университет, физик (физик, коса!), не то, что наш брат-бездельник, впереди наука, диссертация, открытия...

«К ужину — шампанское! — говорит пожилой писатель. — Прошу всех быть...»

И выходит со своей дамой.

А на улице зима, пушистый снег. Он стоит на крыльце в яркой шапочке с помпоном, она возится с лыжными креплениями, он помогает ей, суетится, она выезжает за ограду, он ждет на крыльце, нервно курит, она возвращается, щеки горят, из-под шапочки выбились темные локоны,

коса перекинута через грудь, олени сверкают от снега, шевелятся, а он чистит ей мандарины, и на снегу расцветают яркие корки...

Вечером на столе, накрытом белоснежной скатертью, горели свечи, торт, бокалы для шампанского.

Все за столом, очень торжественно — а юбиляра нет.

Ждут пятнадцать минут, двадцать...

«Ну что ж...» — говорит кто-то.

И тут он входит. У него опрокинутое лицо, как сказал бы классик, дрожат губы. Он плюхается на стул, молчит. И все молчат.

«Простите, — говорит пожилой писатель, — простите меня...»

Он комкает салфетку, бросает ее на стол...

И тогда мой товарищ, у него, как и у меня, сложные отношения с шампанским, а потому он захватил, на всякий случай, свою фляжку, достал ее из кармана и налил в бокал водку.

«Выпейте, коллега, — сказал он, — это всегда кстати и очень смягчает».

Пожилой писатель взял бокал, поднес ко рту, рука у него дрогнула, бокал выскользнул и со звоном полетел на пол.

«Эх...» — крикнул мой товарищ.

Пожилой писатель встал.

«Простите меня, — бормотал он, — ради всего, простите! Она — уехала! Понимаете — уехала!..»

Он взмахнул рукой и, прижав салфетку к глазам, вышел. Плечи у него тряслись.

За столом долго молчали.

«Такова жизнь, — сказал мой товарищ, налил водку в другой бокал, а фляжку поставил на стол. — Если кому угодно».

«Угодно, — сказал Юрий Карлович, он сидел в кресле, во главе стола. — Разумеется, угодно, хотя я и предпочитаю коньяк».

За столом все продолжали молчать. Товарищ мой не выдержал и выпил.

Юрий Карлович посмотрел на него.

«Разумеется, вы правы, — сказал он, — водка всегда кстати и она смягчает. Но тут в другое дело».

Он налил себе из фляжки, выпил и вытер губы салфеткой.

«Конечно, — сказал он, — старик должен быть стариком. Но... — он поднял указательный палец. — Но блядь должна быть человеком».

Ушла, подумал я, и на этот раз обманул. Еще чуть-чуть, и можно вставить, где-то у меня было припрятано...

Когда же я вчера вернулся, думал я, нет, не вспомнить. Я даже не помнил, как выбрался из троллейбуса, о чем тогда речь. Да и часов у меня нет.

Еще немного, думал я, минут пять, пусть десять, и тогда, во всяком случае сегодня, *оно* не вернется. Забудет.

ПОВЕРТОН

1

Сон был тяжелый, несмотря на всю его нелепость, мучительный — наверно, надо было проснуться, но ведь интересно и досмотреть. Сам себе я был интересен — а как я из этого выпутаюсь?

Ну как его рассказать — сон? Какая-то в этом пошлость и глупость. К тому же слушать чужие сны невероятно скучно, а их многозначительность, которая рассказчику зачем-то важна, кажется всего лишь болезненным и преувеличенным интересом к самому себе — мне-то, думаешь, зачем? Правда, бывает можно понять, с чем из накануне случившегося сон связан (чаще всего с челухой), а быть может, о чем-то предупреждает? Не знаю, всё это из области, которая мне всегда была словно бы чужой, а потому сам сюжет я восстанавливать не стану, да и не смог бы, хотя глянувшая на меня в мутном стекле рожа явно ничего хорошего не предвещала. Впрочем, я не слишком напугался, засовы в доме, в котором я непонятно каким образом очутился, казались крепкими, но, как известно, и я успел об этом подумать, ни за какими засовами не отсидишься...

Снилась мне моя собака. Померла она тринадцать лет назад, а жила в доме восемнадцать. Долго. Королевские пудели — долгожители, я это всегда знал, но поскольку очень был к нему привязан, а проще сказать — любил его, то боялся, что конец когда-то наступит. Это человеческая жизнь представляется долгой, бесконечной, не говоря о том (или именно поэтому), что нам обещана вечность, а о собаках мы того не знаем.

Звали пуделя — Март, в марте месяце щенком я принес его в шапке в подарок дочери, замучившей меня просьбами о таком щенке, но хватило ей забавы ровно на месяц, а потом он стал моей заботой и печалью. И как чаще бывает в любви — один любит, а другой любовь принимает. Я был у этого пуделя кем-то вроде лакея, он знал,

что может сделать со мной всё, что захочет, а потому будил только меня в семь утра, и я послушно выходил с ним во всякую погоду. А любил он и считал своей хозяйкой не дочь, которой был подарен (и, разумеется, не меня), а бывшую мою жену, потому что навсегда запомнил, что она спасла его в первый год жизни, когда он заболел чумкой, подышал, а она делала ему уколы и выкармливала с ложечки.

Он был, конечно, красив, после помывки длинные шнуры становились розовыми, морда была добродушная, веселая, а к весне делался похож на старый валенок.

Чего только за долгие годы нашей совместной с Мартом жизни ни приключалось, был он, само собой, большой радостью, многие годы зимой мы оставались с ним вдвоем, жили за городом, ему я и обязан своими длинными романами. Встанешь в семь утра, пробежишься по снегу, не в постель же забираться досыпать, затопишь печку, садишься за стол. А он спит на тахте до обеда.

Кстати, о тахте. Избалован Март был до крайности и лет через десять после начала нашей с ним жизни окончательно перебрался на мою тахту. Только, бывало, заснешь, он прыгает; сгонишь его раз, второй, спать хочется, не сражаться же с ним всю ночь. И я сдался. Обычно он забирался к стене и постепенно, упершись в стену лапами, меня сталкивал. Кончилось это полным моим поражением — я перебрался на раскладушку. И как-то, помню, заболел, причем вполне серьезно, со мной это редко, но пришлось вызвать врача — тяжелое воспаление легких. Осень, что ли, была, темно в квартире. «А где больной?» — спрашивает врач, озирается в комнате: на тахте, развалившись, спит Март, ухом не ведет, а я у книжной полки, на раскладушке. Врач остолбенел.

Жена моя бывшая как-то о нем сказала: «Как собака он равен нулю, а как человек — вполне средних способностей».

Верно. Но все-таки — не один. Ночью пусто в поселке, а если кто идет — Март грозно, басисто лает. Сторож! Хотя я понимал, помощи от такого пуделя не будет никакой, его самого надо защищать, он перед всеми вилял хвостом, всех заранее любил, какая уж тут помощь и защита. Очень ему, кстати, нравились офицеры ГБ, проводившие у нас многочасовые обыски, — он перед ними вилял хвостом, чем очень ронял мое гражданское, правозащитное

достоинство, и охотно шел с ними гулять, потому как никого из нас они, само собой, из дома не выпускали, а я их предупредил, что убирать за ним им самим и придется.

Такой вот был королевский большой шнуровой пудель Март, от которого остался мне на память роскошный нежно-розовый свитер, ходить в нем невозможно, жарко, а ночевать на снегу в самый раз. Очевидно, исходя из этого, мне передали этот свитер в тюрьму, а я, помня рассказы Шаламова и понимая, что отдам его только с собственной шкурой, всё время думал лишь о том, как бы от него избавиться, и, наверно, один из самых счастливых дней в тюрьме был тот, когда мне удалось переправить эту драгоценность обратно домой.

Но это не вся история про пуделя Марта, есть тут еще нечто, связанное со снами. Не с этим последним, который едва ли хоть что-нибудь значит, если не считать, что благодаря ему мне и захотелось всю эту историю рассказать, а стало быть, и он не случаен.

А потому, так сказать, в благодарность. Были мы с Мартом якобы в каком-то подвале, Март рылся в тюках и разбрасывал грязные тряпки, я никак не мог понять, что он ищет, но тут в грязное стекло подвала заглянула страшная рожа и Март говорит: «Поехали скорей к Ларисе Богораз...». Почему, думаю, к Ларисе? Бред какой-то. Я ее много лет знаю, очень уважаю, но понятия не имею, где она живет да и чем она может нам тут помочь? Лариса — человек отважный, всякое на своем веку повидала, но каким образом станет она сражаться с этой жуткой рожей? Да и не выбраться нам из подвала, мы тут вроде замурованы, на то и надежда?.. А Март все так же настойчиво, даже требовательно: «Поехали к Богораз, только она нас спасет...». Чушь какая-то. И только проснувшись, я подумал: а с каких это пор Март начал разговаривать? Во сне это меня никак не удивляло.

Разумеется, глупость и пересказывать нелепо. Но поскольку всё дальнейшее спровоцировано именно этим сном, я его оставляю и перехожу к сну следующему.

2

Он опять связан с Мартом. Вчера он мне приснился второй раз. За все эти годы. А первый раз — тринадцать лет назад. Было это в тюрьме, на Матросской тишине. И день

запомнился: в ночь с седьмого на восьмое ноября. Легко запомнить.

Я оказался тогда в больничке. Прошло девять месяцев моего пребывания в тюрьме, конца не предвиделось, мне казалось, так всегда теперь и будет — это и есть моя новая жизнь.

И вот приходит к нам как-то в камеру майор с красивым названием — ДПНСИ (хотя расшифровывается вполне прозаически: дежурный помощник начальника следственного изолятора). Теперь-то я понимаю, что зашел он — поглядеть на меня. Дело шло к суду, и надо было им знать, в каком я виде. А вид у меня, надо полагать, был самый плачевный. Конец сентября, жара не спадала, в камере не продохнуть, ну я и начал доходить. Были мы в трусах, голые, майор на меня глянул, а я всё потом думал — что за странный взгляд, оценивающий и якобы человеческий? Спросил он какую-то ерунду у меня, что-то еще у кого-то другого... «Галочку поставил», — определили мои сокамерники. Так никто и не понял, зачем он явился.

Но в тюрьме случайностей не бывает, у них все просчитано. Я к тому времени уже по всей тюрьме пропутешествовал. Каждое первое число — меня переводят. Был у них такой метод: только пообвыкнешь, притрешься — кормушка открывается: «С вещами!».

Так и случилось уже на следующее утро. «А почему в больничку? — спрашиваю. — Я не просил...» — «Не просился, обратно отведу, а хочешь — на обшак?» — ухмыльнулся старшина.

На обшак я, само собой, не хотел, знал, что это такое, а про больничку наслушался. Все туда хотят: камеры почище, кормят — да и словно бы ближе к воле. Все мечтают, но редко кому удается, болезнь твоя тут никакой роли не играет, разве что начнешь помирать, а косить не пытайся, сердце у тебя болит, давление, что-то с желудком — ответ один: «Тюрьма не санаторий». Едва ли в больничке и главврач решает, можно ли положить, задержать или оставить. Предложить-то предложит, выскажет свои медицинские соображения, или, скажем, ночью, в экстренном случае, когда начальства нет поблизости, до утра, а там все в руках кума, за ним последнее слово. Тяжелый он больной, косит или просто ему надо поменять место по каким-то таинственным кумовским

соображениям, тут высшая математика, и не пытайся хоть что-то понять в тюремных перемещениях... Бывает, конечно, что-то случается, так сказать, в природе, ведут и ведут больных, размякли фельдшера-лепилы, позабыли, где служат, или деваться некуда — болен человек, как бы не крикнул, а с лепилы спросят, не очень строго, но — зачем? Вот и определяют, кладут, кого ни попадя, всех подряд, кладут на пол, под шконки. Не надолго, день-два и всех раскидают — больных, хитроумных да кого бы то ни было...

Нет, конечно, больница — особое место в тюрьме. Всегда так было, сколько порассказывали, понаписали, не зря называют ласково — *больничка*. Хотя те же камеры: железная дверь, кормушка, шконки, решетка на окнах... Те же, да не такие. Стены без «шубы», покрашены светлой масляной краской, белый потолок, простыни — ветхие, изодранные, а чистые, одну меняют после бани. И «ресничек» нет на окнах, сквозь которые, если не отогнуть, и неба не увидишь. А чем ты ее отогнешь, разве что старая, проржавела... А тут — намордник: железный лист сантиметров в двадцати от окна, и если глянуть вбок, увидишь: двор между корпусами, деревья; громыхнул шлюз, от ворот въезжают машины: под вечер воронки везут на сборку новых пассажиров — до глубокой ночи, а утром, с шести до девяти, развозят по судам, на этапы; днем гремят грузовики — везут на кухню картошку, капусту; прошелестит «волга», «жигуль» — начальство пожаловало. Три раза на день баландеры тянут на тележках котлы — плещут щи, выплескивает каша — видать какая; офицеры идут в столовую; в субботу вечером женщин из хозобслужки водят в кино, они собираются под окнами, ждут «воспитателей», пересмеиваются, поглядывают вверх, знают — вся больничка прилипла к окнам — живые бабы! «Здравствуйте, девочки-воровки! — кричат из окон. — Хотя бы чего показали!» — «Я тебе покажу — ослепнешь! — кричат снизу. — Решку прошибешь, если осталось чем...» — «Верно! — кричат сверху. — Воровка никогда не будет прачкой!...»

Женщины — особая материя в тюрьме, а на больничке — сестры, венерическое отделение, мамочки... Глянешь из процедурной в окно, пока сестра готовит шприц: в прогулочном дворике мамочки толкают коляски, сидят на лавочках, запеленутый младенец на руке, курят, жму-

рятся на окна... Месяц-полтора погуляла с младенцем — и на этап, увидит ли его когда-то?.. Что-то удивительное в женском голосе, смехе, в подведенных глазах, а если пощастливится подробней... И кажется из камеры, сбоку через намордник, в открывшуюся кормушку — какие-то они светлые, веселые, — силы в них, что ли больше?

И прогулка на больничке положена два часа, хотя и не соблюдают, а есть право базарить, требовать — отдай мои два часа! И гуляют не на постылой крыше, где ничего, кроме неба в клеточку сквозь ржавую сетку да обрыдшей высоченной трубы, гарь забивает глотку, подыши-ка на крыше... Больничка гуляет внизу, над стенами двориков с одной стороны обшарпанные корпуса — спец, за ним общак со слепыми, затынутыми ржавыми ресничками окнами, а с другой — деревья, психушка, не вольное здание, а всё вольней, и покрашено в яркий зеленый цвет, и окна там посветлей, блестят стекла, решетку едва видно — весело глядят окна без ресничек, без намордников...

Но главное на больничке — пища. Вроде и голода нет сегодня в тюрьме, какой голод, если хлеб остается, не управишься с пайкой, она как глина, вторая выпечка, да и зачем — передача из дома каждый месяц, а повезет, камера маленькая, у всех передачи, ларек... Нет голода. А попадешь в больничку, сразу поймешь, что потихоньку доходишь, доплываешь. Поставят в первый день на весы — мать моя, мамочка, куда ж мой вес делся? То-то штаны сваливались, через день пуговицы перешивал, свитер болтается, как с чужого дяди. А на больничке — каждое утро к пайке белый хлеб по четверть батона, полкружки молока, а девки из хозобслуги наливают полную, масла кусочек, граммов двадцать пять, кружка компота, не сладкий, а сахар свой, добавляй по вкусу, каша — и забыл в камере, что бывает такая! — манная, рис, лапша, и накладывают с верхом. Но главное — мясо. Каждый день перед обедом гремит кормушка и является миска с мясом, по числу зеков, куски в пол-ломтя хлеба — день свинина, день говядина. Редко кто дождет-ся обеда — мясо на хлеб, посоли погуще, а если луковица есть! Кто посолидней, не замечает миски с мясом — а дух идет по всей камере! — ждут обеда, и в горячие щи — шлеп мясо. И каши не надо, сыт. Простое дело, кусок мяса, едва ли в нем граммов сто, пятьдесят, не больше, а через месяц, если продержишься, встанешь на весы —

три килограмма набрал, и ходишь веселей, и руки-ноги на месте.

Одна тягость на больничке, потому многие и не хотят, хотя надо бы, — курить нельзя. Как ведут из отстойника, обязательно разденут догола, перевероят все захоронки — а всё равно пронесят, у каждого свои секреты... «Принес курить?» — первый вопрос в больничной камере. И сразу к окну, подымить.

Много возможностей добыть курево на больничке: из соседней камеры ночью подгонят «коня», поделаться; прогулочный вертухай распахнет дверь, холод, неохота ему гулять: «Ну что, мужики, — гулять или курить?» — «А сколько дашь?» — «Три сигареты на всех». — «Давай, больным людям кислород вредный...» Или заведут в прогулочный дворик после малолеток, у них хорошо с куревом, папа-мама подгоняют, весь дворик заплыван окурками — собирай да суши на батарее, кури, радуйся. А бывает, у кого-то амуры с сестричкой, тогда вся хата с куревом, ждут не дождутся, когда у него процедуры.

И главный страх — выкинут с больнички, отправят обратно, неделю-другую разнежился, нахлебался молока с мясом, снял напряжение, спишь, читаешь книжки, и такой чернотой вспоминается камера, хоть и спец, а если общак... Оттого и мясо другой раз не прожуеть, еще день, еще два — всё равно отправят, сколько можно косить, да хотя б ты был больным — кого это колышет: «Тюрьма не санаторий...».

Что говорить, больничка — это больничка. Чистилище перед воротами ада. А его тебе всё равно не миновать. Может, следовало бы начинать путь зека с такого чистилища — с больнички? Чтоб как-то пригляделся, хоть что-то бы понял, чтоб не сразу головой в... Нет, пожалуй, прямо с воли ничего он не поймет, не оценит — да куда там!

Вот в больничке я и увидел свой первый сон о Марте. Тринадцать лет назад, в ночь с седьмого на восьмое ноября.

Ничего особо интересного в том сне, на самом деле, не было, если бы... Короче, снится мне Март, молодой, красивый... В последние-то годы, а уж когда уходил я от него в тюрьму — совсем он был старенький, пыльный, ворчливый валенок. А тут, во сне — прыгает и играет со мной. Я проснулся, был растроган — пообщался с существом, которое очень любил. Рассказываю мужикам про

свою собаку, про сон, про то-се. В тюрьме любят рассказы о доме, слушаешь — и вроде у себя дома побывал.

Ну, рассказал и забыл, эка невидаль, сон. А через два месяца у меня суд, дают мне либерально пять лет ссылки, что связано с какой-то перестройкой, а потому удивительно, что вовсе не отпустили, мне это в голову тогда не влетело — какая там перестройка, Горбачев, обыкновенная ихняя хитрость. Ничего ведь в тюрьме не изменилось, как бы не стало хуже.

Но все-таки ссылка, не лагерь. И приходят ко мне на свидание дочь, сестра и два внука. Одному почти четыре года — Филя, а другой родился в тот день, когда меня уводили — Тимофей. Год я про них ничего не знал.

Свидание как свидание, положено после суда. Во главе стола сидит некто неопределенный в штатском, по одну сторону милые мои родственники, я — по другую, сестра сняла часы, положила передо мной, чтоб следил за временем, либерально дают час. Но он быстро летит, кто да что, как здоровье, дела, какие-то хитрые я задаю вопросы, мне так же хитро, намеками отвечают, ничего не понять, а «некто» следит внимательно и фиксирует на бумажке. Филя — шустрый мальчуган, ему скучно, сначала хотел под столом пролезть ко мне, не пустили, крутится. «Ну, а как твои отношения с Мартиком, — спрашиваю, — дружите, играете или он совсем старый, ворчливый?» — «Да он помер, дедушка, — говорит Филя, — теперь его нет». Дочь ему — шелк по затылку. «Мы, — говорит, — тебе не хотели сообщать...» — «Когда ж это случилось?» — тоска меня взяла и мысль мелькнула: хорошо не при мне, надо ж, и тут повезло.

«Восьмого ноября, — говорит дочь, — под утро. С седьмого на восьмое. Витька его отвез с Сережей... Ну, ты знаешь, Сережа, у которого машина... Возле дачи закопали, весной мы там дубок посадим, может, приживется...»

Я несколько оторопел. «Мне он снился, — говорю, — в ночь с седьмого на восьмое...» Они, по-моему, не поверили.

Вот и говори после этого про сны: глупость это всё или что-то там есть. И я вспомнил тогда, что был у меня однажды по-настоящему удивительный сон, скажем так — пророческий, и думаю, к тому, о чем я хочу рассказать, имеет он уже самое прямое и непосредственное отношение. Вот ведь как, а сначала казалось, глупость, и вспоминать стыдно.

Была у нас знакомая француженка. Очень красивая молодая женщина, высокая, стройная, с прямыми и светлыми глазами, веселая и отважная. Она любила Россию, бывала не однажды, а в последние годы нашей с ней дружбы вышла замуж за французского консула, она и сама в ту пору работала в посольстве.

Вероника была, пожалуй, первой моей иностранной знакомой, всегда останавливал языковой барьер. А тут совершенно свой, во всем близкий, очаровательный человек. Мы много встречались у наших общих друзей, у нас, где-то еще. А когда она вышла замуж — у нее, и хотя понимали, что встречи эти непременно фиксируются, размышлять об этом не хотелось. Пытались, пытались жить, как сказано: в несвободной стране как свободные люди. К тому же в пору самиздата связь с Западом была совершенно необходима, а Вероника откликалась на это охотно, с полным бесстрашием и азартом. Я как-то сказал ее мужу Жерару, они приехали к нам с очередными книгами: «А ведь вас за эти шалости отсюда вышлют». Он ответил очень красиво: «Это будет для нас честью».

Еще через полгода их, разумеется, выслали. Это, кстати, была не совсем обычная ситуация, иностранные дипломаты очень дорожили работой в Москве, и только немногие такие вещи себе позволяли.

Но это не сразу с ними случилось, а тут Вероника уехала в очередной отпуск в Париж, я знал, когда она должна вернуться, и через день после ее возвращения, как считал, очень грамотно, позвонил ей из автомата. Почему уж мне не пришло в голову, что если автомат в дачном поселке вполне надежен, то квартира в посольском доме с той же степенью вероятности никак, скажем, не кошерна. Помутнение. Хотя я считал себя очень аккуратным, хвастался, что у меня солженицынская школа, и был, как мне казалось, в таких делах четким.

Впрочем, подобные накладки случались не только со мной. Помню замечательную историю с Натальей Ивановной Столяровой — героиней «Архипелага» и «Невидимок», в тридцатые годы приехавшей из Парижа искать сосланного, а затем расстрелянного отца. Наверно, в середине тридцатых ей было лет восемнадцать, она загремела в лагерь на десять следующих лет, а потом стала сек-

ретарем Эренбурга, приятельницей и близким помощником Солженицына. Наталья Ивановна была переводчицей, членом писательского союза, непременно присутствовала на всех вернисажах и премьерах, к ней приезжали ее друзья из Франции, Италии и Швейцарии, она и сама ездила за границу, когда это было еще большой редкостью, и наша, как сегодня выясняется, всегда отважная интеллигенция распускала слухи о ее «несомненном сотрудничестве». «Будь с ней осторожным», — предупреждали меня. «Замечательно, — говорила Наталья Ивановна, когда я ей об этом рассказывал, — поддерживайте эту версию — я вернисажная дама!»

Сама она очень гордилась своей безупречной конспиративностью, а мы считали это наследственным: ее мать, знаменитая эсерка Наталья Климова, приговоренная еще до Первой мировой войны к смертной казни, успешно бежала из Новинской тюрьмы в Москве («побег тринадцати»), оказалась затем в Италии, где встретилась с революционером-эмигрантом Иваном Столяровым — и появилась Наталья Ивановна. До меня доходили осторожные разговоры о том, что она, уже в наше время, попав в Париж, незамеченной (!) добиралась до Вермонта, и другие рассказы о ее совершенно невероятных подвигах, от которых сладко кружилась голова.

Однажды она сказала: «Если звоните мне по телефону, называйтесь другим именем, надо быть аккуратным». — «Каким?» — спросил я. «Пусть Вася». — «Хорошо, — сказал я, — запомню». Я позвонил ей через несколько дней по вполне неотложному делу; было рано. «Это я, Вася». — «Какой еще Вася?» — сонно, прокуреным голосом сказала Наталья Ивановна. «Вы меня не узнаете, Наташа? — настаивал я. — Это я, Вася...» Она бросила трубку. Я перезвонил. Я был вполне грамотен, аккуратен, звонил из автомата и считал себя вправе. «Я не знаю никакого Васи, — с раздражением сказала Наталья Ивановна, — во всяком случае, ни для какого Васи я не Наташа...» — «Наташа, это я, имярек», — обозлился я, понимая, что закладываю всю нашу малину. «Господи, простите меня, — ответила Наталья Ивановна, — я совершенно...»

По всей видимости, уровень наших славных чекистов был ничуть не выше, хотя им и платили за это деньги. Как бы то ни было, Наталью Ивановну они прошляпили,

пришли к ней в Даев переулок через два дня после ее смерти, когда квартира была абсолютно стерильной.

Так вот, история с Вероникой. Мы договорились о встрече, назначили день и час. У меня дома, в Москве. А в ночь перед встречей мне приснился сон. Очень странный. Хотя, если поразмыслить и вспомнить время — начало восьмидесятых, ничего такого удивительного в нем не было, чаще всего снится то, о чем постоянно думаешь.

Жил я на даче, на той самой, где на платформе замечательный автомат для переговоров с иностранными дипломатами; утром собирался в Москву, к назначенному свиданию с Вероникой, и, напившись чаю, закулив сигарету, стал этот сон пересказывать дочери. Очень странный, мол, правда не понять, зачем тебе... Ну и не надо, говорит, плохая примета, сбудется. Нет, ты, мол, послушай...

Самое любопытное, что я не выдумываю ни одного слова. Так и было.

Они останавливают меня в метро. Или в электричке, неважно *где*. Ведут, и вот о н уже сидит напротив, а перед мной на столе мой портфель — вот этот самый, с застегками. «Что у вас в портфеле?» Я пожимаю плечами: я-то знаю, что о в портфеле, и он почему-то об этом знает. *Они* ведут меня дальше, уже темно, мы на железнодорожной платформе, она открытая, портфель лежит рядом со мной, и я осторожно начинаю подвигать его всё ближе к краю, еще ближе, еще немного — и он падает куда-то, я даже слышу глухой стук, платформа дернулась, покати-лась, и всё это так долго, что я засыпаю, а «проснувшись», вижу опять *того же самого* перед собой, но на столе перед ним уже нет портфеля. «Где ваши вещи?» — спрашивает о н, а я опять пожимаю плечами. О н смотрит мне в глаза, знает, что я лгу, а я знаю, что о н об этом знает, но на сей раз виноват о н, сам проворонил, упустил, но уже поздно — *поезд ушел*.

«Идите», — говорит о н. Я ухожу и теперь уже на самом деле просыпаюсь...

«Ну и что?» — спросила дочь.

Ничего, конечно, просто сон...

Сигарета была докурена, окно было открыто, пели птицы, пахло жасмином, чем-то еще... Я взял портфель и поехал в Москву.

А дальше всё было, как договаривались: Вероника

приехала вовремя, остановила машину возле кафе «Лира», припарковалась, вытащила сумки, и мы пошли ко мне домой. Всё это было потом на их фотографиях: мы с Вероникой тащим здоровенные сумки.

Я думал, у нее будет время, купил коньяк, что-то перекусить, но у нее были дела, она распотрошила сумки: главным образом детские вещички для только что родившегося внука Фили, помню меня особенно поразила алая пластмассовая машина для производства творога. Ну, разумеется, много книг — тамиздат. И письма.

Мы поболтали, и я отправился провожать иностранную гостью. И это было зафиксировано на фотографиях: мы идем к машине с пустыми сумками.

Очень их Вероника интересовала: меня и в Лефортове, и на Лубянке, а потом на «Матросской тишине» спрашивали: знаком ли я с Вероникой Пероле? Я же не отвечаю на вопросы. А давайте без протокола, — такой был шустрый подполковник в Лефортове: правда ведь красивая женщина? Ну, а без протокола, мол, мне с вами и совсем незачем, а тем более о женщинах. Нет, а все-таки... Чего пристал, думаю, или им за иностранцев чего доплачивали...

Я был у этих Пероле год назад в Медоне: Вероника всё такая же красивая, две девочки — очаровательные создания, одна из них — Полин, моя крестница, а Жерар сидит в кресле, курит трубку, потягивает виски и смотрит в окно — Медон высоко на горе, а у них последний этаж, мансарда — потрясающий вид на Париж. Жерар листает художественные журналы, в гробу он видел свою дипломатическую карьеру — вот дома ему явно хорошо. Ну, это другая история.

А в тот раз проводил я Веронику и вернулся домой: коньяк скучает на столе, комната завалена детскими вещичками, потрясающими книгами... Очень мне не хотелось возвращаться на дачу — был возбужден, коньяк на столе, хотя и понимал, что меня ждут, им тоже интересно, но мы вроде точно не договаривались, может, мол, заночую.

Я стал звонить по телефону, набрал один номер, другой, третий... Пусто в Москве, середина лета. Ну, коли так, думаю, надо ехать...

И тут звонок: Неонила Васильевна, мать Марка Щеглова. Было ей тогда лет восемьдесят пять, почти тридцать лет без Марка. Он и умер тридцати неполных лет, в 1956-м,

а ведь успел так много в начавшейся тогда литературе нового времени. Марк Щеглов — одна из самых важных страниц моей жизни, первый мой товарищ, такая была высокая, как он написал в одном из писем (оно, кажется, опубликовано В. Лакшиным) — «шиллеровская» дружба, на студенческой скамейке начавшаяся, а закончившаяся его смертью в Анапе. Никогда мне не забыть ни его, ни его могилы высоко над Новороссийской бухтой, ни приезда Неонила Васильевны ко мне в Москву без Марка, а дальше все эти тридцать лет она без него, из одной больницы в другую... Как ни старались ей помочь — как тут поможешь.

«Как хорошо, что я вас застала, — лепечет Неонила Васильевна, — я сегодня неважно себя чувствую, а меня подвели — все на даче, у меня ни хлеба, ни молока, может, вы смогли бы...» — «О чем разговор», — говорю. Вот, думаю, и решение проблемы — никуда сегодня не поеду.

Я побежал в магазин, благо «Елисейев» был рядом, открыт допоздна, купил молока, хлеба, еще что-то. Возвращаюсь в квартиру... Какая-то меня взяла тоска, очень уж всё выглядело неграмотно. Тахта завалена детскими вещичками вперемешку с книгами Шаламова, Солженицына, «Русская мысль» — подшивки, письма на папиросной бумаге. Нехорошо это было.

Ну, письма я сунул в задний карман, набил портфель книгами, газетами, все вроде собрал, портфель надулся, как футбольный мяч, но я его защелкнул. Взял сумку с продуктами, выхожу из квартиры.

В подъезде темно. Надо ж, думаю, только что вроде бы горел свет, опять лампочка перегорела. Надоело, пусть теперь соседи новую ввинчивают... Бегу вниз по лестнице, а там хлопнула дверь, судя по приглушенным голосам и шарканью, поднимается целая компания... Темно, не видно, а они не сторонятся, освещают меня фонариком. «Имярек?» — «Я». — «КГБ...»

Я сразу не врубился: виноват, мол, сейчас никак не могу, у меня неотложное дело... «Дела придется отложить».

А дальше, как во сне: я открываю дверь, зажигаю свет, мне под нос удостоверение, я делаю вид, что читаю, ничего не вижу, ордер на обыск... «Выдайте запрещенные материалы...» — «Ищите».

Их было шесть человек, и продолжалось это всю ночь.

Конечно, сон или — продолжение сна. Но я не сразу вспомнил. Потом.

Наша большая комната их явно ошеломила: тахта завалена разноцветными детскими тряпками, а посредине — невероятный аппарат алого цвета. «Это что такое?» — их начальник, майор, сделал стойку, уж не знаю, что ему пришло в голову. Не трогать, говорю, особо ценная вещь, принадлежит моему внуку, производит творог из ничего... Они потрогали, но очень осторожно, с уважением.

Квартира была пыльная, запущенная, ремонт делали десять лет назад, уезжали на дачу в спешке: пыльные папки с рукописями (архив писатели-графомана!), книги, книги, письма покойной жены, им тридцать лет, никогда не было сил их перечитывать, письма матери — после ее смерти никогда не мог заставить себя следить за ее угловатым, все буквы вразброд, почерком — и те, и другие письма в чужих быстрых пальцах... Рога, копыта, хвосты, глумливые ухмылки — спортивные, подтянутые, хорошенькие, в костюмчиках, белые рубашки, галстуки, тошнотворный запах чужого, чуждого, липкие пальцы на книгах, письмах, бумагах, фотографиях... И час, и два, и три, и четыре, и шесть, и белые рубашки сереют от пыли — сколько ее накопилось на антресолях, в старых матрасах, в забытых, заплесневелых пакетах в буфете, в открытых книжных полках, каждую книгу, страницу за...

Майор сидел за столом в большой комнате, заполнял протокол, а ему носили «охотники»: Бердяев, Флоренский, Набоков, Библия... Все, что вышло на Западе. Фейхтвангер, «1937». «А это зачем? — спрашиваю. — У нас издано, в хорошие годы, тогда не ошибались». Он отложил.

Я напряженно думал о письмах в заднем кармане: а если личный обыск?.. Зашел в сортир. Тут же распахнулась дверь: «Ну, если вам интересно...». Подошел к окну: внизу стояли машины. Серьезная операция.

За окнами начало сереть, я уселся в старом глубоком кресле, за подлокотники вечно что-то заваливалось — очки, ручки, с трудом находили. Майор сидел напротив, ему всё это уже явно опостылело: шли на что-то серьезное, а тут... Я закрыл глаза, потянулся, вытащил из заднего кармана письма и запихнул поглубже за подлокотники. Минут десять выждал, встал и вышел из комнаты.

Еще через полчаса я вернулся и обомлел: два здоровых мужика, им бы штанги толкать, подняли кресло на вытянутых руках и трясли. Сломаете, говорю, антикварная вещь. Они опустили кресло. Письма явно ушли еще глубже, на самое дно.

И тут майор неожиданно вскинулся: «А это что такое? — и пнул ногой раздутый, как мяч, портфель, он валялся посреди комнаты, — чье это?».

Я повернулся и вышел из комнаты. Вот когда мне вспомнился сон: тот самый портфель, та самая история. Я совершенно забыл о нем.

В углу на кухне у нас висела старенькая икона — Никола, темный лик, мне подарили на Крещение. Говорят, он помогает в такого рода делах. Я перекрестился. Потом подумал, распечатал бутылку, налил в стакан коньяк. Выпил, закурил и присел к столу.

Так я сидел минут десять, меня никто не звал. Я еще раз перекрестился и вернулся в комнату. Они уже все там толпились, майор явно заканчивал. Раздутый, по-прежнему застегнутый портфель валялся теперь под столом. «Распишитесь». Я подписал, не глядя. Кто-то из них поднял два здоровенных мешка, набитых до отказа бумагами и книгами. Они *ушли**.

4

Наверно, час я просидел, не двигаясь. Пытался понять. Конечно, они должны были меня в тот раз забрать: знали, на что шли, это было очевидно. Но с чем брать — с аппаратом для производства творога, с Фейхтвангером и Набоковым? Нет, здесь в другое дело: еще была не пора. За мной они пришли через два года. А тут просто дурной сон, его повторение, когда не поймешь — сон это или явь, но и не прекратить, не проснуться, стало быть, не сон, а явь. На самом деле явь, хотя все совершенно нереально? Дверь не нужно отпирать, но она открывается, света не следует зажигать, но под потолком вспыхивает

* На допросе в Лефортове следователь выспрашивал у знаменитого адвоката Бориса Золотухина подробности о нашей жизни, иностранных знакомых. «Но ничего же не нашли», — сказал Боря. «Не нашли, не нашли... Но вы же профессионал, Борис Андреич, знаете, что такое обыск». — «Знаю», — сказал Боря, — шесть человек, вполне неожиданно, всю ночь... Кстати, почему ночной обыск, вроде бы не положено?» — «Начали до десяти вечера, всё законно», — сказал следователь. — Нет, что-то там не так, должно было быть...»

лампочка — я, что ли, ее включил? Дом наполняется чужими голосами, чужими шагами, чужим скрипом...

Но дело было не только в этом: в той реальности нереального сна, или, скажем, в этой нереальности совершенно реальной яви была еще одна — высшая реальность. Да не в том было дело, не в этой нереальной реальности или в реальной нереальности, во сне или наяву, это было пустяком, житейской подробностью, социальной необходимостью или социальным недоразумением. В тот момент всё это казалось мне пустяком и на самом деле было пустяком рядом с тем, что открылось, дало себя осознать, услышать, увидеть... Так бывало когда-то, с кем-то, так постоянно бывает, всё время происходит, но с кем-то, то, во что можно только верить, но не удается, нельзя, невозможно *знать*.

Я говорю об этом так высоко, хотя уже давно боюсь высокопарности, — а как сказать иначе? Тогда я испугался, что это происходит со мной — не с кем-то, о ком узнаешь или читаешь, а со мной! Был смущен, заробел... *Знак*, думал я, поразительный знак, начиная со странного сна накануне, причем не для того, чтобы предотвратить, что всё равно должно было, не могло не произойти, но чтобы дать мне возможность понять, если я окажусь на это способным...

Просто еще не пора, думал я тогда, всего лишь — не пора, но железный занавес уже опущен, прошлого нет, будущего не будет, я должен забыть обо всем, что было, не думать о том, что мне предстоит, но главное — не надеяться, что всё это как-то обойдется, на бесконечно расслабляющее — авось пронесет, кто-то смягчится, что-то помешает, или я проснусь от дурного сна, вытру со лба пот и всё будет, как всегда: птицы, жасмин, прохладный ветерок...

Не надейся, не верь, не проси. Именно — «не надейся», а не «не бойся», как сказано. Кто не боится, как не бояться, коли страшно. Нельзя *надеяться*, нельзя позволять себе расслабляющую роскошь пустой надежды: всё кончено, ничего другого не будет — и тогда ты готов ко всему.

Я пишу всё это у себя за столом, в открытую балконную дверь валит дурманящий запах отцветающего жасмина, почти совсем отцветшей липы, поют птицы, середина лета, а я всё никак не пойму — то, о чем только что

вспомнилось, было сном, дурным ночным кошмаром, или то была явь, а сон это то, что происходит сейчас — открытый балкон, дурмящий запах, пение птиц?..

Наверно, если хочешь понять себя и страну, в которой родился, *туда* следует спуститься.

5

Да, много можно об этом говорить и рассказывать, а сколько говорено и написано, но человек, я заметил, отталкивает от себя такую правду, как-то неуютно он себя чувствует, выйдя на улицу, торопясь по своим важным или не слишком делам, зная, что рядом, вон за тем поворотом, в черте старого города, а проще сказать — в центре, вон за той стеной творится нечто невообразимое.

Об этом и не расскажешь, не объяснишь — не сможешь. И никто тебя со стороны не поймет, не услышит.

Самое любопытное, что всё это не вчера сооружено — ад на земле, и не за восемьдесят последних лет обустроено. Веками складывалось, а потому связано и завязано с глубинным строем всей нашей жизни. Я это понял внезапно, не сам придумал — мне показали или, скажем, открыли. На одной из пересылок — омской. Я их много знаю, пересылок, каждая в своем роде замечательна, но запомнилась подробнее именно эта — омская.

Вообразите подвал, потолок достанешь рукой, своды, как в кино о средневековье. Да это и есть средневековье, наше, сибирское. Старая тюрьма, екатерининская. У одной стены двухэтажные шконки, посередине помост, у двери параша. Параши я до того не видел, теперь в тюрьмах цивилизация — ватерклозет, а здесь не достигли. Окно наглухо забито железным листом, вырезано отверстие. На улице мороз, градусов тридцать, белый пар врывается в «форточку», ползет по стене вниз...

Помещение небольшое, метров, наверно, двадцать квадратных, а набили человек пятьдесят: на помосте навалом, на шконках вповалку, в проходах. Пестрая куча: черные, небритые, желтые зубы под красными, синими губами; гвалт, машут руками, кто-то что-то кому-то...

Белый пар врывается в «форточку», ползет по стене вниз — и исчезает. Нет его. И воздуха нет.

Ну, если часа два, думаю, продержусь. Я пробыв там

пять дней, на шестой потащили дальше. Посчастливилось, повезло, мог бы застрять на месяц, и куда б тогда потащили, кто знает. На второй уже день я перестал надеяться, что выйду оттуда живым. Как Бог даст.

На третий день было. Да, кажется, на третий. Тогда-то и прошла сквозь меня та мысль, прошла сквозь, ушла, и я понял — не один, и всё, что со мной происходит — *нормально*. Вот что было самым важным.

Я поднял голову и стал вглядываться в своды. Грязные, закопченные, с давно осыпавшейся штукатуркой, они были поразительно красивы. Как символ и архитектура. Как знак времени. Вот это меня и остановило. Последнее. Я почувствовал *время*. Оно не было абстракцией и философской категорией. Оно было реальностью, и его можно было бы потрогать руками. Оно существовало сейчас, в это мгновение, и одновременно два века назад, когда эта тюрьма строилась. Оно было в осевших на этих сводах, впечатанных в них лихорадочных взглядах, в больном дыхании, в хрипах — может быть, все-таки в надеждах на что-то? Оно было в тысячах и тысячах судеб — больших, исковерканных, страшных...

Какой еще тракт вел из Петербурга на Читку? — думал я... Через Томск, конечно. Омск они тогда миновали, но едва ли в Томске было иначе. И это после Сенатской площади и полугодия в крепости, после «доверительных» бесед с государем и известия о казни на кронверке... Чистые лица, высокие лбы, бесстрашные глаза, тонкие пальцы... Каково им было здесь — аристократам, сыновьям лучших русских фамилий? Да ведь и этап был другой — не «столыпин», или на морозе с жандармом веселей, легче? Но ведь и «железо» на руках и ногах — или не было тогда в этом подвале на них «железа», только потом, на рудниках? Или это поэзия, метафора? Эх, темнота моя, думал я, ничего-то я толком не знаю, а кого здесь спросить?.. Но уже не мог их *не видеть*, и понимал, как невыносимо тяжело им здесь было. Мы ведь на самом деле готовились к этому практически всю нашу жизнь, да и вся наша жизнь в течение семидесяти лет многим ли отличалась от того, что сейчас здесь происходило, — подумаете, смрад, параша, теснота и правовой беспредел! Разве не было того всю нашу жизнь? И недоедания, и тесноты в коммуналках, и хамства, и безнадёги, и равнодушной канцелярищины — а уж правового беспредела! Даже кого впрямую не зацепи-

ло, можно ли было жить *рядом с Архипелагом* и им не проникнуться? Что уж мне показали нового? Но ведь и м именно *показали* и уж, наверно, поразили? После Петербурга и Парижа, после конногвардейских парадов и балов, после шампанского, клико и шабли, после бесед с Пушкиным и Чаадаевым, после высокой и ничем еще не замутненной мечты о свободе и равенстве? Разве они могли хоть что-то понимать о *равенстве*, знали, во что может вылиться *свобода*? Да, знали, знали о французской революции, но это где-то там, у нас все будет иначе... Конечно, иначе! Разве знали они опыт бесовщины, кровавого террора, большой и мелкой лжи и корыстного лицемерия? Сразу, как в прорубь, в ад — из Дворянского собрания, после гусарских пирушек... Но ведь *сумели, смогли*? Остались живы, остались в истории, и жены к ним приехали, и стихи о них написали. И даже вернулись. Те, кто вернулись.

Но было нечто еще более важное, что делало мое существование в этом подвале значительно более простым и даже естественным — *нормальным*. Кого *они* увидели рядом с собой? Тот самый народ, которого ради вышли на площадь. Несомненно, они почувствовали неприязнь, ненависть к себе — к барчукам (вспомните «Мертвый дом»!). Вот что для них было самым страшным.

Для них, но не для меня. У меня всё было иначе, мы были *братьями* совсем не потому, что — зеки и судьба общая, а потому, что и на самом деле были братья. Разве учились мы не в одной школе, глотали не ту же самую ложь, не бегали в одном дворе, а там кто куда — в вуз, ремеслуху, на работу, но все одно и то же — те же улицы, подворотни, магазины, киношки — та же жизнь. Ну, конечно, *выбор*. Но можно ли им гордиться, хвастаться — что он означает? У меня хватило сил на что-то, а у него не хватило. А что я про него знаю, про то, как и что с ним было и почему он иначе выбрал — и оказался здесь? Страшные, бессмысленные, нелепые преступления... За двенадцать месяцев уголовной тюрьмы и четырехтысячеверстный этап, может, два-три раза я столкнулся с людьми, попавшими сюда вполне, так сказать, профессионально. Остальные жили нелепо, работали нелепо и попались именно по нелепому поводу. Да и как мне от них отделиться, а потому и — как им от меня? Это для прокурора важно: украл, смошенничал — но я о другом Суде и о другом Судье... А ложь, лжесвидетельство и прочие «ме-

лочи»? А есть ли разница? «Ибо Тот же, Кто сказал: „не прелюбодействуй“, сказал и: „не убий“; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона» (Иак 2,11).

Такие вот ощущения и ассоциации.

6

Да, как известно, на свете всё кончается, нам еще в детском саду читали: «и есть всему конец», но история эта, казалось, не кончится никогда, чего ей кончаться, и главное — каким образом? Очень нам сильно все-таки заморочили голову, может, и правда успели создать новую человеческую породу? Ну как она могла измениться-закончиться наша несчастная жизнь? — и армия у нас самая сильная, и бомбы самые разрушительные, и дружба между народами внутри гигантской страны на века, и поддержка всего прогрессивного человечества, а уж про ГБ и его всевидящие глаза — с молоком матери тот страх в нас проникал и ничем его было не вытравить: бесстрашные оказывались трусами, порядочные — способными на любую подлость, честные — обыкновенными лгунами, а умные — вели себя просто как дураки.

Но чудо, тем не менее, произошло, это сейчас все задним умом крепки, выясняется, были прозорливы, всё всегда знали-понимали: и экономика окончательно разваливалась, и политическая несостоятельность всем была очевидна, и национальные проблемы должны были вот-вот взорваться, и сырье давным-давно повытаскивали... Много чего сегодня говорят. Все очень умные. А я так думаю, что еще бы полвека это всё бы просуществовало, хватило бы и наглости, и бесстыдства, и глупости, и инерции, и страха, а уж сырья этого еще долго из России вытаскивать, а то, глядишь, и завоевали бы кого-нибудь, очень уж все боялись большевиков, а кто не боялся — любил. Вот еще в чем был этот самый социально-исторический парадокс.

Но тем не менее повторяю — случилось, произошло, вопреки логике и всякого рода размышлениям-соображениям. Помните, в 1917 году Василий Васильевич Розанов написал: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три». Тоже, между прочим, трехсотлетняя империя, огромная армия, блистательный офицерский корпус, а кро-

ме того, золотой рубль — без обмана, гигантские урожаи, молодой, азартный капитализм, вера Православная. И вот — в три дня.

А не нечто ли похожее — в наше время? И в те же три дня (пусть в три месяца или три года — велика ли разница?). Как же это произошло? У меня есть по этому поводу, скажем, два объяснения: одно — высокое, богословское, а второе — простое, человеческое, имеющее, впрочем, прямую связь с первым. И я этими соображениями поделюсь. И первым, и вторым, о том и речь.

7

Помните Книгу Иова? Начинается она с того, что собираются на Предвечном Совете у Господа сыновья Его (надо понимать — ангелы), обсуждают высокие проблемы — и между ними сатана. Господь его спрашивает: ты, мол, много ходишь по земле — как там раб Мой Иов? И сатана, натурально, отвечает: а что, мол, ему сделается, Ты ж оградил его тем и этим, а вот ежели бы позволил немного пощупать... И Господь позволил: только его самого, мол, не трогай. Помните, что случилось, произошло с праведным Иовом в результате этого первого «пощупывания»? Дети, богатства, стада, урожаи... Всего накопленного за долгую богобоязненную и благочестивую жизнь в одночасье лишился человек из земли Уц.

Но этого оказалось мало. И снова собираются сыны Божии у Господа, и опять среди них затесался сатана. Как там раб Мой Иов, — спрашивает Господь, — ты, мол, на него клеветал, а видишь, он всё так же крепок... Ты ж не позволил его самого пощекотать, — отвечает сатана, — а ведь известно — кожа за кожу... И Господь разрешил: только души его не трогай. И дальше — по библейскому тексту...

Я так думаю, что Предвечный Совет — институт постоянно действующий, а сатана всего лишь исправно докладывает и исполняет Господню волю по отношению к каждому из нас, сам сатана, как известно, ни на что права не имеет. Господню волю по отношению к каждому из нас и ко всему мировому сообществу.

То самое и произошло с нашим многострадальным отечеством, с Россией в 1917 году. Тоже ведь ограждал,

сдерживал сатану до времени, а тут: давай, говорит, — шупай! Она и рухнула, слиняла в три дня, как высказал Розанов. И уточнил: «Буквально, Бог плюнул и задул свечку». А дальше пошло-поехало: и разбушевавшееся Гуляй-поле — до каннибализма, и десятки миллионов изломанных, исковерканных, изуродованных жизнью — до Архипелага... Боюсь, что и души нашей несчастной страны Он в тот раз не пощадил, и ее позволил *пощупать*.

Я лично убежден, что совершенно то же самое случилось и семьдесят лет спустя: тот же Предвечный Совет (да он ежедневно заседает!), те же ангелы и сатана между ними. И тот же вопрос Господа и Его решение: надоели мы Ему, позволил, сатана пощупал — и весь этот кошмарный режим с его армиями, супербомбами, вечной дружбой и великими стройками — развалился в куски.

Да, да, разумеется, тут и экономика, и политика, и подковерные интриги — весь набор. Но Господь, как известно, так и действует — не громом и молнией, а через людей, через *человека*.

8

Вторая моя версия — именно об этом. Она значительно проще, а потому надо о ней подробнее, хотя и она для меня столь же несомненна. Тут важно понять момент или, как сказано у Лескова: «схватить момент» — и всё станет ясным, как во всякой метафоре, для внимательного глаза — совершенно очевидным, не говоря уже о том, что вполне натуральным.

Это, быть может, самая любимая моя вещь Лескова, хотя я понимаю, что у замечательного писателя есть вещи более глубокие и сильные. Очень я люблю его так называемые воспоминания о «Печерских антиках».

Помните историю Кесаря Степановича Берлинского, славного артиллерии полковника, «с детства» знавшего Государя, неоднократно дававшего Николаю Павловичу важные государственные советы, а тот назначил ему «пенсию с прибавкою», определил на государеву службу всех его сыновей числом восемь (или десять?). Полковника Берлинского обожали солдаты, были готовы под его началом в любую минуту идти на войну, чтобы взять в плен и

привести в цепях самого могущественного Вилеазария, да и важнейший принцип русской военной доктрины — «схватить момент» — пущен был Кесарем Степановичем.

Но я сейчас не о военных подвигах артиллерии полковника, а об истории с «бибиковской тещей», дамой «полнищей и преогромной», повредившей орехом-двойчаткой себе зуб, да так сильно, что несчастная женщина, которой надо было немедленно ехать в Париж, не в силах терпеть боль, визжала и просила ее убить.

Вот тут и вмешался в дело Кесарь Степанович со своим знаменитым племянником, всепомагающим лекарем Николаврой, прославившимся лечением зубов, изобретшим средство, мгновенно зубную боль преодолевающее. Но годилось оно, если помните, только для нижних зубов, ибо лекарство было чрезвычайно опасным и если ничтожная часть капли стекла с больного зуба, скажем, на десну — тут бы и наступила мгновенная смерть. Николавра никогда не брался за лечение зубов «верхнего строя», он был человеком ответственным, а кроме того дорожил своей репутацией.

У тещи, как на грех, поврежден был зуб верхний, и избавить ее от страданий не было никакой возможности, кабы не артиллерии полковник.

История эта известная, но пересказывать ее одно удовольствие. Приехав в имение бибиковской тещи с Николаврой и управителем, втайне рассчитывающим, что госпожа его от лечения несомненно «окачурится», Кесарь Степанович распорядился выдать ему пробку от сотерной бутылки и два крепких полотняных платка, мгновенно вставил визжащей даме пробку между зубами, связал одним платком ей руки назад, а другим — платье вокруг ног, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели, произнес «французское» слово — «Повертон!», крикнул племяннику: «Лови момент!», а сам перевернул даму вниз головой и поставил теменем на подушку. Николавра капнул лекарство на верхний зуб, ставший в этот момент нижним — и тут же даму перевернули обратно. Она бодро перекусила пробку и говорит: «Ах, мерси — мне всё прошло; теперь блаженство!».

Единственным отрицательным последствием этого прославившего дядю и племянника дела был необыкновенный интерес дам к опасному лечению: они осаждали доктора, требуя, чтоб и над ними был произведен «повертон».

Для меня совершенно очевидно, что *повертон*, произошедший уже в наше время, на наших глазах, с нашим многострадальным отечеством, если излагать версию натурально, не связан ни с экономикой, ни с политикой, ни с действиями проклятых масонов и западных спецслужб, а с одной единственной причиной, которую я сейчас изложу. И тут нет никакой моей заслуги, просто мне посчастливилось иметь к этой, скажем, «причине» некоторое отношение и быть знакомым с неким «антиком», но в нашем случае не печерским, а сибирским.

9

Дальнейшее имеет к только что вышеизложенному пусть и не прямое, но несомненно глубинное или, скажем, поэтическое, но непременно самое непосредственное отношение. Оно и есть человеческое объяснение свершившегося на наших глазах чуда.

Духовные писатели учат нас относиться внимательно и серьезно ко всему, что с нами происходит, искать в случайном и на первый взгляд пустяковом — глубинный, духовный смысл. И термин есть такой в святоотеческой письменности — *духовное перетолковывание*.

Итак, об этой вполне реальной *причине*. Я лично, как уже было сказано, с этим антиком знаком и даже близко, но имени его называть не стану: человек этот скромный, и такого рода публичность, быть может, ему и лестная, может оказаться для него неприятной или, как сейчас говорят, — дискомфортной, а я этого человека не только люблю, но и очень уважаю и доставлять ему хоть какое-то неудовольствие не хотел бы. Но это, впрочем, как вы увидите, совершенно несущественно.

Так вот — история. В наше либеральное время в УПК была статья — 201. Едва ли она существовала во времена Юрия Домбровского, Левы Разгона, Серго Ломинадзе или Юрия Давыдова. Там всё было просто. У нас она была вполне действующей и свидетельствовала о законности и правопорядке. Статья означала, что следствие закончилось и подследственный вместе с адвокатом в присутствии следователя может знакомиться с делом.

Представляете, какая радость! После месяцев тюрьмы, когда ты вообще ничего не знаешь о том, что проис-

ходит с тобой и на свете — ты видишь человеческое лицо адвоката, он передает тебе приветы, но главное — дело! Все протоколы: обыски (что-то *они* нашли, а что-то и м найти не удалось), допросы свидетелей (голоса друзей) — праздник! Из вонючей камеры приводят тебя в светлый кабинет следователя (окно без ресничек и намордника!) — и не для допроса, для... Потрясающее чтение.

У меня было почти сорок свидетелей, друзья и знакомые. Только друзья и знакомые. Скажу сразу: ни к одному из свидетелей никаких претензий у меня не было, свидетели в ту пору (восьмидесятые годы) были грамотными и хорошо знали, что можно говорить, а что говорить не надо. Одного только свидетели, несмотря на всю их просвещенность, не понимали (да этому и не научишь, сколько об этом ни говори!), что не только не могут они хоть чем-то помочь подследственному, но на самом деле и помешать ему, изменить что-то в худшую сторону — не от них зависит. Человеческими мозгами такое понять невозможно, разве что в тюрьме посидишь. Ну, может ли нормальный человек понять, что никакого закона на самом деле не существует, что всё это — следователь, прокурор, протоколы, УК и УПК — одна видимость, никому не нужная формальность, пустые бумаги, что срок твоему приятелю уже давно катит, был обозначен бледными чернилами в постановлении на арест — остальное фикция. Нормальный человек понять это просто не в состоянии. Только в случае немыслимого в наше время политического кризиса или, скажем, катастрофы что-то тут могло бы измениться.

Советского человека вызывают повесткой в ГБ или прокуратуру, разумеется, ему неудобно, он-то знает, что раз вызвали, он уже тем самым без вины виноват. А ведь есть люди, которые не только не умеют врать, но и не могут, не хотят, не говоря о том, что врать опасно, следователь что-то знает и на вранье поймают — неприятно. Короче, нервная ситуация.

В мое время было три группы вопросов, которые следователя интересовали. Скажем, так: где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с подследственным? Ну, это просто. Если знакомство давнее, то, разумеется, он не помнит, в каком-то, мол, публичном месте. Главное-то здесь не называть никаких лишних фамилий, назовешь, того сразу потянут. Никто из сорока моих сви-

детелей обстоятельств нашего знакомства не помнил. Был только один свидетель, писатель, он сочинил новеллу о том, как однажды подпил, споткнулся, заснул в сугробе, наверно бы, так и не проснулся, но шли мимо добрые люди, подняли, привели домой, обогрели — так мы и познакомились. Умилительное было для меня чтение.

Вторая группа вопросов сложнее: дружили, бывали в доме — кого вы там видели? Здесь опасно, не пустой же дом — а кого назвать? Все видели родных (они и так известны), пуделя Марта, видели барышню — она в силу сложных семейных обстоятельств жила у нас два года (они не могли того не знать). Видели, кого уже не достанешь. Домбровского — несколько лет назад мы его похоронили...

Помните, в «Хранителе древностей» к вдове профессора Ван дер Белен пришли два веселых румяных паренька, третий — оправдом, и спрашивают: где любимый ею человек — доктор Блиндерман? Управдом кивнул на подоконник: «А вон, в резеде». Тогда один из пареньков взял застекленного Блиндермана в руки и весело сказал: «Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман...». Такой у Домбровского мажор. Сам-то он к тому времени ушел от них.

Видели тех, кто уехал: Сашу Галича, Борю Шрагина, Володю Максимова, Володю Войновича...

Все видели Окуджаву. Это, кстати, любопытный феномен. Дело тут в том, что за всю нашу почти сорокалетнюю дружбу с Булатом был он у нас, ну, наверно, раз десять-пятнадцать, не больше, — ну не могу я похвастаться, что он дневал и ночевал в нашем доме, а потому эти сорок свидетелей никак не могли у нас с ним встречаться. Здесь, видимо, срабатывала уверенность в неприкасаемости Окуджавы, такой непотопляемый крейсер, а также якобы защита: коли такой замечательный человек бывал в доме, — дом хороший, а кроме того, наверно, лестно сказать, что видел Окуджаву, стало быть, знаком. Да и просто приятно произнести — «Булат Окуджава!».

Иностранцев, чего и добивался следовательно, — никто не видел, даже те, кто приходил специально их переводить.

И, наконец, самая сложная — третья группа вопросов. Вы были знакомы, дружили с писателем — какие из его книг вы читали? Здесь опасно — а как быть? Ну, ска-

жем, книги изданные, пусть и за границей — полбебды: купил на улице, возле книжного магазина. А как быть с рукописями, с самиздатом? Вся опасность тут была в том, что в наше либеральное время сам факт изготовления криминальной рукописи (а всякая рукопись была криминалом, если не прошла цензуру) еще не был сам по себе уголовно наказуемым, это Серго Ломинадзе в сталинское время, если не ошибаюсь, мотал срок за неопубликованные стихи. В наше время криминалом было «изготовление и *распространение*». А что такое «распространение»? Дал прочесть жене — уже распространил. Как тут быть? И мои свидетели пошли по самому простому пути — практически никто из них моих книг не читал.

Как же так, кипятилась следовательша, замечательная была женщина, похожая на Эльзу Кох (на вопросы я не отвечал, в следствии не участвовал, а так мы разговаривали). Как же так, я вынуждена читать вашу графоманию, а ее даже ваши друзья не читают! Что ж вы меня за графоманию посадили, говорил я, но едва ли это был сильный ответ.

Конечно, я прекрасно понимал моих свидетелей, не мог не восхищаться их хитроумией и находчивостью, но что-то меня коробило: я же все-таки писатель, пусть графоман, всю жизнь на это потратил — а никому, оказывается, не нужно... Тоска. В тюрьме не так просто с юмором.

И вот я читаю показания очередного свидетеля. *Свидетельницы*, скажу я для ясности. Знакомы ли вы... Да, знакома. Где, когда и при каких обстоятельствах... Я знаю имярека много лет, отвечает моя свидетельница, а я читаю ее слова в протоколе, и напротив сидит Эльза Кох. Я знаю его как замечательного человека и прекрасного писателя... — продолжает моя свидетельница, и это зафиксировано в протоколе. Он не совершал никаких преступлений, а уже много месяцев находится в тюрьме. А потому я, исходя из моральных, этических, нравственных соображений не буду отвечать на ваши вопросы. Кроме того, он был арестован с такой дикой, бессмысленной жестокостью, в тот день и в тот час, когда его дочь, оставшаяся без арестованной матери, была в родильном доме, рожала, что я вообще не стану с вами разговаривать. Дальше вопрос: знаете ли вы, свидетель, что за ложные показания и отказ от дачи показаний вы несе-

те ответственность по статье такой-то? Знаю, отвечает моя свидетельница. Распишитесь. Подпись.

Я читаю протокол, мороз по коже, и думаю: только бы слезы не потекли — все-таки тюрьма, долгие месяцы, разумеется, слабость, случается с пожилыми людьми. Говорят, Горький в последние годы постоянно плакал. Не знаю, плакал ли он на Соловках, едва ли, но когда стоял вместе с Роменом Ролланом на Мавзолее и мимо них шли танки, оба они, рассказывают, плакали от умиления. Нет, здесь у меня было не умиление, нечто другое, что никак не следовало обозначать перед сидящей напротив дамой.

Но я все-таки не выдержал. «Как она вам?» — постыдно спросил я. «Что — как?» — холодно сказала моя Эльза Кох. «Ну как она вам показалась, вы ж в первый раз ее видите?» — «А... — она поджала тонкие губы, — обыкновенная фанатичка, допрыгается...» Так мне и надо, подумал я тогда.

10

Нет, она, разумеется, не была фанатичкой, я попробую, если удастся, объяснить о чем речь, но здесь дело было еще в том, что эта моя свидетельница была человеком ничем и никак не защищенным: в то время она разошлась с мужем, у нее были дети, от старшей дочери посыпались внуки, работала моя свидетельница в каком-то занюханном институте научным работником, и, чтобы выкинуть ее оттуда, следовательно стоило только пальцем шевельнуть и набрать номер ее администрации. И никакое Биби-си ее бы не защищало — подумаешь, выкинули с работы, когда людей убивают в психушках!

А между тем этот свидетель следствие должен был бы заинтересовать — ну, исходя из пользы дела. Именно эта барышня занималась моим архивом, а он их очень интересовал — шесть обысков только в день моего ареста! А знаете что такое архив писателя-графомана? Шесть чемоданов и сумок с моими рукописями, письмами, фотографиями, книгами кочевали по Москве; я-то понимал, что *они* непременно придут, а если возьмут, обратно не получишь, жалко. А у кого тогда были большие квартиры, место для хранения архива, да еще чтоб человек не слишком

близкий, чтоб и м в голову не залетело, что у него что-то может быть? Много условий. Найдешь, договоришься, отвезешь, а у него неожиданно семейная драма, развод, имущество делить они не станут, а эти чемоданы оставленной жене — зачем? Или, напротив, приведет человек в дом барышню для совместного проживания — а это, скажет, что за хлам?..

И вот однажды моя свидетельница перевозила очередной раз мое барахло из пункта «А» в пункт «Б» на машине своей приятельницы, и машина эта, натурально, заглохла где-то в центре — уж не напротив ли Лубянки? Они остановили такси и под изумленными взглядами прохожих и гаишников перекидывали чемоданы и сумки из одной машины в другую...

Много можно было бы вспомнить всякого рода занятых подробностей в развитие темы, но, пожалуй, достаточно. Я думаю, более того — убежден, что режим наш со всеми его супербомбами, самой большой в мире карательной машиной и дружбой на века между народами рухнул или, говоря словами Розанова, слинял в три дня именно потому, что моя свидетельница сказала ему — «Нет». Сказала тихим голосом, может быть, даже — про себя. Но сказала так твердо и определенно, что где уж этому режиму было удержаться. Как тот самый неизвестный солдат на большой войне. А я знаю эту барышню: если она скажет — «нет», «да» из нее уже ничем не вышибешь, пусть неделю будешь стоять перед ней на голове — не уломать. «Сибирский характер», — говорил Юра Левитанский. Правда, он имел в виду другую женщину.

11

Тут понимаете, в чем дело: есть вещи, которые нам все равно не понять, хотя и очень хочется докопаться — откуда такой характер, сила, цельность, из чего и как она может произойти? Ну, бывают, бывают люди — герои или святые с пеленок. Я таких не встречал, но об этом написано, сказано, наверно, есть. Как говорится: не стоит село без праведника. Стало быть, если стоит, где-то есть и праведник. Но это особый случай — чего тут понимать и размышлять, как сейчас модно говорить — харизма, мол, и всё тут. Хотя как ее определяют — эту самую харизму, не возьмусь объяснить,

внешность, что ли, на нее тянет? У одного на щеке бородавка, у другого — рык звериный... Но всем почему-то ясно — у этого, мол, есть харизма, а у этого нет. И все подтверждают или молчаливо соглашаются — явный харизматик.

Оно, конечно, необыкновенность, особенность или, скажем, предназначенность судьбы — значит много и для каждого, кто к такой судьбе так или иначе прикоснется, но я, по простоте, думаю, что и, скажем, обыкновенность такой исключительности немаловажна, нам и в ней может быть дано понять нечто значительное.

Вот, коль я уже вспомнил Лескова, история «запечатленного ангела» — иконы, которую чиновники «запечатлели», отобрали в монастырь, а старoverы, которым икона принадлежала, подменили ее копиею во время пасхальной заутрени. Чтоб исполнить сей подвиг, один из старoverов прошел с одного берега реки на другой при бурном ледоходе по цепям. Замечательная история, все ее помнят, наша классика. Но на самом-то деле, как сам Лесков в другом своем сочинении признался, сюжет был несколько иным. Да, дело было, действительно, в Киеве, мост через Днепр только еще строился, цепи только что натянули, и некий каменщик, уполномоченный товарищами, отправился с киевского берега на черниговский во время ледохода. Всё так. Но не за иконою лежал его путь по цепям над бурным ледоходом, а за водкою, которая на том берегу стоила много дешевле. Отважный малый налил бочонок водки, повесил его себе на шею и, взяв в руки шест для баланса, благополучно возвратился со своею ношею, которая и была распита во славу святой Пасхи.

Думаю, это никак не умаление подвига, и речь тут не просто о русской удали. В простой этой и вполне житейской истории можно многое разглядеть, а быть может, и понять.

12

Вот и в моем случае, никакой такой явной харизмы у моей свидетельницы не было — обыкновенный, скромный, славный человек, жила всегда трудно и только на себя рассчитывала. Человек твердый, так сказать, с принципами: если любит — любит, а нет — не взыщи. Что еще? Ну, скажем, для меня, несомненно, женщина красивая. Но ведь тоже, как говорится, проблема — кому-то хороша, а

кто-то пройдет мимо и внимания не обратит. Причем тут это?

Впрочем, ее глаза я никогда забыть не мог. Тоже словно бы ничего особенного, такие глаза глядят на нас сейчас с экранов телевидения, ничем не удивить. Но это другое, а ее глаза я навсегда запомнил. Я не большой путешественник по лесам и не грибник, но приходилось, бродил, бывало, даже по тайге. И вот шагаешь по настоящему, не дачному, а всамделишному лесу, он на сотни верст тянется, сумрачно, страшновато, подынешь голову — и вдруг в листве, нет, не в листве, в хвое, такая бывает тяжелая, густая хвоя, ель, лиственница, подлесок — блеснут глаза: дикая ли кошка, птица какая-то, глаза внимательные, о чем-то своем, затаенном, на чем-то сосредоточенные — таким подлинным на тебя дохнет... Короче, совсем не те глаза, что смотрят сегодня со всех экранов телевидения.

И мне вспомнилась одна ее история, удивительно, что она ее рассказала, человек очень сдержанный, редко открывалась... Нет, не вспомнить, в связи с чем она дала в тот раз слабину. Что уж эта история объяснит, не знаю, совсем словно бы не к месту, но...

Родилась моя барышня где-то в Зауралье, перебралась в город побольше, продолжала образование в техникуме. Это уже сколько-то лет спустя оказалась она в Московском университете, стала ученым, а тут всё было очень скромно. Училась всегда замечательно, отличалась добросовестностью, пытливостью. Красивая деваха, в волейбол играла, плавала, разряд имела. Комсомолка, само собой. И вот вызывают ее однажды в райком, обратили внимание: пора, мол, включаться в общественную жизнь. Для начала сделай доклад о борьбе за мир. А я, говорит, мало чего об этом знаю и за газетами не слежу. А ты, говорят, последи и почитай, весь наш народ, как один человек, следит и читает, давай и ты. Чтоб через неделю был доклад — про Кубу, про Никарагуа, про Черную Африку. Да я говорить не умею. Научись, поддержим. Короче: комсомольское задание.

Человек ответственный: поручили, выполнила. Прочитала грамотно и с пафосом. Молодец, будешь и дальше работать.

Вызывают снова. Вот, говорит секретарь, спустили нам сверху указание — надо бороться с абортами, постыдно для комсомольцев в этом участвовать. А я, мол, об

этом совсем ничего не знаю. А ты подготовься, про Никарагуа подготовила и про аборты сможешь. А чтоб легче, времени мало, начнешь с того, что тебе известно — с Черной Африки, с Кубы, с Никарагуа, всегда полезно, а в конце перейдешь к абортам — стыдно, мол. Главное, чтоб был доклад — раз нам сверху спустили, мы должны выполнить.

Народу, рассказывает, было очень много, дворец культуры битком: привезли новый фильм, а после него — танцы. Доклад перед фильмом. Похлопали, потушили свет и запустили картину. Нормально.

Приходит она следующим утром в райком и прямо к секретарю. А он сидит за столом, держится за голову, глаза у него мутные, мычит. Что, мол, с вами, спрашивает моя будущая свидетельница, заболели? Комиссия вчера приезжала из области, отвечает секретарь, сама понимаешь, полночи отмечали наши достижения, никаких сил нет — чем спрашивать и сочувствовать, ты бы лучше, мол, пива захватила. Я ж не знала про ваши трудности. Ладно, говорит секретарь, зачем пришла, мне уже докладывали, всё у тебя тип-топ, справилась с заданием. Вот я об этом, говорит моя свидетельница, о моем докладе. А в чем, мол, дело. Я, говорит, всё это им доложила — про Кубу и Черную Африку, материал у меня был готов, а за это время там ничего не изменилось. Где, спрашивает секретарь, морщится, голова у него, у бедного, стреляет. Ну, в Африке, отвечает, и на Кубе, там еще долго ничего не изменится, тот же доклад можно и через месяц-два читать, а чуть подновить — и через полгода, но я вопросов боялась, хорошо, они кино ждали, не до вопросов. Каких еще вопросов, спрашивает секретарь. Про аборты, говорит моя свидетельница. Я в самом деле, когда с Никарагуа разобралась, сказала, что в связи с международным положением и происками империализма стыдно комсомольцам забывать о таких вещах, им это только на руку. Кому, спрашивает секретарь, ничего не может понять, к тому же у него с головой совсем плохо. Кому на руку? Как — кому? Монополиям, корпорациям в Черной Африке и Центральной Америке, короче — ЦРУ. Я, правда, мол, не думаю, что у нас кто-то с ними связан, но получается, если у них аборты... Вы бы лучше объяснили мне поконкретней — что это такое, тоже из области внешней политики?..

Он, рассказывает моя свидетельница, когда наконец дошло до него, понял, о чем она его спрашивает, упал головой на стол и начал дергаться; я, говорит, даже испугалась. А он стал звонить по телефону, весь райком сбежался на меня поглядеть. Но я-то ведь впервые от него услышала это слово...

Удивительная история, чистая правда, ничего я тут не выдумывал, тем она и ценна.

Пожалуй, если первую мою — богословскую версию случившегося с Россией, признать достоверной, то, думаю, Господь не позволил все-таки сатане *цунать душу* несчастного нашего отечества, ограничился, так сказать, материальным и телесным, да и того, как мы знаем, за глаза хватило. Душа осталась незатронутой, откуда б иначе такие антики, такая удивительная цельность натуры. Нет таких в Европе-Америке, даже и в Черной Африке не встретить. Едва ли они там водятся.

Короче: сибирский характер, верно. Но, может быть, все-таки — *повертон*? Впрочем, не знаю, это кому как.

СОДЕРЖАНИЕ

О любви	5
Чижик-пыжик. Роман в трех частях	
1. Мое открытие музея	11
2. Чижик-пыжик	83
3. Дедушкин сон	153
Рассказы	
Хорошо гуляли	195
Чистый продукт для товарища	228
Шмон на пасху	243
Далида	250
Что ж мы про Ваню-то, Чердынцева?	292
Русские мальчики	302
Прощание	319
Ветвь, полная цветов и листьев	333
Повертон	350

Литературно-художественное издание

Феликс Светов
ЧИЖИК-ПЫЖИК

Художественный редактор А. Мусин

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.11.2001.
Формат 84×108 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,16.
Тираж 3100 экз. Заказ 5021

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1
Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.
М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.
т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Книжный магазин издательства «ЭКСМО»

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «ЭКСМО».
Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90
Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86
Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)

ООО «ПРЕСБУРГ», «Магазин на Ладужской». Тел.: 267-03-01(02)
Москва, ул. Ладужская, д. 8 (рядом с м. «Бауманская»)

ISBN 5-04-009251-2



9 785040 092512 >

Феликс Светов

Феликс Светов, писатель, которого А. Солженицын поместил в свою «Литературную коллекцию», начал печататься еще в середине 50-х. Прошло почти полвека, куда уложились литературная работа, диссидентство, арест, тюрьма и ссылка, рассказы и повести, самиздат и тамиздат, роман «Отверзи ми двери» (Париж, 1978), книга «Опыт биографии» (литературная премия им. Владимира Даля — Париж, 1985).



После возвращения из ссылки в Москву Феликс Светов активно печатается в центральных журналах, его умную и тонкую, беспощадную и нежную прозу высоко оценивают взыскательные читатели и литературные критики.

В новую книгу Феликса Светова вошли трехчастный роман и цикл рассказов.